

84(2Рос=Рус)6
А 44

АКУНИН-ЧХАРТИШВИЛИ



ТРЕЗОРИУМ



СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

АКУНИН-ЧХАРТИШВИЛИ

ТРЕЗОРИУМ

208338


ЗАХАРОВ
МОСКВА

УДК 82-311.2
ББК 84(2)
А44

МЕДИУМНАХУР-ИМНУНА
Текст печатается в авторской
редакции, орфографии и пунктуации

ТРЕЗОРИУМ

Акуни-Чхартишвили

А44 Трезориум / Акуни-Чхартишвили. —
М. : «Захаров», 2019. — 352 с. : ил.
ISBN 978-5-8159-1568-8

2 8 2 3 8 0 9

БОТАРАБ

© Akunin-Chkhartishvili, 2019

© «Захаров», 2019

ВСЯКАЯ КРЯКОТЕНЬ



Рэм всё думал о разгоне с пожилым капитаном.

Ночью не спалось. Вышел в тамбур — не покурить, а просто побыть одному. Все-таки здорово устал от того, что много месяцев подряд днем и ночью вокруг полно народу. В эшелоне даже хуже, чем в казарме. Все друг у друга на голове, и никуда не денешься. И ведь это еще не теплушка, а вагон для комсостава, настоящий плацкарт.

Стоял в темноте, наслаждался покоем. Стучали колеса, лязгали вагонные буфера, за черным стеклом ползли редкие огоньки — и никого. Ни голосов, ни сонного сопения, ни храпа.

Но скоро одиночество закончилось. Появился капитан из соседнего отсека. Сильно немолодой, лет сорока. Сел в Бресте, все время помалкивал, а тут заговорил. Оно и понятно. Странно находиться вдвоем в тесном железном ящике, да еще ночью, и не перемолвиться словом.

Сначала капитан расстроился.

— Вы не курите? А я вижу, вышел кто-то. Думал огонька одолжить. Зажигалка у меня чего-то...

Рэм поднес ему спичку. Осветилось мятое лицо с вытянутыми в трубочку губами, блеснули сощуренные глаза.

— А, младшой с верхней боковой. Из вузовцев? — спросил капитан, переходя на «ты». — Товарищи твои — совсем сад-ясли, а ты вроде постарше. Где учился, студент?

Слышать это было приятно, но Рэм с восьмого класса придерживался твердого правила: не изображай из себя то, чем не являешься.

— Нигде пока. Я в прошлом мае закончил десятилетку, и сразу в училище. Война закончится — поступлю. На физико-математический.

Капитан обрадовался:

— Я в техникуме математику преподавал! Основная наука. Молодец, правильный выбор.

То-то лицо интеллигентное, подумал Рэм. И раз уж попался собеседник, с которым можно нормально поговорить, стал рассказывать, что его больше интересует физика, а именно физика космических полетов, потому что сумма технических знаний человечества уже сейчас делает навигацию в безвоздушном пространстве практически возможной и, когда после войны высвободятся научные кадры, ракеты обязательно полетят на Луну, а может быть и дальше. Главным событием двадцатого века будут не мировые войны, а прорыв человечества в космос. Как же в этом не поучаствовать?

Капитан послушал-послушал, удивленно покачал головой:

— Россия-матушка. Что с ней ни творишь, а умные мальчики всё воспроизводятся, поколение за поколением. Лупит вас эпоха, начисто выкашивает, а вы снова прорастаете, непонятно откуда. Из литературы, что ли? Пети Ростовы, Володи Козельцовы. Вот по тебе видно, что ты книжек много читал, того же Толстого. Если ты собрался на Луну лететь, на кой тебя в училище понесло? В конце-то войны.

Про Толстого было правдой, Рэм даже удивился. Петя Ростов — ладно, «Войну и мир» в школе проходят, но «Севастопольские рассказы» были прочитаны только что. Отец в письме посоветовал. Написал, что читал эту книгу в двадцатом году, перед фронтом. Она единственная, хоть сколько-то передающая правду войны. Там прапорщик Козельцов, добровольно отправившийся воевать, говорит: «Все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда умирают за отечество». Капитан, наверно, имел в виду это.

Стало немного обидно. Захотелось ответить по-взрослому. Честно. Показалось, что с этим капитаном можно.

— Я не из какого-то глупого героизма, я по расчету, — сказал Рэм и достал из пачки последнюю папиросу,

чтобы поддержать солидную паузу, пока раскурится. — .. Подумал, исполнится восемнадцать — все равно призовут, рядовым. А после десятилетки берут на ускоренный курс военно-пехотного училища. Во-первых, выйдешь офицером, а во-вторых, это восемь месяцев учебы. Глядишь, война закончится. Прошлым летом, когда немцы всюду драпали, казалось, скоро уже.

— Уменьшкый то ты уменьшкый, но рассчитал хреново. Сделал большущую ошибку. Может стоит жизни. «Скороварки» для того и заведены, чтобы быстренько сварить картоху в мундире — и на стол.

— Какие скороварки?

Скороварку Рэм видел, когда дневалил на кухне: здоровенный котел с герметичной крышкой, в нем варили крупу на всю роту.

— Так на фронте называют твои ускоренные курсы. Ты в училище фронтовиков много видел?

— Мало. Троих только. И те недоучились.

— Правильно. Потому что дураков нет. Вашего брата зеленого младлея рассовывают в самые гиблые места. Своих, кого знают, берегут, а чужих не жалко — фронтовой закон. Вот увидишь: когда будешь получать назначение, тебе кадровик в глаза смотреть не станет. И живого слова от него ты не услышишь. Потому что младлей из пополнения — скоропортящийся продукт... Эх, парень, парень, устроил ты себе... — Капитан махнул в темноте папиросой — будто прочертил огненную черту. — Надо было спокойно призыва дожидаться. Тебе когда восемнадцать стукнуло?

— 20 января.

— Считай сам. Сейчас не сорок второй, сразу на передовую не послали бы. Сначала в учебку, это месяца три — уже апрель. А в мае война закончится.

— Это откуда известно?

— Говорят, Верховный приказал взять Берлин к Первомаю. Сейчас затишье. Готовятся. Но скоро попрем по всему фронту. Народу поляжет — море. У нас знаешь как? Сказано к 1 мая — всё. Значит, за ценой не постоим. Ты без опыта, в батальоне чужой — сгоришь, как мотылек. Если, конечно, не включишь мозг. Тут как?

Чем раньше с этих гиблых рельсов свернешь, тем выше шанс дожить до победы. На армейской расприделаловке, на корпусной, даже на дивизионной еще можно съехать. Но докатишься до полка — всё. Оттуда только в ваньки-взводные.

— Что ж, пускай другие на передовую идут? — набылчился Рэм. Расчетливость расчетливостью, умирать никому неохота, но как-то оно звучало подловато.

— На фронте либо других жалеть, либо себя. Середины не бывает. Рано или поздно всякому приходится делать этот выбор. Знаешь, что на войне самое главное? Повысить балл выживания.

Капитан заговорил быстрее — видно, сел на любимого конька. Он уже докурил, но возвращаться в вагон не торопился.

— У меня расчислена целая теория, математическая. Ты слушай меня, парень. После спасибо скажешь. В вагоне, где много ушей, я тебе такого говорить не стал бы... Тут много вводных: род войск, должность, участок, фактор личных связей, и так далее, и так далее — всё имеет значение. Я на фронте с марта сорок третьего, и, как видишь, живой. Это мало кому удается — два года продержаться.

Для фронтовика с таким стажем наград у капитана было немного: «звездочка» и «зэ-бэ-зэ».

— Правила у меня старинные: от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Из-за первого — вон, нашивка за ранение. Слава богу, нетяжелое. А благодаря второму правилу я до сих пор хожу по земле, а не лежу в ней.

Эту присказку капитан, должно быть, произносил не впервые — больно складно она у него проговорилась.

— Теперь объясню про мою систему баллов. Это количество дней — сколько человек на той или иной позиции потенциально, в среднем, продержится до ранения или похоронки в ситуации «Икс». Это период наибольшей опасности. В прежние времена — оборона или окружение. Я в сорок третьем еще застал. Сейчас ситуация «Икс» — это наступление. У командира стрелкового взвода во время наступления знаешь сколько баллов? Полтора. То есть

в среднем взводный — подсчитано — воюет полтора дня, и каюк. Либо на носилки, либо вчистую. Половина выбывает в первый же день. Мотаешь на ус?

Рэм кивнул. В аттестате об окончании у него как раз значилось «командир стрелкового взвода».

— Ниже балл только у «прощайродины» — командира расчета сорокопяток. Эти бедолаги редко доживают до второго боя. Один балл. Обрати внимание, что у рядового пехотинца балл-два, то есть повыше, чем у взводного. Потому что тебе подниматься первому, гнать их в атаку... Дальше идут танкисты. Три балла. Тоже хреново. Ладно, не буду тебе всю свою линейку выстраивать, а то долго получится. — Капитан хмыкнул. Ему, кажется, нравилось, что младший лейтенант притих. — Хороший балл, с которым на фронте можно нормально существовать, начинается с пятидесяти. Это как минимум штаб полка. Туда и надо стремиться, если не сумел устроиться в тылу. Но тут нужны очень хорошие знакомства. У меня вот после госпиталя не получилось.

Теоретик вздохнул, но не очень тяжело.

— По моим возможностям, однако, устроился неплохо. Зам командира батальона по хозяйности. Это баллов сорок. До конца войны должно хватить. Если, конечно, не перекинут на «боевку». В наступлении всякое бывает... Ладно, бывай, физик космических полетов. Пойду. Надо поспать.

Он вяло сунул руку, зевнул, ушел.

Рэм, оставшись один, подумал тогда: не дай бог таким стать. Но с утра неприятный ночной разговор всё вертелся в голове, обрастая новыми мыслями — уже не про «баллы» и не про математического капитана. Тот сошел в Лодзи, вместе с половиной ребят из Рэмова выпуска — которые получили назначение на Первый Белорусский. Остальные ехали на Первый Украинский.

По дороге все споры были, кому повезет Берлин брать: маршалу Жукову с востока или маршалу Коневу с юга. Всем, конечно, хотелось лично добить фашистскую гадину в ее логове. Во всяком случае на словах. Рэму-то не особенно. А после капитанова карканья тем более. Поэтому, обнимаясь с Петькой и Витькой,

оставшимися в Лодзи, он искренне пожелал им закончить войну в Берлине.

Вошло много новых пассажиров. От Москвы большинство вагонов литерного были заняты вчерашними курсантами вроде Рэма Клобукова, а теперь загрузились фронтовики, в основном после госпиталей. Все с желтыми и красными нашивками за ранения, с боевыми наградами, напористые, шумные — будто десант ворвался. Согнали выпускников, кто занимал нижние полки, на верхотуру.

До отсека, где ехал Рэм, первым добрался старлей в лихо заломленной кубанке, почему-то со связкой велосипедных шин через плечо, и замахал, будто на утят:

— Крик-крик отсюда, зелень! Слыхали: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет»? В дорогу, пионеры, в дорогу!

Обернулся, весело заорал:

— Серега! И этот, капитан, как тебя! Давайте сюда, крик, я плацдарм взял!

Рэму-то что. Он лежал в проходе, на третьей полке, в мирные времена считавшейся багажной. Еще в Москве ее занял, чтоб было хоть какое-то личное пространство. Почитать спокойно или просто в потолок посмотреть, подумать. Хорошо там было, наверху, только жарковато — поверху проходила отопительная труба.

Сейчас, видя, как Леха с Виталиком, собрав манатки, плетутся с обжитого места, Рэм еще раз порадовался своей предусмотрительности. Конечно, не жалко уступить полку боевому командиру, пролившему на фронте свою кровь, но это если сам предложишь, а быть согнанным унизительно.

На всякий случай Рэм в своей берлоге затаился, но вниз, конечно, поглядывал.

Там скоро стало тесно. На всех нижних полках, включая коридорную, расселись офицеры. Составилась компания. Дымили, звенели стаканами со спиртом, закусывали, гоготали.

Чаще всего звучал голос красавца-старлея. Он говорил чудновато, в каждую фразу вставлял странное

словечко «кряк» и всякие от него производные. Например, когда у него доинтересовались, на кой ему шины, ответил:

— У меня, кряк, в дивизии велик трофейный — окряковенный красавец, ребята обещали сохранить. Одна беда — шин ни кряка не напасешься, а я, кряк, разжился.

Почти сразу после его спросили, почему он крякает.

— А я перед ранением, кряк, попал в такую кряканую кряковину, что думал, крякец. И дал себе слово: выберусь живой — никогда больше матерного слова не скажу. Ну, в смысле, до конца войны, а то потом чего бояться-то? — прибавил он, малость подумав. — Без мата говорить тяжело. Как жрать без соли. Решил, буду вставлять «кряк». Почему «кряк»? А фамилия моя Уткин. Я, кстати, Георгий, Жора.

И стал ручкаться с теми, с кем еще не успел.

Скоро Рэму надоело прислушиваться к трепу. Никакого осмысленного разговора внизу не происходило. Как кто спирт разбавляет, да чем его лучше закусывать — всякое такое.

Поэтому он отключился, стал думать про свое

Капитан сказал интересную вещь. Что на войне либо себя жалеть, либо других, а середины не бывает. Пожалуй, альтернатива сформулирована некорректно. Даже неправильно.

Чтобы не свихнуться в свихнувшееся время, когда жизнь может в любой момент оборваться, нужно или вообще никого не жалеть, включая самое себя, или жалеть всех без исключения. Для предельной ясности в поступках. Иначе так и будешь метаться.

Инстинкт самосохранения подсказывает укрутить жалость до нуля. Поставить блок. Вот отец говорит, что врачу на операции ни в коем случае нельзя жалеть пациента. Иначе в самый ответственный момент дрогнет рука. Война — это огромная хирургическая операция. Тут или плакать, или резать. Из тех, кто научился никого не жалеть, и получают победители: герои войны и те, кто выжил, когда остальные погибли. Пожилой капитан — второго сорта, из выживающих.

Но у меня так не получится, сказал себе Рэм, глядя на бегущие по близкому потолку тени. Я от природы жалостлив, такой дефект личности. Значит, героем мне не стать. А попаду на передовую — навряд ли выживу.

От такой мысли ему сразу стало жалко всех, и в первую очередь себя.

Раз твой естественный инстинкт — жалость, себя не переборешь. Но тогда уж по-честному. Жалеть так жалеть. Всех.

Он решил попробовать. Перевернулся на живот, высунул голову. Чужих людей, кого не знаешь, жалеть легко, если они тебе ничего плохого не сделали. Это не считается.

А вот в соседнем отсеке, тоже на верхней полке, усевшись по-турецки, режутся в «дурака» Дупак с Охримовым. Оба враги.

Дупак — хамло и скотина. Однажды получил в ухо, за дело, и с тех пор смотрит волком. Пожалеть его, однако, нетрудно. У него полипы в носу, все время шмыгает, как маленький. Еще он детдомовский, сирота, пожизненно недокормленный, все время что-то грызет или жует. Опять же в ухо давать было необязательно. Главное, велика доблесть: боксер-разрядник справился с заморышем.

Вот пожалеть Охримова будет трудней. История конфликта тут длиннее и сложнее.

Сказав капитану, что среди курсантов не осталось фронтовиков, Рэм позабыл про Охримова. Просто тот никогда не рассказывает про войну, не любит. Но хлебнул огня с добавкой, это видно. В казарме каждую ночь скрипел зубами, иногда плакал. А днем тихий, слова не вытянешь.

Их тогда, на первом месяце учебы, очень ротный старшина мучил, злющий такой дагестанец, Хамзаев. Все его прямо ненавидели.

Однажды Охримов на переменке подошел. Говорит: «Ты, Клобуков, не такой, как другие. Зря не треплешься, хвост не распускаешь. Давай Хамзаева, суку, кончим». Рэм засмеялся. Давай, сказал, давно пора.

Охримов обрешивался. Говорит: «Он, гад, меня не-излюбил. Нарочно изводит. Ждет, что я сорвусь и харю ему искровяню. Меня тогда из училища в шею. Под трибунал и в штрафбат. А я хочу офицером стать. Железно. Но у меня, Клобуков, терпение кончается. Таких Хамзаевых надо давить, как клопов. Без них мир лучше. Ты не бойся, мы его технично сделаем, никто ничего. Только мне второй нужен, в одиночку аккуратно не получится». И стало понятно, что никакая это не шутка. Глаза у Охримова были светлые, спокойные, совершенно сумасшедшие.

Рэм, конечно, его послал, и с тех пор Охримов глядел сквозь него, как через стекло. Всякий раз казалось, что он по этому стеклу еще и ногтем скребет. Жуткий тип.

Но, поработав над собой, Рэм придумал, как пожалеть и Охримова. Вспомнил, что отец, приехав на побывку, однажды сказал: «Мы, медики, лечим в лазаретах раны тела, а главная рана вот здесь. — И постучал себя по голове. — У всех, кто там побывал. И эту рану никто не лечит. Потому что где взять столько психиатров?» Охримов — душевнобольной. Скорбный духом, как писали раньше. Разве не жалко?

А когда жалеть людей надоело, Рэм стал просто глядеть в окно. От Лодзи до конечной станции Опшельн, где штаб Второго Украинского фронта, оставалось всего двести километров, но поезд часто сбавлял ход и еле полз. Во время январского наступления пути сильно пострадали, во многих местах полотно было временное. Иностранную жизнь Рэм пока толком не разглядел, хотя после пересечения границы все жадно прилипла к окнам. Но Польша ничем не отличалась от Белоруссии. То есть, может, раньше и отличалась, однако война — декоратор с однообразным вкусом. Всюду, где она помахала своею кувалдой, пейзаж делался одинаков: черные пятна пожарищ на белом снегу, скелеты домов, обломки подбитой техники.

Здесь же, видно, немцы отступали быстро, и кое-где сохранились совсем целые деревни. Домов было толком

не рассмотреть, но каждый костел Рэм провожал взглядом. Это была иная, нерусская, экзотическая жизнь. Все-таки уже Европа.

— Эй, малой!

Внизу стоял, улыбался кричающий старлей. На плече у него опять висели шины.

— Есть предложение. Багаж — на багажную полку, а то людям сидеть тесно. Давай так: барахло сложим на твое место, а ты дуй к нам. Чего тут осталось ехать-то?

Сказано было легко, необидно, и Рэм артачиться не стал. Спрыгнул, натянул сапоги. Фронтовики подвинулись, и он оказался между Георгием-Жорой Уткиным и каким-то артиллерийским капитаном, пялиться на которого Рэм постеснялся. Дальше сидел еще лейтенант, а напротив капитан-танкист, два старших лейтенанта и один младший, но не чета Рэму: с обожженным лицом, с гвардейским значком и медалью «За отвагу», с новыми офицерскими погонами, пришитыми на солдатскую шинель. Тут все были черт-те в чем. Танкист в овчинной безрукавке, один старлей в белом кашне, другой в ботинках и замшевых гетрах. Только Рэм сидел, как иллюстрация к уставу: аккуратная гимнастерочка, еще не обтрепавшиеся погончики. Прямо пожалел, что сдуру сфотографировался в таком виде, после выпуска — послать отцу и сестренке. Сразу видно: зелень тыловая. Решил про себя, что фото выкинет и при первой возможности снимется по-другому, по-фронтовому.

На Рэма соседи едва взглянули. Даже не спросили, как зовут. И очень хорошо, а то он от смущения заблеял бы по-овечьи и потом себя ненавидел бы.

Пристроив на багажной полке свои шины, Уткин сумрачно оглядел столик. Там фляги со стаканчиками, хлебные крошки, обглоданная селедка на газетке.

— Докладываю обстановку, товарищи командиры. Спиртяги до крика, но закуси больше нет. Это нехорошо. Можем понести невозвратные потери. Есть у кого харч?

— Откуда? — вздохнул танкист. — Все приперлись на вокзальный продпункт, как к титьке, со своими

аттестатами, а там, сам видел, объявление: «Подвоза не было». Теперь только в Опшельне разживемся.

Рэм ожил. Кажется, теперь на него обратят внимание!

— У меня есть. Нам в Варшаве выдали до пункта назначения. Сейчас достану.

Он извлек из вещмешка всю провизию: банку консервов, хлеб и сало, с небрежным видом положил на столик. Ужасно испугался, что покраснеет от удовольствия, когда артиллерист заметил:

— Щедро. По-фронтовому.

И все сразу стали с Рэмом знакомиться, будто он только сию минуту появился.

Уткин представился «Жорой», торжественно присовокупив: «трижды старший лейтенант Советского Союза». Его, конечно, спросили — как это, и он с удовольствием объяснил:

— Дважды разжалован. В сорок третьем и в сорок четвертом. Но я, крик, чисто птица феникс. Не сгораю, а опять взлетаю. Однако только до третьей звезды. Выше, крик, ни в какую. А то бы уже, наверно, минимум майор был.

Лейтенант сказал:

— Теперь не успеешь. Ну, за победу? Раскладывай скорей, земля.

— Я уже. Это колбасный фарш, американский, очень вкусный, — сказал Рэм и мысленно обругал себя: не мельтеши, Петя Ростов. «У меня изюм чудесный».

Ему сунули алюминиевый стаканчик. Капитан, что слева, тихо посоветовал:

— Водой разбавь. Не лихачь. Привычки требует.

А Рэм набрался смелости, и громко:

— Спасибо. Я вообще не пью.

Взял и поставил стаканчик на стол. Ждал от кого-нибудь насмешки или презрительного взгляда, но ничего такого не было. Капитан, перед тем как выпить, пробормотал: «Отэтпрально». Остальные даже не посмотрели. Другой капитан затеял интересный всем разговор, какие соединения по итогам Нижне-Силезской операции сделают гвардейскими. Обожженный младлей, уже гвардеец, обстоятельно рассказывал про льготы

и про повышенное дендовольствие. Ему, комвзвода, положено кроме обычных шестисот и трехсот фронтовых еще триста гвардейских. Плюс хромовые сапоги, гвардейского сукна шинель и диагоналевая гимнастерка, а что он сейчас во всем старом, так это не захотел после ранения в госпиталь брать, чтоб не сперли.

Слушали его очень внимательно, задавали вопросы. Потом старлей, что сидел у окна, сказал:

— Глядите. Германия.

Те, кого ранило в Силезии, на Германию посмотреть уже успели и не повернули головы, а Рэм так и прилип. Гвардеец, его звали Костей, тоже. Он западнее Лодзи еще не бывал.

— Танковый прорыв был, не иначе, — уверенно определил он. — Вон хутор целехонек. И те два тоже. Драпал фриц.

Рэм поразился размеру и добротности построек. Наверное, это были крестьянские хозяйства. По-иностранному «фермы». Дома каменные, как в городе. Каменные же амбары. Нарядные красные крыши.

— Людей не видно, — сказал Рэм через некоторое время. — Вообще никого. Окна выбиты...

— Свалил немец, от мала до велика. Правильно сделал. — Костя матерно выругался. — Ребята говорили, приказ был, перед германской границей зачитывали. Что Рабоче-Крестьянская Красная Армия вступает на фашистскую территорию и что настала пора отомстить за сожженные города и села, за женщин и детей. Берите, что хотите, товарищи бойцы. Всё ваше. А с ихними бабами поступайте, как они поступали с нашими.

— Правда был такой приказ? — засомневался Рэм.

— Ребята врать не станут, — сурово ответил Костя и потер свою страшную бутристую щеку.

А Рэм вспомнил статью Эренбурга, которую еще в училище горячо обсуждали на политинформации. Прото, что палачам не будет пощады и что немцев только огнем можно отучить от набегов на Россию. Чеканные формулировки статьи запомнились наизусть: «Нас привел к границе Германии человек, который знает, что такое слезы матери. Сталин знает, как немцы зарывали

и землю живых детей, и в самые черные дни Сталин нам говорил, что мы победим злодеев... И если найдется в мире человек, который забудет о том, что сделали немцы, его проклянут могилы невинных. А мы знаем, что не забудет этого Сталин и не забудет Россия. Мы говорим это с тем спокойствием, которое бывает у старой, накаленной и неодолимой ненависти».

Но одно дело — статья про ненависть, а чтобы прямо в приказе? Да про баб? Однако спорить с гвардейцем Рэм не решился.

— Эй, резерв Верховного Командования! — дернул сади за гимнастерку Уткин. — Во-первых, крик, хорош трясти своей кормой перед рожой старших по званию. А во-вторых, товарищи командиры интересуются, тебе часом не выдали в Варшаве курево? По разведанным, там отоваривали «Казбеком».

Рэм отвернулся от окна.

— По одной пачке только дали. Но у меня папирос не осталось. Есть табак пачечный. Достать?

— Ваяй. Угостим народ. Твой табачок, моя бумажка. У меня хорошая есть.

Жора вынул какую-то книжку или, может быть, толстую тетрадку в замшевом переплете, выдрал оттуда четыре странички, каждую разорвал пополам, и получилось восемь прямоугольничков, по числу членов компании. Рэм положил на стол пачку «Рекорда», взял одну бумажку себе. Она была тонкая, полупрозрачная — настоящая папиросная, только не чистая, а очень плотно исписанная с обеих сторон. Почерк ровненький, аккуратненький — такой, наверно, и называют бисерным, потому что буквы будто нанизанные на нитку бисеринки.

У Рэма была привычка читать всё подряд. Отец в детстве, бывало, ругался, что сын застревает у каждого стенда с газетами, у каждого столба с объявлениями.

Сейчас тоже, прежде чем насыпать табаку, Рэм поднес бумажку к глазам. Текст был русский.

«...когда же я оглядываюсь назад, на прожитые годы, особенно жалко мне моих ранних лет, потраченных

впустую, на всяческую чепуху. Ах, если бы кто-нибудь, искренне озабоченный моим благом и умеющий помочь, сызмальства направил меня в верную сторону! О, я бы стал не тем, что я есть, а чем-то много лучшим. Я не продирался бы вслепую через колючки, через чащу, а шел бы прямой дорогой и продвинулся бы по ней много далее», — прочитал Рэм и перевернул клочок. С другой стороны было написано: «Меня мутит, когда слышу выражения вроде “самый обычный человек”, “он не хуже других”, “я такой же, как все”. Все люди необычны! Никого ни с кем сравнивать нельзя — кто лучше, а кто хуже! “Такой же, как все” означает никакой!»

Заинтересовавшись, он взял со стола нетронутую бумажку — артиллерист сказал, что не курит. Прочитал: «Через сто или двести лет людям будет казаться дикостью, что когда-то женская половина человечества считала главным делом своей жизни вырастить и воспитать детей — будто курица, высидывающая яйца, или волчица, учащая волчат охотиться. Как можно было тратить свою бесценную жизнь на то, что у тебя скорее всего хорошо не получится? И как можно было разрешать матерям, не обученным самому важному из знаний, педагогике, портить детей? Мы будем казаться нашим потомкам такими же варварами, какими нам сегодня кажутся люди средневеко...»

— Жор, откуда тетрадка? — спросил Рэм.

Он отсел на край, поменявшись с лейтенантом, потому что Уткин затеял играть в очко на золотые. Тем, кто выписался из госпиталей, выдали командировочные местной валютой, и что с нею делать, никто не знал. А у Рэма денег не было, и карт он не любил.

У Жоры из угла в угол рта ходила самокрутка.

— А? Костька, банкуешь?

— Где, говорю, тетрадью разжился?

— Под Варшавой, перед тем как ранило. Траншею у фрицев взяли. Там штабной блиндаж... Еще! ...Выходит эсэсман с поднятыми руками... Еще одну! ...И по-русски: «Не стреляйте, товарищ, я немецки антифашист». Умора, крик! Черепушка на фуражке, молнии, все дела, вот такая ряха, стеклышки на носу. Антифашист ... Зараза, перебор!

Стукнул кулаком по столу, раскрякался.

— Сдавай!

— И чего? С эсэсманом?

— А чё с ним? Грохнул. Эсэсовцев в плен не берут.

Мы тогда, по правде, никого не брали. Потери были, людей мало, а тут конвоируй в штаб... Себе!.. Тетрадка у него в сумке была. Понаписана всякая крякотень, зато бумага — как с папиросной фабрики. Ну, думаю, щас покурю. И тут меня осколком — кряк! Вот сюда. Короче, покурил только через полтора месяца, когда перевели в палату для выздоравливающих. Не до курева было. Ага, съел? — хищно расхохотался он, сдвигая к себе кучку купюр. — Я сдаю.

Похож на Долохова, подумал Рэм. Игрок, был разжалован в нижние чины, выслужился лихостью и тоже не берет пленных.

— Дай тетрадку почитать, — попросил он.

Уткин не глядя сунул:

— На и отвяжись. Мне карта поперла.

Открыв тетрадь, Рэм увидел, что в середине много страниц вырвано. Где-то по одной, где-то сразу несколько подряд — наверное, Жора тоже угощал бумагой целую компанию. Но начало было целое. Судя по тому, что проставлены даты — дневник или какие-то записи в хронологическом порядке.

Откинулся к стенке, стал читать.

18.X.1940.

Дорогой Антон,

Не знаю, почему я решил, что буду адресовать мои записки именно тебе, ведь мы не виделись больше двадцати лет, и я даже не знаю, жив ли ты. Очень надеюсь, что жив и что многочисленные невзгоды нашего железного века обошли тебя стороной.

Я вне себя от возбуждения. Это странно, а в нынешних обстоятельствах даже невообразимо, но мечта всей моей жизни близка к осуществлению! Я должен выплеснуть эмоции, собраться с мыслями, а поскольку собеседников у меня нет, сделать это я могу только

ни бумаге. Кроме того, мой великий план предполагает ведение подробного дневника. Легче обращаться не в пустоту, а к конкретному человеку, с которым мы когда-то мечтали о великом эксперименте вместе. Помнишь, с чего всё началось? Помнишь спор двух первокурсников об общественном и индивидуальном?»

Дойдя до этого места, Рэм взволновался. Антоном звали его отца. Тот при старом режиме тоже учился в университете, а когда пустится в рассуждения, говорит примерно в таком же стиле. Вдруг это пишет какой-нибудь его старший товарищ? Вот была бы штука!

— Жор, — сказал он, отрываясь. — Обменяй тетрадку на что-нибудь. Тут интересно, я почитал бы. Хочешь, у меня набор химкарандашей есть?

— Меняют жлобы и спекулянты, — ответил Уткин, сосредоточенно уставившись на три карты — решал, брать еще или нет. — .. Дай одну. — И заорал: — Ааа! Очко!

Страбастал выигрыш, широко махнул:

— Дарю, малой. Не жалко.

Рэм снова уткнулся в тетрадь.

«А еще мне почему-то хочется писать на языке, которым я давно не пользуюсь в обыденной жизни. Я трехязычен с детства. На немецком со мной говорили родители. Он так и остался интимным, домашним, незрелым. Потом появился польский — язык прислуги, двора, улицы. Я познакомился с ним не в лучшем его варианте, он до сих пор звучит для меня грубо, и моя непростая, полная разочарований жизнь в новой стране Польше не исправила этого ощущения. Поэтому дороже всего мне русский, язык гимназии и нашего Петроградского ист-фила, язык прекрасных книг, увлекательных дискуссий, лекций Венцеля и Вахтерова. Я всегда любил учиться. С преподавателями мне было несравненно интереснее, чем со сверстниками».

Нет, это не отцовский знакомый, с разочарованием подумал Рэм. Отец учился сначала на юридическом, потом в медицинском.

Все же стал читать дальше. Не глаза же, как другие в очко режутся?

«Я очень надеюсь, что за минувшие годы у тебя получилось опробовать твою теорию общественно-трудового

воспитания на практике, хоть, ты знаешь, я считал ее в корне ошибочной. Конечно, эти двадцать лет мы с тобой существовали в несоприкасающихся мирах, разделенные глухой стеной, но до меня доходили сведения о том, что у вас в России ведутся необычные эксперименты с детскими коммунами. Мне нравилось думать, что ты, Антон, в этом участвуешь. Как интересно было бы узнать о результатах!»

Рэму пришла в голову новая догадка. А что если он пишет Антону Макаренко, автору «Педагогической поэмы»? Это было бы еще интересней!

«Доходили сюда и пугающие известия о многочисленных арестах среди русской интеллигенции, полагаю, сильно преувеличенные здешней антисоветской прессой. Впрочем, в отличие от тебя, я никогда не интересовался политикой и ничего в ней не смыслю. Не намерен я уделять ей место и в этих записях. Жалко тратить время, да и ради чего? Разве станет геолог, ищущий золото, писать в дневнике экспедиции о комарах, отравляющих ему жизнь? Бог с ними, с кровососами. Меня интересует золото.

И все же два слова о войне. Не случись с бедной Польшей того, что с ней случилось, я вряд ли имел бы возможность реализовать свою теорию. Год за годом я пытался получить необходимые разрешения и документы, добыть финансовые средства — и всё впустую. Мои усилия разбивались о противодействие бюрократов, сопротивление попов, ретроградов от педагогики, косных родительских ассоциаций. А сейчас я никем и ничем не связан. Вот уж воистину не было счастья, так несчастье помогло!

Я ужасно горд тем, как я провернул эту операцию, сам себя изрядно удивив своей ловкостью. Ей-богу, мы часто не подозреваем, какие в нас заложены таланты!

Мне доставит удовольствие записать рассказ о моем внезапно пробудившемся авантюризме. Я чувствую, что это качество, которого я в себе прежде не подозревал, очень пригодится в новой жизни. А она начнется прямо с завтрашнего дня.

Вот как всё произошло...»

— Эй, профессор, вырви покурить, — попросил Жора.

— Оторви от газеты. Говорю, тут интересно.

— Я с конца, напоследок. Да не жидись ты!

Старлей дотянулся, выхватил из рук тетрадь. Вернул, когда выдрал страницу.

Рэм встал и ушел в тамбур. Там спокойнее.

БИСЕРНЫМ ПОЧЕРКОМ

Всякой грандиозной идее предшествует какое-то случайное событие, какое-то решение, дающее первый толчок мыслям, которые, иногда сама того не создавая, начинают работу в определенном направлении. Великим примером является здесь или Кюптона с аблокви. Нечто подобное позавчера случилось и со мной. В проходе через Каневку, мимо ворот полководца великого Татто, и оставшись в поразительной удивительной партикой.

Однако, раз уж мои записки имеют вид письма к другу, которого я давно не видел, напиши несколько слов о Татто, тем более что устройство этого поразительного, анатомического, воскресшего из Средних веков изобретения окупационного восточней будет иметь какое-то непосредственное отношение к Эксперименту. К тому же установление и параметров еврейского города внутри Города каньева на будущее меняться, и неизбежно зафиксировать, каковы они на сегодняшней день.

Итак, верхнеклассовые, многократные во власти, позаимствовавшие от индийской цивилизации, управляют на части. Для того чтобы избежать затрат общества полевые вытребовали, нужна какая-то часть парков, неприкосновенных, по сравнению с которой себе будет предоставлять себе все же до некоторой степени привилегированными. В этом, полагаю, и заключается рациональная причина германского государственного антицимитизма.

В Польше с ее колоссальными еврейскими населением эта предпринятая для Германии механика беретает почти абсурда, поскольку неприкасаемых "взвешивается" дымом уже много, но тупая, железная дисциплина не знает обратного хода. В результате город, где евреи восстанавливают чуть не треть населения, превра-

Всякой грандиозной идее предшествует какое-то случайное событие, некое озарение, дающее первый толчок мысли, которая, иногда сама того не сознавая, начинает работу в определенном направлении. Вспомни Архимеда в ванне или Ньютона с яблоком. Нечто подобное позавчера случилось и со мной.

Я проходил через Налевки, мимо ворот новообразованного Гетто, и остановился, пораженный удивительной картиной.

Однако, раз уж мои записи имеют вид письма к другу, которого я давно не видел, напишу несколько слов о Гетто, тем более что устройство этого поразительного, анахронического, воскресшего из Средних Веков изобретения оккупационных властей будет иметь самое непосредственное отношение к Эксперименту. К тому же установления и параметры еврейского города внутри Города наверняка будут меняться, и невредно зафиксировать, каковы они на сегодняшний день.

Итак, сверхчеловеки, многое, начиная со свастики, позаимствовавшие от индийской цивилизации, управляют подвластным населением, деля его на касты. Для того чтобы низшие страты общества поменьше бунтовали, нужна некая каста париев, неприкасаемых, по сравнению с которой плебс будет чувствовать себя все же до некоторой степени привилегированным. В этом, полагаю, и заключается рациональная причина германского государственного антисемитизма.

В Польше с ее колоссальным еврейским населением эта придуманная для Германии механика обретает черты абсурда, поскольку «неприкасаемых» оказывается слишком уж много, но тупая, железная система не знает обратного хода. В результате Город, где евреи

составляют чуть не треть населения, превращен в некую уродливую матрешку. Внутри него устроен второй город, еврейский, откуда выселили поляков и куда отовсюду свозят, стоняют евреев. Территория в три квадратных километра обнесена проволокой, а кое-где даже возводят стену. Говорят, на этом искусственном острове в невероятной скученности будет жить чуть ли не четыреста тысяч человек. По радио объявили, что всякий еврей, обнаруженный вне Гетто без специального разрешения, будет арестован со всеми вытекающими последствиями, которые у сверхчеловеков всегда одинаковые.

Мне скучно про всё это писать. Я не хроникер человеческого идиотизма и не свидетель маниакальных злодейств. Уверен, что очень многие сейчас записывают все эти мерзости и глупости для будущего «суда истории», ведь евреи — «народ Книги». Я мерзостями и глупостями не возмущаюсь, я им не удивляюсь. На мерзостях и глупостях стоит вся история человечества. Пока не устранена их главная причина, всё так и будет длиться до окончания времен. Наверное, я чудовище, но мне не жалко взрослых людей. Они все или почти все безнадежно упущенные и пропащие. В лучшем случае бессмысленны и бесполезны, в худшем — вредны и опасны.

Иное дело — дети, особенно маленькие. Я не могу без боли и ужаса смотреть на то, что с ними творят взрослые. Берут под свою невежественную опеку незащищенное, доверчивое сокровище и мнут, портят, губят! Не успокоятся, пока не превратят нового человека в такую же дрянь, какую являются сами!

Стоп. Мне нужно держать себя в руках. Отныне я не тот, что прежде. Всё переменялось. Никаких жалоб, причитаний, никаких эмоций. Только цель, только дело. И никакой водки. Ни капли. С этим покончено. Расправляю крылья — и в полет!

Итак, про Налевки.

Как я уже написал, меня трудно удивить происходящим вокруг безумием, но тут я просто ошеломлен.

Я увидел, как Сказочник проводит через ворота своих воспитанников из «Дома еврейских сирот». Должно быть, они получили предписание переместиться в Гетто.

Я не люблю Сказочника. Он хороший, добрый человек, но он занимается не своим делом. Впрочем, как подавляющее большинство живущих на этом свете. Раз ты Сказочник пиши сказки, у тебя получается, но не порти детей своим невежественным воспитанием!

Многие стояли и смотрели, как длинная колонна медленно втягивается в ворота. Кто-то вздыхал, кто-то вытирал слезы, кто-то не мог сдержать рыданий. «Какая трагедия!» — шептались вокруг. Громко никто не возмущался, потому что было много полиции.

Я же смотрел на то, как наслаждается всеобщим вниманием Сказочник, как картинно обнимает он робящего ребенка, как запевает надтреснутым голосом веселую песенку, как подбирает и прижимает к груди оброненного плюшевого зайца, как подчеркнуто он не замечает толпы, — и злился: позер, позер!

Стыдно. Я несправедлив к нему. Причиной тому самая черная зависть. К его известности, к пиетету, который он во всех вызывает, а более всего — к огромным возможностям, которыми он так плохо пользуется. Ах, если б мне дали управлять сиротским домом, думал я, глядя на печальное шествие. О, я бы согласился жить в любом Гетто и не устраивал бы по этому поводу трагедий!

Но то была еще не сама идея, а лишь ее предчувствие.

Следующее звено цепочки, тоже случайное, замкнулось ночью, когда я не мог уснуть и всё думал про Сказочника, которому судьба дала то, о чем я могу только мечтать. Уж если, руководя сиротским домом в обычном мире, он был почти свободен в своей педагогической деятельности, то можно себе представить, как привольно заживет он в Гетто — без муниципальных комиссий, учительских ассоциаций и прочих контролирующих инстанций. Там, за колючей проволокой, можно быть

свободным от внешнего мира. Вот где бы развернуться! Говорят, среди беженцев невероятное количество осиротевших и потерявшихся детей...

Но это были жалкие, бессмысленные мечты. Во-первых, на какие шиши я бы стал разворачиваться? Во-вторых, кто меня пустит в Гетто, если я не еврей?

От бессонницы мне, как обычно, понадобилось выпить. Я неплохо научился гасить встречным огнем алкоголя тот костер, который сжигает меня изнутри. Это пламя могло бы согреть и осветить мир, но, не имея выхода, оно лишь опалает мне сердце.

Дома водки не было, а выходить на улицу в комендантский час строжайше воспрещалось, но Город всегда жил двойной и тройной жизнью, приспособляваясь к любой власти. Запреты ему нипочем. Через два квартала от меня находится подпольный кабак. Я оделся и пять минут спустя уже стучал в глухую дверь установленным стуком.

На створке тускло засветилась точка. Меня рассматривали в глазок. Я снял шляпу и слегка поклонился. Узнали.

Электричества в подвале, конечно, не было. Полагалось самому зажигать на столике керосиновую лампу, но я остался в темноте, да еще забрался в самый дальний угол.

Налил из графина полстакана, сразу выпил и стал ждать, чтоб перестало жечь изнутри, но что-то никак не отпускало. Мне уже за сорок, а ничего не сделано, жевал я свою всегдашнюю горькую жвачку. Мир населен и перенаселен теми, кому за сорок и кто ничего не сделал, но они и не знают, что нужно делать, а я-то знаю, знаю, и оттого бессилие тысячекратно тяжелее.

Когда за соседний стол сели двое и начали тихо переговариваться, я даже обрадовался — их бубнеж отвлек меня от самоедства.

Это были персонажи из «подкоряжного мира», как, помнишь, называли во времена нашей студенческой юности разный мутный, нечистый, ночной люд. Словно

перевернул корягу, и там, в сырой грязи, копошатся какие-то жучки, червяки, сколопендры. Вот и эти были такие же — спекулянты с черного рынка, торговцы «марафетом», а может быть, даже воры или грабители. На территории страха и беды, каковой теперь является Город, подобной публике раздолье.

Я сначала не прислушивался, но скоро по доносившимся до меня обрывкам фраз понял, что это контрабандисты, притом нового, очень популярного профиля — переправляющие по подпольным каналам живой груз. Многие евреи, кто имеет деньги или богатых родственников за границей, после апрельского приказа об учреждении Гетто пытаются перебраться в Палестину, пока всех не заперли за колючей проволокой. Когда есть спрос на услугу, появляется и предложение, так что возникла даже конкуренция между «туристическими фирмами» (остроумное название). Я слышал, что «ваучер» через Словакию и Румынию, а оттуда морем можно добыть за 100 американских долларов — сумма большая, но не астрономическая. Всё неплохо организовано. Гарантией того, что «гиды» не прикончат «туриста» по дороге, является оплата по результату. Ее производят заграничные родственники на месте прибытия.

Мои соседи обсуждали какого-то Данцигера, беженца из Германии. Щуплый мужичонка (звали его Лех) волновался, ерзал и много говорил свистящим шепотом. Второй, сидевший ко мне мощной квадратной спиной, ронял слова скупно. Первый называл его Шайло.

Минут через пять стало ясно, что контрабандой людей промышляет только Лех. К нему обратился потенциальный клиент, берлинский ювелир, предложивший хороший задаток: 50 долларов, а по прибытии в Яффу — вдвое.

— Открывает он свой чемодан, — свистел Лех, — а там (я подглядел) зеленым-зелено! Доллары пачками! Говорю ж тебе, Шайло, он ювелир, берлинский! Наверно, продал всё свое рыжье и все цацки!

— А у тебя самого кишка тонка? — хмыкнул второй.

— Ты же знаешь, я не по этой части.

— Ладно. Получишь за наводку как положено. Десять процентов.

Тут я догадался о профессии пана Шайло, и мне сделалось не по себе. Не дай бог обернется и углядит меня в моем темном углу. Но уходить было еще опаснее. Я съехался и теперь ловил каждое слово.

— Не за наводку, не за наводку! — закипятился контрабандист. — Я его прямо к тебе приведу. Доставлю, куда скажешь. За это отдашь мне треть.

— Десять процентов.

— Двадцать пять! Без меня ты дела не сделаешь. Только я знаю, где живет Данцигер.

— Десять процентов, — лениво повторил громила.

— Дай хоть двадцать — не то отведу его к Тадзику, — пригрозил вертлявый.

Тогда Шайло вроде бы не быстрым, но каким-то очень точным движением схватил собеседника здоровенной лапичей за лицо и сжал. Лех сдавленно замычал, умолк. В другой руке у бандита блеснуло что-то тонкое. Шило!

— Я тебе сейчас цапку к столу пришпилю и буду поворачивать. Пока не скажешь адрес, — тихо прогудел Шайло. — Можешь орать — никто ко мне не сунется. Где найти этого Данцигера, ты все равно скажешь, только ни шиша не заработаешь, кроме дырки в руке. Ну?

Лех пропищал что-то жалобно-утвердительное.

— Ладно, десять процентов, — просипел он, когда Шайло его отпустил. — Только слово дай. Воровское. Что не обманешь.

Второй молча чиркнул себя большим пальцем по горлу. Это, вероятно, и было «воровским словом».

— Ну, где он?

Но контрабандист колебался.

— ...Ага, я скажу и стану тебе не нужен.

Шайло двинул его кулачищем в ухо — кажется, в четверть силы, но у Леха чуть голова с плеч не оторвалась.

— Я воровское слово дал.

И Лех всё тем же пронзительным шепотом назвал адрес в Мокотове. Коричневая кожаная дверь на первом

этаже справа, вроде как заколоченная двумя досками, но это маскировка. Нужно постучать два раза медленно и потом три быстро.

Я к этому времени совсем сполз под стол, думая только об одном — остаться бы живу. Но когда они ушли, успокоился и даже ободрился, чему, безусловно, поспособствовало содержимое графина. Надо предупредить беднягу, сказал я себе. Завтра же, с раннего утра, как только закончится комендантский час.

Поставил будильник. Проснулся в рассветном сумраке под отвратительный дребезг. Ныли виски, вставать ужасно не хотелось. Сделай хоть одно доброе дело в жизни, чертов спаситель человечества, обругал я себя.

Дойдя до места, я спрятался за деревом и стал смотреть на окна. Мне пришло в голову, что бандит тоже мог с утра пораньше отправиться за добычей. Что если он уже там?

Но через какое-то время на одном окне раздвинулись шторы и появилось лицо, при виде которого я вздрогнул. Оно было книзу тяжелое, густобровое, с набрякшими веками — очень похожее на мое собственное, когда я полчаса назад смотрел на себя в зеркало. Если надеть очки и пририсовать бородку — вылитый я.

Тут, в этот самый момент, меня будто пробило электрическим током. Нет, скорее это было похоже на то, что прямо в темя мне вонзился светозарный луч, и мир наполнился чудесным сиянием.

То была не итог логических размышлений. То было озарение. Свет и сила наполнили все мое существо. Я больше ничего не боялся, не колебался, не прикидывал, не взвешивал.

Я знал, что я должен сделать. План составил сам собой, идеальный в своей безупречности. Какие-то детали я додумывал уже на ходу.

Нужно было сначала зайти домой. Я больше не опасался, что Шайло меня опередит. Он не идиот совершать убийство среди бела дня, наверняка дождеться темноты, а значит, времени более чем достаточно.

Поразительно, как меняется человек, когда судьба и случай вдруг выводят его из болота и зарослей на прямую, ясную дорогу. Я знал, что теперь с нее не сойду.

Домой я вернулся за двумя вещами. Во-первых, за пистолетом, которым обзавелся еще во время осады — не для геройства, а для защиты от шпаны и мародеров. Слава богу, я не сдал свой «браунинг» оккупационным властям. Во-вторых, за набором документов. Несколько месяцев назад я зарегистрировался в комендатуре как «фольксдойче II категории». Всего у полоумных сверхчеловеков аж четыре категории фольксдойче. Моя — для немцев, не проявлявших до войны приверженности Рейху, но сохранивших свою германскость и не осквернившихся браком с неарийцами. Я долго колебался, вляпываться ли в эту гадость, было противно, но практические соображения возобладали. Какое это было верное решение!

Я уверенно постучал в заколоченную дверь условленным манером: тук, тук, тук-тук-тук. Когда — очень нескоро — на той стороне тихонько скрипнула половица, спокойно сказал: «Я от Леха. Открывайте, пан Данцигер».

Потом, когда створка открылась, шагнул в полутемный коридор и сразу перешел на немецкий.

— Лех сдал вас бандитам, — сказал я. — Вместо Палестины вы попадете на тот свет. Где ваш чемодан с долларами?

Поразительно как упрощает общение пистолет в руке. Можно не здороваться, а сразу, без предварительных объяснений, переходить к делу.

Данцигер крикнул.

— Не отдам! Стреляй, чертов грабитель!

— Я не грабитель. Я предлагаю вам взаимовыгодную сделку: деньги в обмен на жизнь и безопасность. Пистолет для того, чтобы вы меня внимательно выслушали. Где у вас тут зеркало?

Моя уверенность и невесть откуда взявшийся нахрап были удивительны мне самому. Я будто бы действительно

сделался совсем другим человеком. Так, наверное, прищасается в распрямившуюся пружину легавая собака, взявшая след.

Ничего не понимая, ювелир допятился до входа в комнату. Там, в глубине, холодно поблескивала зеркальная дверца платяного шкафа. Я крепко взял берлинца за локоть и подтащил ближе.

Мы стояли рядом.

— Смотрите, как мы похожи.

— Не особенно, — пробормотал он, глядя на мое отражение со страхом. Должно быть, считал меня психом.

— А если так?

Я нахлобучил ему на нос свои очки.

— Теперь гляньте сюда. — Показал свою «кеннкарту», раскрытую на фотографии. — Если скажете, что сбрили бороду, никто не усомнится, что документ ваш. Ну, или можете отрастить такую же.

— Что это? Зачем? — пролепетал Данцигер.

— У вас удостоверение желтого цвета, с буквой J?

Он испуганно кивнул.

— И без повязки с шестиконечной звездой на улице не появишься, так? Теперь, когда ваша Палестина провалилась, вам один путь — в Гетто. Оттуда уже не выберетесь. А я дам вам полный набор документов стопроцентного арийца. И отправляйтесь себе совершенно легально, скажем, в Румынию, а оттуда — куда пожелаете. Все ваши деньги я не заберу, оставлю достаточно.

Данцигер тяжело дышал, но ужас в глазах пропал.

— Позвольте?

Взял удостоверение, продовольственный аттестат, справку с места жительства, поизучал.

— Вы с ума сошли. Какой из меня «фон», какой «барон»?

— Чем богат. Документы подлинные. Повторяю: это жизнь, безопасность. И свобода. Но сначала покажите, сколько у вас денег.

— Вы меня застрелите, — жалобно сказал он и мелко-мелко замигал. Наблюдать страх почти так же

неприятно, как его испытывать. Я принялся успокаивать Данцигера.

— Посмотрите на меня. Разве я похож на убийцу?

— Сейчас все убивают, даже кто не похож.

— Ну и черт с вами. Я мог бы устроить обыск и забрать чемодан силой, но я не грабитель. Прощайте. Не советую только здесь задерживаться. Следующие визитеры будут менее деликатны.

Я спрятал документы в карман и сделал вид, что ухожу.

В коридоре он меня окликнул:

— Пойдите!

Исчез в комнате, чем-то там погромыхал и вынес коричневый обтрепанный чемодан — не очень большой, но и не маленький. Поставил на пол, трясущимися пальцами открыл крышку

Внутри, под газетой, которую Данцигер аккуратно отложил в сторону, лежали пачки бело-зеленых купюр. Они были разложены по номиналу.

Я тоже присел на корточки.

— Эти оставляю вам. Эти тоже.

Отдал ему две пачки стодолларовых Франклинов и четыре пачки пятидесятидолларовых Грантов. Такие крупные банкноты разменивать на черном рынке небезопасно — человеческая жизнь сейчас стоит дешевле. В чемодане остались десятки и двадцатки. Много.

— Так будет честно? Давайте ваши документы и берите мои.

Он молчал. В глазах, устремленных на чемодан, который я уже закрыл и поставил рядом с собой, стояли слезы.

Я, конечно, понимал, что это слезы жадности, и все же мне было этого человека жалко. Зная себя, я предвидел, что могу дать слабину — именно тогда, когда главное будет исполнено и напряжение спадет. Но я предусмотрел это заранее.

Сделав вид, что хочу закрыть замочки получше, я положил пистолет на зонтичную подставку, да еще и полуотвернулся.

И, конечно же, Данцигер клюнул. Он схватил «браунинг», навел на меня и сделал несколько шагов назад.

— Отдай чемодан, дерьмо!

В пороссячих глазках (у меня всё же не такие) светилось торжество. Как же — и деньги сохранил, и документы раздобыл.

— Только не убивайте, — пролепетал я, подталкивая его мысль в правильном направлении. — Я уйду...

— Черта с два ты уйдешь.

Ювелир быстро оглянулся на дверь, потом на окна, прикидывая, будут ли слышны выстрелы. Отпускать меня ему было нельзя. Что если я на улице остановлю патруль и скажу, что еврей отобрал у меня, немца, документы?

Было интересно смотреть, как обстоятельства и страх превращают травоядное существо в хищника. За миг до того, как палец нажал на спуск, лицо Данцигера дернулось, будто от спазма или зубной боли. Вот и вся рефлексия.

После одного, второго, третьего щелчка физиономия мерзавца вся заколыхалась от паники.

Я вырвал из вялых пальцев пистолет. Вставил обойму. Ввел затвор. Ни жалости, ни вины я теперь не ощущал.

Он не молил о пощаде и не ждал ее, потому что полминуты назад сам собирался меня убить.

— Полусотенные вернешь обратно, скотина. Это штраф, — сказал я, подумав, что «гранты», пожалуй, мне все-таки пригодятся. Четыре пачки — это наверно тысяч двадцать?

Ювелир и не пикнул. Стал совать назад и мои документы, но я не взял. Зачем они мне, еврею Данцигеру?

На пороге я обернулся, чтобы последний раз посмотреть на человека, который отныне будет жить с моим именем, и подумал: как странно, что оно может умереть раньше меня или, наоборот, жить-поживать, когда меня уже не будет.

Бывший герр Данцигер тоже на меня пялился, с недоумением. Не мог понять, почему я не выстрелил. Люди подобного сорта не в состоянии представить, что кто-то

устроен иначе, чем они. Видно невооруженным взглядом: индотип «Г-IIAb». Для них характерен тотальный дефицит воображения.

Бог с ним. Желаю, чтобы мое имя принесло ему больше удачи, чем мне за сорок четыре года жизни. Я же отныне пан Аксель Данцигер, чистокровный еврей с кучей денег. Гетто распахнет передо мной свои ворота, которые всех так страшат, а мне кажутся вратами Эдема.

Счастливым случаем и — не буду скромничать — моей чудесной предприимчивостью совершили невозможное. Кажется, я осуществляю-таки свой заветный план, да в таких условиях, о которых и не мечтал!

ЖИЗНЬ, ЗАЧЕМ ТЫ МНЕ ДАНА?



Последний раз в жизни Таня чему-то удивлялась 20 января. Не то чтобы специально велела себе запомнить, какого числа. Просто это был ее день рождения.

Проснулась она поздно, около полудня, после ночного дежурства. Не разлепив глаз, подумала: теперь мне восемнадцать. Надежды силы молодые, и грезы светлые живые, и чистой юности рассвет. Ха-ха. Такое ощущение, что семьдесят. С днем рождения тебя, старуха. Всё ты уже видела, от всего тебя тошнит, ничто не радует, ничто и никогда больше не удивит.

Потянулась, глянула в окно — и удивилась. Трудно было не удивиться. По ту сторону стекла, на подоконнике, неподвижно сидела здоровенная птица, совершенно сказочного вида, прямо царевна-лебедь, только ярко-розового цвета, с невообразимо длинной шеей и гигантским загнутым клювом. Таня решила, что еще не проснулась, ущипнула себе запястье, но видение не пропало.

Нет, она не спала.

Медленно, не дыша, не веря своим глазам, боясь спугнуть, Таня откинула одеяло, на цыпочках, по ледяному полу, приблизилась.

Не лебедь. Прекрасный розовый фламинго. Живьем она их никогда не видывала, только на картинке. И как тут было не удивиться? В зимнем Бреслау, на фоне падающих снежинок, диковинной птице взяться было абсолютно неоткуда.

Таня рванула на себя смерзшиеся оконные створки, и фламинго свалился ей на руки, будто огромный, тяжелый букет роз.

Птица была мертвая, заледеневшая.

Всё, ошалело подумала Таня. После такого фокуса удивлялку отшибет уже навсегда.

Потом, конечно, загадка объяснилась. На работе рассказали, и в «Шлезисше тагесцайтунг» была заметка.

Оказывается, накануне, после приказа об эвакуации и подготовке к осаде, в городском зоопарке расстреливали животных. Говорят, медведи шли под автоматы сами — думали, что их, как обычно, будут кормить. Умные лисицы прятались. Лев жутко рычал. Слоно долго качался и всё не падал. На галапагосскую черепаху пришлось потратить два магазина. Но в конце концов перебили всех. Спаслись только экзотические птицы. Идиот-полицейский поленился стрелять по такому количеству мишеней, швырнул связку гранат, лопнули стеклянные стены авиария, и попугаи, туканы, японские журавли, калифорнийские пеликаны, розовые фламинго разлетелись во все стороны разноцветными сполохами. Потом их видели по всему городу. Некоторые, кто по выносливее, даже дожили до весны.

Кстати говоря, в тот же самый день Таня еще и последний раз плакала. Перед тем за два с половиной года — и каких года — ни слезинки не проронила, что бы ни происходило. Людей ей давно уже не было жалко. Никого. Сами во всем виноваты. Но тут представила, как в зоопарке убивали этих меховых, панцирных, четвероногих, парно- и непарнокопытных, когтистых и мягколапых, ни в чем не виноватых, ничего не понимающих, — и разревелась.

Дура, конечно.

А сегодня, например, шла она всегдашней дорогой на службу, жмурилась от мартовского солнышка. Повернула за угол, на Седанштрассе, а никакой Седанштрассе нет. Вообще. Дымящиеся кучи щебня. И что же? Не вскрикнула, не ахнула, не схватилась за сердце, а просто сказала «hoppla!». Надо же, расфигачили квартал.

Ночью, как обычно, грохотало в разных местах города, и один раз здорово шарахнуло, Таня даже проснулась. Подумала: «Близко где-то», да и повернулась на другой бок. А оно вон что. Эскадрилья русских «швейных машинок» уронила на Седанштрассе груз футасных бомб.

Была славная улочка, добротные бюргерские дома, подъезды с одинаковыми чугунными козырьками, чуднейшие молодые липы на тротуарах — и ничего нету. Одни дымящиеся груды, под ногами хрустит стеклянная крошка. На них копошатся люди, облепили кусок коричневой стены, будто муравьи хлебную корку, тянут. Кто-то истошно орет: «Хайди! Хайди!» Тетка захлебывается истерическими рыданиями, вырывается, ее держат за плечи.

«А вы как думали? — мысленно ухмыльнулась Таня, протискиваясь через молчаливую толпу. — Чужих детей не жалели, теперь о своих повоюйте». Прикусила губы, чтобы не распозлилась в злорадной улыбке.

Женщина с перекошенной физиономией, с часто моргающими глазами, жалобно попросила:

— Помолитесь за нас, сестра.

Таня ведь шла на службу, была в обычном своем наряде: белый чепец, белый воротник, темное платье, крест на груди.

Ответила:

— Я не монашка, я диакониса. Нам не положено.

А про себя прибавила: «Фюреру своему помолись, курица».

Миновала разбомбленный участок и снова оказалась на обычной целехонькой улице почти мирного вида. «Почти» — потому что большинство окон закрыты перинами и одеялами, а на стенах каждого дома белой краской выведены огромные буквы FB, Festung Breslau*. На перекрестке баррикада с оставленным посередине проездом. Для завала использованы надгробья — близко кладбище. Каменный ангел, лежа на боку, печально смотрел на Таню, показывал перстами на табличку, там было написано: «И прости нам грехи наши». Не дождетесь.

В это время суток, между ночной бомбежкой и дневным артобстрелом, на улицах всегдалюдно. Ужас сколько народу скопилось в осажденном городе. Мало кого тогда, в январе, успели эвакуировать. Говорят, одних

* Крепость Бреслау (нем.).

беженцев с востока четверть миллиона, и еще из пригородов сколько.

Снуют, как мыши, с ненавистью думала Таня. Торопятся по своим мышинным делишкам, пока кот не вернулся.

Про солдат, которых везли мимо в открытом грузовике, подумала: крысы в ящике.

Машина остановилась рядом — регулировщик пропускал колонну с улицы Штурмовых Отрядов. Свесился парнишка в сером кепи. Молоденький, румяный.

— На передовую едем, сестренка. Перевяжешь, если ранят?

Это он увидел у нее на рукаве белый лоскут с красным крестом.

— Крыса тебе сестренка, — буркнула Таня, зная, что он из-за шума мотора не услышит.

— А? — Перегнулся ниже. — Пожелай мне удачи.

Грузовик уже трогался с места, поэтому Таня повысила голос:

— Чтоб тебе осколком яйца оторвало!

И засмеялась — такое у него сделалось выражение лица.

Дом престарелых находился в Хёфхене, на Гинденбург-плац. Старое, приземистое здание, принадлежавшее «Бетаниену», благотворительному евангелическому обществу, где тетя Беате состояла «фице-оберин», помощницей главной диаконисы. Подчиненные называли тетю «фрау фице».

Основную часть подопечных еще в начале осады вернули родственникам. Оставили только одиноких или совсем беспомощных — было приказано освободить места для раненых. И скоро они стали поступать со всего города. Сюда привозили стариков, кто не выжил бы в обычных госпиталях, где у персонала нет навыков ухода за возрастными пациентами.

К старичью из богадельни у Тани ненависти не было, хотя они, конечно, тоже не без вины. Поди, голосовали

за своего Гитлера. И воспитали ублюдков-сыновей, которые убивают и гадят по всей Европе. Но все-таки за контингентом Таня ухаживала без отвращения. Когда начались бомбежки в светлое время суток, уговорила тетю сшить из старых простыней огромное полотнище, намалевать на нем красный крест и растянуть на крыше. Все говорили, что русских варваров это не остановит. Но около дома престарелых за полтора месяца не упала ни одна бомба. Сами вы варвары.

Сегодня здесь происходило что-то непонятное. У входа несколько фургонов. На крыльце торчит какой-то «черный», со свастики на рукаве. Рядом с ним тетя, что-то говорит, размахивает руками, в углу рта всегдашняя сигарета. Вообще-то евангелическим диаконам курить не полагалось, но у тети специальное разрешение герра форштеера. Она не могла без табака. Курение было единственным ее грехом, за который *тантхен* каждый день вымаливала прощение у Господа.

Подойдя ближе, Таня услышала, как эсэсовец терпеливо говорит, кажется, не в первый раз:

— Это приказ самого гауляйтера. Всех, у кого есть хоть какие-то родственники, — по домам. Для транспортировки выделены повозки. Поторапливайтесь.

— Распорядилась уже, не подгоняйте! — сердито отвечала ему тетя. — Это старые, нездоровые люди! Они быстро не могут.

Диакониса (из беженок, новенькая, Матильда, что ли) вела под руки хромую старуху из пятнадцатой. Стали выводить и других.

Заметив племянницу, фице-оберин сказала:

— Выспалась? Подключайся, уйма работы. Видишь, дом закрывают. Линия фронта приблизилась. Здесь всё заминируют. А нас переводят на Штригауэр-плац. Вудём работать обычными медсестрами.

Таня при черном уроде ни слова не проронила, только сверкнула глазами. Помогла вынести на носилках несколько пациентов, потом снова встала около тети — дожидаться, когда провалит эсэсовец.

— Всё, — сказала тантхен «черному». — Остались только одинокие. Что делать с ними?

— Не беспокойтесь, — ответил тот. — Всё предусмотрено. У меня инструкция.

Повернулся, махнул рукой. Солдат, тоже «черный», вылез из легковой машины — почему-то с термосом. Вдвоем они скрылись в доме.

Тогда Таня заявила:

— На Штригауэр-плац не поеду.

Там шестиярусный подземный госпиталь, на тысячу коек. В основном военный. Возвращать в строй доблестных защитников «крепости Бреслау»? Шиш!

— Тогда попадешь в трудовой взвод. Лопата, кирка — и вперед. Будешь копать окопы, строить баррикады, — отрезала тетя. — Ты приказ гауляйтера Ханке об обязательной трудовой повинности читала? За уклонение — расстрел. У кого не будет рабочей карты с ежедневными отметками — то же самое. Выбирай.

Она с Таней почти всегда разговаривала сухо, даже грубо. Не по злобе, а от чувства вины. Потому что настоящая христианка должна всех любить одинаково, а любить или жалеть своих родных больше, чем чужих, — грех. Но относиться к племяннице как к другим тетя не могла. Таня иногда ловила на себе ее сострадательный взгляд, и в этот момент обе сердито отворачивались.

Иногда тетя пускалась в утешения. Идиотские. Бог-де самые трудные испытания насылает на тех, кого больше всех любит. «Значит, Богу можно любить людей неодинаково? Только христианам нельзя? — едко отвечала на это Таня. — А можно, чтобы Он уже оставил меня в покое со своей любовью? Чего-то мне ее многовато досталось». «Умничаешь», — вздыхала тетя. Она в ум не верила, только в Бога.

Беате приходилась отцу сводной сестрой. Она была наполовину немка, всю свою стародевическую жизнь прожила в Бреслау. Во всем этом поганом городе — нет, во всем этом поганом мире — Таня только ее и любила. Хотя тетя, конечно, была коза и дура.

— Ладно. Я буду ухаживать за военными. Только предупреждаю: уровень смертности в моей палате повысится.

— Бога ты не боишься! — ахнула тетя.

— Бога нет. А если есть, то Он сволочь.

Испуганно перекрестившись, фиде-оберин прошептала:

— Господи, умири эту озлобленную душу... Хорошо. Я устрою тебя в отделение для гражданских.

Тут к ней подошла сестра Урсула, стала спрашивать, садиться ли уже по машинам. А Таня пошла прощаться с одним человеком, который оставался. Потому что не мог подняться с кровати и никого у него не было.

Если тетю Беате она любила, но никаких вразумительных разговоров с нею вести не могла, то со стариком фон Беннигсеном иногда получалось поболтать об интересном. Он был не такой, как все они. И не только потому что настоящий граф. Что с ним теперь будет? Куда его? И прочих, кто остается?

Проходя мимо первой же палаты для неходячих, Таня получила ответ на этот вопрос. Здесь не забрали двоих, контуженого деда из Цимпеля и инсультного герра Люстига. Оба лежали, разинув рты, пялились в потолок. У герра Люстига с дряблой губы свисала нитка слюны. Перед каждым — стакан недопитого чая. Тут-то Таня и сообразила, какая у эсэсовцев инструкция и что у них в термосе.

Вскрикнула, побежала. Еле-еле успела.

Двое «черных» были уже у графа, он занимал шестую палату — маленькую, но зато отдельную. Месяц назад его привезли. Вынули из-под обломков особняка. Графиня и двое слуг погибли, а Беннигсен выжил. Только ноги отнялись. У него в палате были уцелевшие после взрыва вещи: полка с книгами, старинная лампа, две картины на стенах, бюст Гёте. Будто кусочек девятнадцатого века.

— Не пейте! — крикнула Таня из коридора, увидев, что старику уже налили чаю. — Там яд!

«Черные» обернулись. Главный скорчил страшную рожу, но Таня на него не смотрела.

Беннигсен был такой же, как всегда: чисто выбритый, расчесанный, с аккуратной щеточкой седых усов. Сидел в кресле-каталке, обложенный подушками, из рукавов бархатной куртки ровно на сантиметр высовались белоснежные манжеты.

— Фройляйн Хильдегард, как я рад вас видеть! — сказал он с улыбкой. И офицеру: — Не беспокойтесь, молодой человек. Я выпью ваш чай. Идите. Мне хотелось бы поговорить с барышней.

Тот щелкнул каблуками.

— При всем уважении, господин граф, у меня приказ — проследить лично. Я подожду здесь.

Тут тишайший дедушка как рявкнет:

— Катись отсюда к свиньям, dummes Archloch!

Никогда Таня от него не слышала подобных выражений и такого зычного, генеральского баса.

«Черные» пуль вылетели в коридор, а господин Беннигсен обычным своим голосом сказал:

— Извините, но с каждой особой следует разговаривать на понятном ей языке.

Он был особенный, граф фон Беннигсен. Потому она с ним и подружилась — если, конечно, это можно назвать дружбой.

— Не пейте эту дрянь. — Таня отобрала стакан, поставила на тумбочку. — Мало ли, что у вас никого нет. Я поговорю с тетей. Будете жить у нас.

Он улыбнулся ей своей самой сердечной улыбкой, хотя нормальному человеку она все равно показалась бы деревянной. Аристократ.

— Милая Хильдегард, помните наш самый первый разговор, про карету?

Это было три недели назад. Его только перевели сюда из посттравматической, и Таня пришла мерить температуру. Безразлично поздоровалась, сунула градусник. Старик и старик, только богатый и чопорный. Она уже знала, что он доплачивает санитарке, чтобы она его

брила-обихажива. Еще подумала: ишь ты, свежий какой, и не догадаешься, что восемьдесят восемь лет Поди, всю жизнь сладко ел, мягко спал.

Старика на медсестру не обратил внимания, будто ее и не было. С брезгливой миной смотрел в окно. Там в сквере происходили учения фольксштурма. Пожилые дядьки, отклячивая зады, ползали по грязному снегу.

— Комедия в четырех действиях, явление последнее, — пробормотал старик. И прибавил непонятное: — Karetamnekareta.

— Как, простите? — переспросила Таня. Вдруг это он к ней обратился?

Не поворачиваясь, граф ответил:

— Была такая русская комедия, старинная. «Горе от ума». Про одного шибко умного умника, который все носился со своим великим умом и в конце концов разрушил себе жизнь. В финале он требует, чтобы ему подали экипаж — уехать к чертовой матери и ничего этого больше не видеть. По-русски: «Kareta мне kareta».

— «Карету мне, карету!» — автоматически поправила Таня, не веря собственным ушам.

Он живо повернулся. Глаза бледно-голубые, выцветшие, но взгляд острый.

Воскликнул:

— Правильно! «Карету мне, карету!» Мои предки когда-то жили в России. В детстве я неплохо знал русский, но потом подзабыл. Но... откуда вы, сестра, знаете Грибоедова?

— Знаю, и всё, — буркнула она, очень на себя разозлившись. Никто в госпитале (кроме тети, конечно) понятия не имел о ее происхождении.

И, чтобы отвлечь его, перешла в наступление:

— При чем тут горе от ума? Кто это у вас шибко умный умник?

Он пожал плечами:

— Европейская цивилизация. Германия. Наконец, я сам. Всё это горе, — неопределенно повел рукой, — от нашего ума. В прошлом веке все гордились человеческим

разумом. И я гордился. Все верили, что для ума нет преград. Мы скоро откроем все законы науки и общества, построим земной рай. И я в это верил. Что, конечно, на свете есть мерзавцы, но их можно переиграть. Есть алчные хапуги, но они понимают свою выгоду, а значит, с ними можно договориться. Ведь когда все люди счастливы и довольны, это же всем выгодно? Да, большинство жителей Земли — дураки, но кто считается дураками? Эх, видели бы вы меня тридцать или сорок лет назад, милая барышня. Я знал про жизнь, про мир и про людей абсолютно всё. Вы прямо заслаушались бы моими блестящими речами в Рейхстаге.

Граф скривил сухие губы в горькой усмешке.

— Вы были депутатом Рейхстага?

— Я много чем был. Пока в четырнадцатом году торжество разума не обгадилось. Оказалось, что миром правит нечто иное — то, чего я не понимаю и не принимаю.

Таня послушала бы еще, но обход палат только начался. Она взяла градусник, записать температуру, и старик сказал:

— Вы заняты. А у меня неудержимый приступ болтливости. Должно быть, следствие контузии. Вы хорошо слушаете. Ступайте, но приходите еще.

И она, конечно, стала приходить, часто. Обитатель палаты номер шесть (ха!) казался ей единственным нормальным во всем огромном дурдоме под названием Третий Рейх.

В 1914 году, когда вся Германия и вся Европа ликовали по поводу начинающейся чумы, господин фон Беннигсен в отвращении сложил свои депутатские полномочия и переехал в нейтральную Голландию. Там он и прожил больше четверти века, наблюдая происходящее вокруг — всемирную бойню, гражданские войны, экономический крах, триумф национал-социалистов — даже не с ужасом, а с отвращением и безнадежностью. Потом Гитлер захватил Голландию, и графу пришлось уехать. Потому что быть немцем в стране, оккупированной

немцами, невыносимо — даже если лично ты ни в чем не виноват. Лучшее уж вернуться, все равно спрятаться в Европе стало некуда. Да и сколько нам осталось, решили они с женой. У графини в Бреслау был доставшийся по наследству дом с садом. Там они и обитали, почти никогда не выходя за ограду — два старика, прожившие вместе больше шестидесяти лет. «Очень счастливо, как и в романах не бывает, — говорил Беннигсен. — Нам настолько хватало друг друга, что даже дети не понадобились. И слава богу. Что бы с ними сейчас было?» А в феврале на дом упала бомба...

Рассказывая девчонке-диаконисе про свою жизнь, граф разговаривал сам с собой, Таня отлично это понимала и всегда помакивала. Слушать нормального человека было для нее отдыхом.

— Я приведу санитаров, и вас вынесут отсюда, — сказала Таня. — А этим сейчас скажу, что у вас есть родственники, готовые вас принять.

Граф мягко взял ее за руку, удержал.

— Погодите, я хочу поделиться с вами своим открытием. Понимаете, я все время спрашивал себя: «Зачем ты не погиб вместе с Луизой? Это было бы так естественно, так нестрашно, так красиво! Но ты остался. Один, беспомощный, никчемный. Ты всегда во всем ищешь смысла, умник. Найди его и здесь». И сегодня я наконец понял. Это кара. Потому что я тоже виноват. Нет, не тоже. Я виноват больше остальных. Больше Гитлера. Что взять с бешеной собаки? А я умный, ответственный, родился с золотой ложкой во рту, все пути мне были открыты, судьба сдала мне самые лучшие свои карты. И что же? Я позволил мерзавцам, хапугам и дуракам победить себя. Отобрать у меня Германию, Европу, цивилизацию, мир! И каждый раз, после каждого поражения, я только восклицал: «Karetu мне, karetul!» Красиво заворачивался в плащ и укатывал в какое-нибудь комфортное место. Пока небо не свалилось мне на голову и не убило всё, что я любил... Нет, всё честно. Всё справедливо. Так мне и надо. Так нам, немцам, и надо...

Вот она, моя карета. — Веннигсен похлопал по ручке инвалидного кресла. — На ней я и уеду. Давно пора.

Таня цапнула с тумбочки отравленный чай — на всякий случай.

— Успеете на тот свет. Может, поживете подольше — еще что-нибудь важное поймете.

— Вы милая, — улыбнулся граф. — Дайте попить.

— Не дам!

Он поморщился:

— Господь с вами! Я не собираюсь травиться этим эсэсовским пойлом. Вон там, у изголовья кровати, мой травяной настой. — И показал движением костлявого подбородка — пальцем тыкают только плебеи.

Зеленоватый напиток он выпил медленно, с наслаждением, до последней капли.

— Как хорошо... Благодарю вас, милая девочка.

— Никакая я не милая, — хмыкнула Таня. — Тетя говорит, что я злее цепного пса.

Опуская морщинистые веки, граф пробормотал:

— Вы даже не представляете себе, до чего вы милая. Вы так скрасили последний месяц моей бесконечно длинной жизни. Какое счастье выпадет тому, кого вы полюбите...

Он клевал носом, голова опускалась все ниже. Со старыми стариками такое бывает — враз обессилят и засыпают.

— Э, вы не спите! — Таня потрясла его за плечо. — Знаете что, я лучше докачу вас до лестницы и покричу оттуда санитарам. Не доверяю я эсэсманам. Вольют в вас яд насильно.

— А я уже выпил... — пролепетал граф. — Только не их гадость, а собственное зелье... Оно у меня давно приготовлено... — Язык у него заплетался. — Karetu мне, kare...tu.

И обмяк.

Таня шмыгнула носом, но не заплакала. О чем тут было плакать? Старик поступил правильно. Ему так лучше.

Ей, правда, стало хуже. Мир, и без того маленький, сжался еще плотней. Но ведь месяц назад в нем не было никакого графа, так что ситуация всего лишь восстановилась.

И вообще, давно уже усвоено: ни к кому нельзя привязываться, это *привязывает*. Согласился бы старик переехать к ним с тетей — и что? Связал бы по рукам и ногам.

Она погладила мертвеца по седым волосам и вышла.

Долго провозились с погрузкой медицинского оборудования, постельного белья и всякой хозяйственной требухи. Не успели. В четыре, как по часам, заняло небо, земля отозвалась ревом. Сирен не было. Их заводили, только если русские появлялись в неурочное время.

— Поехали, Бог милостив, — решила фице-оберин, глядя из-под руки вверх. — Хочется уже закончить. Последняя ездка. Мы с сестрой Ледер сядем в первую машину, а вы с сестрой Таубе во вторую. Отстанете — ничего страшного. Увидимся на Штригауэр-плац.

Под грохот разрывов, стрекотню зениток, вой пикирующих самолетов погнали по улице Штурмовиков в сторону центра. Бомб Таня совсем не боялась. Она знала: свои ей плохого не сделают. Просто смотрела, как подпрыгивает на выбоинах передняя трехтонка. Она ехала метрах в ста.

Вдруг «геншель» исчез. Вместо него на дороге вырос черно-серый конус дыма, и больше Таня ничего не разглядела — ее швырнуло на ветровое стекло. Приложилась лбом, ударилась плечами. Это шофер со всей силы ударил по тормозам.

Звуков сначала слышно не было, вообще никаких. Заложило уши. Потом Таня распрямилась, помотала головой, похлопала глазами. Впереди всё заволокло дымом. Сквозь него прорывались языки пламени.

Прямое попадание...

На асфальт совершенно бесшумно упал оторванный кусок автомобильного крыла — и сразу после этого вернулся слух.

Слева бешено ругался шофер. Справа икала сестра Таубе.

— Господи И-ик-исусе... Господи И-ик-исусе...

Таня пихнула ее локтем.

— Заткнись, а?

Дура разревелась. Пришлось как следует потрясти ее за плечи.

— Что нам делать, сестра Фукс? — Овечьи глаза с расширенными зрачками были совершенно бессмысленны. — Ехать или возвращаться? Хильда, что делать?

Теперь никто, ни одна душа на всем свете не знает, что я никакая не Хильдегард Фукс, — вот о чем подумалось Тане. И еще: теперь в этом городе живых людей вообще не осталось. Жалеть тут теперь некого. И осторожничать незачем.

Глаза у Тани были сухие.

Той же ночью она взялась за дело. Шла, задрав голову, любовалась иллюминацией. Волшебные шпаги прожекторов протыкали черноту, жемчужными ожерельями рассыпались сверкающие точки зенитного огня, там и сям земля озарялась вспышками разрывов. Красота!

Любоваться любовалась, но и смотреть по сторонам не забывала. Ночного пропуска у нее не было, а чем ближе к Либихским высотам, тем чаще патрули. Попадешься — посадят в кутузку до утра.

Вон она, башня Либихтурм, торчит над темными верхушками голых деревьев. Там, в парке, в подземных казематах, штаб коменданта крепости генерала Нихофа. Две недели как переехал. А русские не знают, по-прежнему каждую ночь громят Гарбиштрассе, где паучье логово находилось раньше. Сюда же ни одна бомба не залетает. Сверху посмотришь — обыкновенный парк, черный квадрат.

Таня собиралась эту идиллию нарушить. Несколько дней про это размышляла и уже придумала как. Но при тете сделать это было трудно. Да и жалко ее, если попадешься. Не пощадили бы, даром что божья овечка.

Теперь — другое дело. Никем кроме самой себя Таня не рисковала.

Она знала: тут надо опасаться не патрулей, а скрытых дозоров. Парк только с виду пустой, но там всюду по периметру часовые. Где — поди знай.

Ломать над этим голову Таня не стала. Сейчас сами вылезут.

У нее с собой был мятый жестяной рупор — пару дней назад подобрала в развалинах специально для этой цели.

Не скрываясь, прямо по тротуару пошла вдоль ограды, стала вопить в трубу: «Ади! Ади!»

Минуты не прошло — вынырнули откуда-то двое в касках, с автоматами. Светят в лицо.

— Стой!

— Собаку я ищу, — сердито сказала им Таня. — Не видали? Помесь сеттера и болонки. — Да как заорет: — Ади, грязная свинья, где ты?! Адольф, зараза, чтоб ты сдох!

Последнюю фразу она прокричала с особенным удовольствием. Наверно, под землей, у герра генерал-лейтенанта было слышно.

Ей велели заткнуться и не шуметь, даже пропуск не спросили. Во-первых, это были не патрульные, а часовые. Во-вторых, что с нее такой возьмешь — черный крестик на груди, красный крест на рукаве?

На приказ катиться отсюда подобру-поздорову Таня маленько поогрызалась, но уйти ушла.

Уловка отлично сработала. Теперь ясно, где с этой стороны дозор. Можно спрятаться вон там, за углом, и они ни черта не увидят.

Пристроилась она буквально в ста метрах от ограды. Как было задумано, просунула фонарик в рупор, чтобы свет было видно только с неба. И как только приблизился шум моторов, стала мигать: раз-два-три, раз-два-три. Сюда лупите! Тут никакой не парк, тут самый главный штаб!

Сверху этот электрический тик должно быть отлично видно. И опять нисколючко Таня не боялась, что русская

бомба свалится прямо на голову. Даже если угрожают вместе с фашистским штабом, не жалко.

Какой же восторг, какое счастье после стольких лет бессилия сделать хоть что-то полезное, навредить гадам!

Пушкин спрашивает:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Может быть, как раз для этого. Чтоб вредить гадам.

ВСЕХ ЖАЛКО



В Опшпельне выгрузились. Рэм стоял со своими, разглядывал вокзал.

Хотя город в конце января был взят с боя, здание уцелело. Пузатое, грубообразное, с пирамидальной крышей и краснокирпичными башенками, оно казалось Рэму олицетворением Германии. Такою он ее себе и представлял. Чужой, массивной, мрачной.

На перрон спрыгнул Уткин. Закинул на плечо вещмешок, пристроил поудобнее свои шины.

— Вы чего тут кучкуетесь?

Рэм объяснил: Петька Кличук, у кого список направленных на Второй Украинский, пошел к начальнику станции выяснять, куда им теперь.

— А, ну давай пять. — Жорка сунул руку. — Счастливо тебе, Ким, повоювать.

— Я Рэм.

— Извиняй, перепутал. Короче, как у нас говорят: чтоб тебе бабы давали и крик не оторвали. Фрица дождем и домой. Ты откуда сам-то? — рассеянно спросила старлей уже на ходу.

— Из Москвы.

Остановился, обернулся.

— Иди ты! — И заинтересованно: — А откуда? Я тоже московский.

— Из Хамовников. С Пуговишниковова переулка.

Жорка присвистнул.

— Кря твою мать! Соседи! Я с Усачевки! Электросветские бараки знаешь?

— Серьезно? — обрадовался и Рэм. — Конечно знаю! Это от нас допакунуть.

В бараках завода «Электросвет», по ту сторону Манделштамовского парка, жили так называемые «заводские», шпана шпаной: брюки в сапоги, кепарики на глаза. Туда лучше было не заходить — навалиют.

Но сейчас, на войне, встретить человека с Усачевки — это было настоящее чудо.

Не мог поверить и Уткин.

— Эх, крик, вот о чем надо было тереть, пока ехали! Слушай, Рэмка, чего тебе тут на платформе вялиться? Сейчас вас, зеленку, погонят в кадровое управление, там в два счета распишут по частям. И ту-ту, пишете письма. Айда со мной. У тебя командировочное на руках?

Рэм кивнул.

— Ну и всё. Ты офицер, сам себе начальник. Отметим знакомство, погугарим про Москву, а завтра явишься за назначением.

— Даже не знаю...

Рэм заколебался. Ребята вообще-то тоже собирались не сразу в штаб, а сначала где-нибудь «погулять», проститься. Но с Уткиным, конечно, будет интереснее.

— Чего «не знаю»? Даешь рейд по тылам! Эй, парни! Сделайте Рэмке ручкой. Я его забираю! — гаркнул Жорка.

Было немножко обидно, что товарищи, с которыми восемь месяцев хлебал гороховый суп и орал «Катюшу», попрощались как-то между делом, даже не обнял никто. Хотя в принципе понятно: все возбуждены, все на нерве.

Ну и ладно. По правде сказать, Рэм в училище близкими друзьями не обзавелся. Были неплохие ребята, но нормально поговорить было не с кем.

Уткин поставил его под фонарем.

— Жди тут. За вещами приглядывай, особенно за шинами.

— А ты куда?

— Языка буду брать.

— Какого языка?

— Кто знает, где тут наливают. — Огляделся. — Нужен объект, чтоб, первое, без вещей, то есть местный. Второе — чтоб фронтовик, а не тыловой крик, к ним доверия нету. А третье — кто в теме. Тут психология нужна. Без нее нашему брату разведчику хана.

Жора вертел головой, приглядываясь к вокзальной публице, сплошь состоявшей из военных, ни одного гражданского.

— Вон идет, без вещмешка, с орденами, — показал Рэм.

— Не, — махнул Уткин, едва глянув. — Тыловой. Ордена по благу получил. Фронтвики с пузечком не бывают.

— А майор? С усами который?

— Рожа протокольная. Замполит или особист. Он тебе так налет — обьикаешься. Ага! Вот кадр правильный. Стой тут, земля.

Жора быстро подошел к саперному лейтенанту в дра- ной ушанке и прожженном ватнике. Что-то сказал. Тот остановился. Закурили и долго, минут десять, разговари- вали, время от времени заливаясь смехом. Потом Уткин хлопнул сапера по плечу и пошел. Тот крикнул вслед: «Два раза, запомнил? С первого не откроют!»

— Нормально всё, — сказал Уткин. — Разведка доло- жила точно. Есть хорошее местечко. Немчура из города вся сдрызнула, но поляки остались. А где поляки, там и «коварная» — так по-ихнему кафе называется, и пьют там не кофе. Адресок есть. Самое главное — хозяин не только рубли, но и золотые берет. У меня их крякова туча. Нарубил в очко.

— А в кафе нам разве можно? — удивился Рэм. — Частный сектор же. И вообще — какие кафе рядом с штабом фронта?

— У нас в школе в актовом зале картина висела. Фи- лософская. «Всюду жизнь» называлась.

— Знаю. И чего?

— А того. Запомни, щегол: где есть живые люди, там обязательно где-нибудь наливают. Особенно у поляков. Адрес: Бисмаркштрассе 10. Это, стало быть, от вокзаль- ной площади прямо, третий поворот направо, потом налево, и за разбомбленной аптекой во двор. Там ход в подвал. Стучать три раза. Никто не отзовется. Досчи- тать до двадцати и еще раз. Тогда откроют. Запомнил?

На всякий случай Рэм повторил.

Сдали шины в комендантскую камеру хранения, пошли.

Город был немаленький, солидный. С прямыми улицами, большими красивыми домами, с деревьями

на тротуарах. Но сразу за сохранившимся вокзалом начались развалины. Груды щебня, обгорелые стены, вывороченная танковыми гусеницами брусчатка. Потом совсем целый кусок — прямо кино из заграничной жизни. Витрины повыбиты, но вывески целы. Рэм шевелил губами, с трудом разбирая готический шрифт. А Уткин обращал внимание на другое.

— Это из танкового орудия крикнули, — говорил он. — Прямо в окошко второго этажа. Ювелирно... А тут «зис-3», семидесятишестимиллиметровочка поработала. Пулеметное гнездо в подвале было, не иначе.

Но беседе про Москву эти наблюдения не мешали. Разговаривать про родной район обоим было приятно.

— Кряк твою, первый раз за всю войну кого-то из Хамовников повстречал! — всё поражался Жора. — Главное, не спроси я, откуда ты, так и разошлись бы.

— Да, вероятность крошечная. — Рэм сразу стал высчитывать: — Население Москвы — два процента населения СССР. Наш Фрунзенский район — это где-то пять процентов москвичей. Хамовники — одна пятая фрунзенцев... Две сотых процента. Один шанс из пяти тысяч.

— Математик, — оскалился Жора. — Сороковая школа, чистюли. Эх, гоняли мы вас, заманденьшей!

— А мы ваших называли «замандюками», — засмеялся Рэм и подумал: попадись он перед войной этому вот Жорке — огреб бы по шее просто за то, что живет не с той стороны от парка Мандельштама. Тем более Рэм тогда был сопляк и хлюпик, ходил в тубетейке и сандалиях, под мышкой всегда книга. Как такому, да не навешать?

— Гляди чего тут было: «Kreisleitung der NDSAP», — прочитал он большую вывеску, валявшуюся среди развалин. — Райком фашистской партии! И свастика.

— Ты чего, и немецкий знаешь? — Уткин шутливо погрозил кулаком. — Все-таки надо тебе, заманденьш, крякало начистить.

Рэм встал в стойку:

— Попробуй. У меня разряд по боксу.

Жора поднял руки: сдаюсь.

— Так вот же она, Бисмаркштрассе! — показал Рэм на табличку. — Это номер шесть, развалины — аптека, а следующий уже наш.

За болтовней и не заметили, как дошли.

Всё так и было. После первого стука ничего не произошло, но после второго лязгнув засов, высунулась мятая, небритая физиономия, Уткин нетерпеливо буркнул «давай-давай!», и дверь открылась.

Рэм, конечно, не ждал от подпольного заведения ничего особенного, но все-таки рассчитывал на нечто европейское. Кафе же. А увидел просто темный, сырой подвал с ящиками вместо столиков и разномастными табуретками. По углам горели керосиновые лампы. По сравнению с этим шалманом пивнушка «Централ» во Владимире, куда Рэм ходил с ребятами за компанию, была прямо коктейль-холл.

Сидели тут только военные. В этом городе Рэм штатских пока вообще не видел, только небритого дядьку, который открыл дверь, а потом, не спрашивая, вынес графин, тарелку с солеными огурцами, полкруга колбасы и хлеб. Ничего другого тут, видно, не подавали.

— Культурно, — сказал Жора, осматриваясь. — Ножи-виаки, встояка никто не пьет. И главное, второй выход имеется. Вишь, за стойкой дверь, сквозняком оттуда тянет. В случае чего есть куда отступать. — Понюхал мутную жидкость. — И первачок нормальный. Разливай, чего ты?

— Я же не пью.

— Я тоже мало. — Уткин налил себе четверть стакана. — У меня доза: три раза по полста, и стоп. Больше нельзя. Дурить начинаю. И тогда хана. Если психанул — крик знает чего натворить могу. Я говорил, что два раза звездочки терял? Это по пьяни. Короче, уговор. Если я потянулся за четвертой, скажи: «Лычково-Винница». В Лычково я затрибуналил в сорок третьем, а в сорок четвертом в Виннице. Давай. Ну каплю-то выпей. За победу.

Старлей жадно опрокинул стакан, захрустел огурцом. Рэм тоже выпил, хотя Уткин налил ему не каплю,

а почти столько же, сколько себе. Первач оказался не такой уж противный. Обжег горло, но это было, пожалуй, даже приятно.

Алкоголя Рэм не пил принципиально. В восьмом классе пришел домой пьяный, напившись с одноклассниками портвейна, и постыдно блевал в уборной. Отец дал ему понюхать нашатыря и взял честное слово никогда больше не разрушать кору головного мозга воздействием этилового спирта. К честному слову Рэм всегда относился серьезно. Дал — держи. А сейчас вдруг подумал: если война — хирургическая операция, то как же без анестезии. Отец сам анестезиолог, ему ли не знать. Ну и вообще, не выпить с фронтовым товарищем — интеллигентское пижонство.

Поэтому, когда Жора снова налил, уже поровну, даже не спорил. Тем более второй тост был такой, что невозможно не выпить.

— За то, чтоб, когда к своим вернусь, все ребята были живы. До дна! Миха — это мой зам — их наверно разболтал. Они у меня и так бандюки криканные. Дивизионная разведка. — Уткин засмеялся, жуя колбасу. — Очень обожают к фрицам в тыл ходить. Пустые не возвращаются, всегда с трофеями. Часы, консервы, шнапс таранят. Один раз приперли не поймешь чего, из штабной землянки. Стручки такие здоровенные, в толстой шкуре. Замполит сказал, бананы. В Африке растут. Главное, бананы они приперли, а языка, крик их мать, не довели. Ты бананы ел когда?

— Только на картинке видал.

— Крикня. Вроде картошки мягкой. Давай теперь за Хамовники. Чтоб нам с тобой туда вернуться.

И за это тоже нельзя было не выпить.

— Третья, — предупредил Рэм.

Всё вокруг начинало слегка подплывать. Он засмотрелся, как под низким потолком грациозно покачивается сизый табачный дым.

— Опля, — сказал вдруг Жора. — Фуражку надел. Быстро!

И сам цапнул с ящика свою кубанку. Смотрел он в сторону двери.

Обернувшись, Рэм увидел, что она распяната. В проеме — силуэт командира, затянутого в португеи, и, кажется, с повязкой на рукаве. Сзади двое в ушанках, с автоматами.

— Оставаться на местах! — зычно крикнул вошедший. — Спокойно, товарищи. У кого документы в порядке, отдыхайте дальше.

— Комед... комендантские, — прошептал Уткин. Язык у него слегка заплетался. — А мы с тобой не отметились, не загре... зарегистрировались. Валить надо. Но сначала, чтоб добро не пропадало... — Он приложился к графи-ну, подергал кадыком. — Теперь слушай мою команду. По-пластунски. За мной!

Они сползли с табуретов на каменный пол, благо темно. Работая локтями и коленками, двинулись к стойке, за которой ушлый разведчик давеча углядел второй выход.

— На губе пускай фраера сидят, а нас не возьмешь, мы из Кронштадта, — довольно сказал старлей за дверь, помогая Рэму подняться. — Держись Уткина, заманденьш. С ним не пропадешь.

Коридорчиком они вышли к пропахшей мочой лестнице, поднялись по ступенькам, толкнули тяжелую дверь.

— И свобода нас примет радостно у входа! — продекламировал топавший сзади Рэм. Ему было хорошо, весело.

Он шагнул из мрака в ярко освещенный двор — и наткнулся на застывшего Жору.

— Документы, — раздался строгий голос.

Еще один офицер, капитан. Рядом двое солдат с ППШ наперевес. Все трое с красными повязками.

— Красиво работаете, комендатура, — зло сказал Уткин. — В клещи берете? А может, мы с корешем отпять вышли? На это тоже документ нужен?

— Предъяви, потом отливай. — Капитан протянул руку. — Ну!

— Баранки гну! Подождешь, пока разведка нужду справит. — Жора потянулся к ширинке, будто собрался расстегнуть пуговицы. — Рыло отвороти, комендатура. Или интересуешься на мой крик поглядеть?

Зачем он так, в панике подумал Рэм. Все равно ведь попались, а он еще хуже делает!

Лицо капитана налилось бешеной краской.

— Да вы, старший лейтенант, лыка не вяжете. Позорите звание офицера! Снять ремень, сдать оружие, руки за спину! Живо!

И положил руку на кобуру.

— Крысюга... — Жоре было трудно говорить, он рванул воротник. — У меня оружие — немца бить... а не по тылам форсить... Гнида мордатая...

Он схватил комендантского за отвороты шинели, рванул на себя, тряхнул. Со старлея слетела кубанка, с захрипевшего капитана фуражка.

Один солдат ткнул Уткина дулом автомата под ребра, второй замахнулся прикладом — двинуть по стриженному затылку. Рэм не задумываясь, рефлекторно, провел два жука, справа и слева. Без замахов, времени на которые сейчас не было. Тренер учил: главное — скорость и точность удара, сила — дело десятое. Левый патрульный, отоваренный в подбородок, крутанулся вокруг собственной оси и выронил автомат. Правый получил прямую плюху в нос и, должно быть, ослеп от боли — глаза закатились кверху. Уткин же хрустко вмазал капитану лбом в переносицу и отшвырнул бесчувственное тело.

— Полундра! — крикнул он. — Драпаем!

Подхватив упавший вещмешок, Рэм со всех ног дунул за приятелем из двора. Нападение на караул — это стопроцентный трибунал.

— Врешь, не возьмешь Чапаева! — радостно орал на бегу разведчик. Вернулся за кубанкой, пнул ногой солдата, нагнувшегося за автоматом. Кинулся догонять.

— Кряк вам в грызло, а не Жорку Уткина!

Они вылетели в переулок, почти сразу нырнули в гулкую подворотню, протопали через пару дворов и остановились только за поворотом.

— Это ты виноват... — Уткин тяжело дышал.

— Я?!

— Тебя просили, как человека. Больше трех не давать. Сказал бы «Лычково-Винница», и порядок. Видишь, психанул я... Да ты и сам нажрался. «Не пью».

Если Рэм и был пьян, то от встряски и ужаса совершенно протрезвел.

— Что нам теперь будет? — тоскливо спросил он. — Ни кой ты орад, что ты Жора Уткин?

Старлей беспечно махнул рукой.

— Крякня. Капитан постыдится начальству докладывать. Втроем не смогли двоих взять. Его за такое на передовую отправят. Скажи лучше, ты где так махаться научился?

— Я же говорил. У меня первый разряд по боксу.

От уткинской уверенности Рэму стало поспокойнее.

— Для лопухов комендантских годится, но в настоящей рукопашке на бокс шибко не надейся. Вот давай, бей меня.

Он положил на землю мешок. Встал, слегка согнув колени. Руки держал свободно, у бедер, ладонями вперед.

— Лупи со всей науки. Не бойсь.

— Ладно, — улыбнулся Рэм.

И грамотно, технично кинул левый прямой, рассчитав остановить кулак в сантиметре от Жоркиной челюсти.

Но противник нырнул ему под руку, всей массой тела сшиб наземь, и миг спустя Рэм засипел, схваченный стальной пятерней за горло.

— Вот так. Ты боксер, а я горлодер. — Сверху в упор смотрели Жоркины налитые кровью глаза. — Горло раздираю на раз. Я тебя научу. Давай, подымайся.

Встал сам, дернул на себя Рэма.

— Кроме шуток. На кой кряк тебе в кадры идти? Раз ты парень боевой, айда со мной. Разведчиком будешь. Не сразу конечно. У тебя немецкий, а нам по штатному переводчик положен. Созрешь — буду брать в поиск. Языка лучше на месте потрошить, пока горяченький. А то, может, он не знает ничего. Очень ты нам годишься.

— У меня же предписание. В распоряжение управления кадров Второго Украинского, — засомневался Рэм, хотя, конечно, ужасно захотелось в дивизионную разведку. Одно название чего стоит!

— А у нас что? 359-я Краснознаменная дивизия 74-го стрелкового корпуса 6-й армии Второго Украинского фронта. Короче так. Пойдем вдвоем. Я буду

Зачем он так, в панике подумал Рэм. Все равно ведь попались, а он еще хуже делает!

Лицо капитана налилось бешеной краской.

— Да вы, старший лейтенант, лыка не вяжете. Позорите звание офицера! Снять ремень, сдать оружие, руки за спину! Живо!

И положил руку на кобуру.

— Крысюга... — Жоре было трудно говорить, он рванул воротник. — У меня оружие — немца бить... а не по тылам форсить... Гнида мордатая...

Он схватил комендантского за отвороты шинели, рванул на себя, тряхнул. Со старлея слетела кубанка, с захрипевшего капитана фуражка.

Один солдат ткнул Уткина дулом автомата под ребра, второй замахнулся прикладом — двинуть по стриженному затылку. Рэм не задумываясь, рефлекторно, провел два хука, справа и слева. Без замахов, времени на которые сейчас не было. Тренер учил: главное — скорость и точность удара, сила — дело десятое. Левый патрульный, отоваренный в подбородок, крутанулся вокруг собственной оси и выронил автомат. Правый получил прямую плюху в нос и, должно быть, ослеп от боли — глаза закатились кверху. Уткин же хрустко вмазал капитану лбом в переносицу и отшвырнул бесчувственное тело.

— Полундра! — крикнул он. — Драпаем!

Подхватив упавший вещмешок, Рэм со всех ног дунул за приятелем из двора. Нападение на караул — это стопроцентный трибунал.

— Врешь, не возьмешь Чапаева! — радостно орал на бегу разведчик. Вернулся за кубанкой, пнул ногой солдата, нагнувшегося за автоматом. Кинулся догонять.

— Кряк вам в грызло, а не Жорку Уткина!

Они вылетели в переулок, почти сразу нырнули в гулкую подворотню, протопали через пару дворов и остановились только за поворотом.

— Это ты виноват... — Уткин тяжело дышал.

— Я?!

— Тебя просили, как человека. Больше трех не давать. Сказал бы «Лычково-Винница», и порядок. Видишь, психанул я... Да ты и сам нажрался. «Не пью».

Если Рэм и был пьян, то от встряски и ужаса совершенно протрезвет.

— Что нам теперь будет? — тоскливо спросил он. — На кой ты орад, что ты Жора Уткин?

Старлей беспечно махнул рукой.

— Крякня. Капитан постыдится начальству докладывать. Втроем не смогли двоих взять. Его за такое на передовую отправят. Скажи лучше, ты где так махаться научился?

— Я же говорил. У меня первый разряд по боксу.

От уткинской уверенности Рэму стало поспокойнее.

— Для лопухов комендантских годится, но в настоящей рукопашке на бокс шибко не надейся. Вот давай, бей меня.

Он положил на землю мешок. Встал, слегка согнув колени. Руки держал свободно, у бедер, ладонями вперед.

— Лупи со всей науки. Не бойсь.

— Ладно, — улыбнулся Рэм.

И грамотно, технично кинул левый прямой, рассчитав остановить кулак в сантиметре от Жоркиной челюсти.

Но противник нырнул ему под руку, всей массой тела сшиб наземь, и миг спустя Рэм засипел, схваченный стальной пятерней за горло.

— Вот так. Ты боксер, а я горлодер. — Сверху в упор смотрели Жоркины налитые кровью глаза. — Горло раздираю на раз. Я тебя научу. Давай, подымайся.

Встал сам, дернул на себя Рэма.

— Кроме шуток. На кой кряк тебе в кадры идти? Раз ты парень боевой, айда со мной. Разведчиком будешь. Не сразу конечно. У тебя немецкий, а нам по штатному переводчик положен. Созрешь — буду брать в поиск. Языка лучше на месте потрошить, пока горяченький. А то, может, он не знает ничего. Очень ты нам пригодишься.

— У меня же предписание. В распоряжение управления кадров Второго Украинского, — засомневался Рэм, хотя, конечно, ужасно захотелось в дивизионную разведку. Одно название чего стоит!

— А у нас что? 359-я Краснознаменная дивизия 74-го стрелкового корпуса 6-й армии Второго Украинского фронта. Короче так. Пойдем вдвоем. Я буду

— Ждите, — повторил офицер. — Туда без сопровождения не положено.

Заинтригованный, Рэм сел на стул подле стены. Про Бляхина он знал, что это сослуживец отца еще по Гражданской войне. Видел его только раз, лет десять назад, но хорошо запомнил. Дядя Филипп (так он тогда назвался) заходил к ним на Пуговишников, рассказывал интересное про Первую Конную. У отца ведь не допросишься — разве только медицинское что-нибудь. И потом папа несколько раз поминал Бляхина, добрым словом. Тот сильно в чем-то помог, чуть не спас, но в чем именно — не поймешь. Отец мягкий-мягкий, но, если не хочет сказать, клещами не вытянешь. Наверно, на войне что-нибудь было, не шибко приятное.

С отцом Рэм последний раз виделся в Москве, неделю назад. Весь выпуск по окончании училища на грузовиках перевезли из Владимира в столицу, на вокзал, дожидаться эшелона. Москвичей до вечера отпустили по домам. Но на Пуговишников Рэм не попал. Удачно совпало, что отец тоже как раз привез раненых. Он был главврач санитарного поезда.

Они и встретились в поезде, потому что отец распределял раненых по госпиталям. Во время разговора все время отлучался, и Рэм сидел с сестренкой, ждал. Она всегда состояла при папе, по особому разрешению начальства. Оставлять ее в Москве было не с кем, да и на кого такую оставишь?

Адя не видела брата с прошлого июня. Рэм думал — забыла, не узнает. Она ведь даже соседей не узнавала, кого видела каждый день, а тут целых девять месяцев, для нее целая вечность. Отец писал, что она никогда про старшего брата не спрашивает — это чтобы Рэм не расстроился, если при встрече она будет дичиться.

Но Адька сразу подошла и повела себя так, словно они пять минут как расстались. Стала показывать свои рисунки. Потом села и прижалась головой к плечу. Никогда в жизни так не делала. Рэм чуть не прослезился.

Адя ведь не такая, как другие дети. Что у нее за диагноз, никто толком определить не может, хотя отец показывал ее всем психиатрическим светилам Советского Союза.

Ей двенадцать лет, а выглядит как семилетняя. Чужих людей — это для нее все, кроме папы и брата — не распознает и, кажется, даже не очень отличает от неодушевленных предметов. Говорить умеет, но произнесет, может, одну фразу в неделю, и не всегда ясно, к чему. Слушает с таким видом, что не разберешь, понимает или нет. Однако любит, если ей что-нибудь рассказывают. Все равно про что. Поэтому, когда отец первый раз вышел, Рэм ей про Первый Украинский фронт объяснил. Во второй раз — про космические полеты к звездам. Показал, как стратонавт будет парить около ракеты в безвоздушном пространстве. Нормально поговорили.

А вот с папой беседовали так себе.

Они были и похожи, и непохожи, отец и сын Клобуковы. В последний год перед войной все время ссорились. Виноват, конечно, был Рэм. Переходный возраст. Отец вдруг стал его сильно раздражать. Что такой нескладный, рассеянный, не замечающий пятен на рубашке и крошек в углу рта. Не интересующийся тем, что интересно, зато много говорящий о том, что нормальному человеку пофигу. Ну и вообще — какой-то опустившийся и распустившийся.

Сам-то Рэм любил аккуратность, подтянутость, четкость, порядок. Он и бокс уважал, потому что такое сумбурное дело, как мордобой, здесь происходило по твердым правилам.

Привычка к самодисциплине здорово ему пригодилась, когда началась война и отец стал бывать дома редко, наездами с фронта.

Раздражение осталось в прошлом, вместе с другой чепухой довоенного времени, но тесные отношения, как в детстве, уже не восстановились. Папа приезжал замотанный, измученный, почти все время таскался по учреждениям, доставал для эшелона медикаменты, инструменты, чуть ли не простыни с наволочками. А Рэму нравилось изображать взрослую сдержанность — еще и для того, чтобы не нагружать отца своими проблемами. «Как ты, сынок, тут один?» «Нормально». Про то, что

поступил в военное училище, он отцу написал только из Владимира. В общем, давно уже вел себя как взрослый.

Потому так и обиделся, когда отец вдруг заговорил словно с ребенком. Начал с извинений, что за все время ни разу не смог навестить. У них в Прибалтике не прекращались тяжелые бои, было ужасно много раненых.

— А поговорить с тобой очень хотел, и тема, знаешь, не для переписки...

Только он это сказал, прибежала медсестра.

— Антон Маркович, что делать с Арамяном? Мучается ужасно, а морфин кончился. Ни ампулы не осталось.

Через открытую дверь купе донесся такой жуткий вопль, что Рэма замутило.

Отец сорвался, убежал. Минуты через две крик прекратился.

— Принудительно усыпил, пережав артерию, — хмуро сообщил отец, вернувшись. — Это плохо, вредно. А что делать? Я с дороги про морфин телеграмму дал, а всё не везут.

— Что с ним? — спросил Рэм, вытирая холодные капли со лба. Он в жизни не слышал подобных воплей. И не думал, что человек способен издавать такие звуки.

— Плохое ранение. В пах. Ты меня не отвлекай... — Отец потер висок. — Так вот, я должен с тобой поговорить об очень важном. Перед тем, как ты попадешь туда. На фронт. Я помню себя в двадцатом году. Что я там увидел, что испытал. И как это на меня подействовало. А ведь я был старше тебя, и к тому времени уже всякого навиделся, через многое прошел. Ты же совсем еще мальчик. Война — совсем не то, что ты себе воображаешь...

Здесь-то Рэм и начал злиться. Ах, он мальчик? С романтическим воображением?

А отец на него не смотрел, шурился через очки на потолок — была у него такая привычка, будто сам с собой разговаривает. Это тоже бесило.

— ...Ты вот сейчас побледнел, когда услышал крики раненого. А это самое лучшее, что есть на войне. Когда оказывают помощь человеку, который страдает. Всё остальное много хуже. И страшней. Даже не смерть

и раны, хотя это, конечно, кошмар, а... — Антон Маркович зашевелил пальцами, будто пытался ухватить правильные слова. — ...Растаптывание личности. Превращение человека в кусок мяса. Животный ужас, который ничему не учит, а только убивает всё, с таким трудом накопленное воспитанием, чтением книг, любовью... И еще грязь. Всегда, повсюду, во всех смыслах!

Тут он наконец посмотрел на сына. Глаза часто мигали. В них металась паника.

— А ты еще записался в пехотное училище! Все знающие люди говорят, что это самое страшное! Я не мог тебе про это написать. Письма читает цензура. И я никогда себе не прощу, что не был с тобой, когда ты принял это решение. Я бы уговорил тебя поступать в военно-медицинскую академию. У меня там есть знакомые. В конце концов, фамилия Клобуков в медицинском мире чего-то стоит. Я знаю, ты не хочешь быть врачом, но пока ты учишься, закончилась бы война, а там можно было бы перевестись. И я не сходил бы с ума от мысли, что.

Он не договорил. Рэм решил, что с него хватит. Главное, какой смысл в этих причитаниях? «Бы» да «кабы»

Ответил он нарочно резко, даже цинично. Знал, что отца это покоробит.

— Что ты со мной как с недоумком разговариваешь? Я не идиот. С четырнадцати лет своим умом живу. Думал я про академию. Но туда, знаешь, какой конкурс? Умных много. По-честному я бы не поступил, у меня с химией швах. А по бляту — это надо папу академика иметь. Ты ведь пока не академик?

Отец виновато заморгал. Это было приятно.

— Думал в военно-инженерное. Там сдают физику с математикой, я поступил бы. Ускоренный курс двенадцать месяцев, война бы точно закончилась. Но у них анкетная комиссия. Меня бы завернули, с такой матерью. А в пехотное берут всех. Даже таких, как я. На пушечное мясо мы годимся.

Своего Рэм добился. После этого отец перестал разговаривать с ним как с маленьким.

— Ты изменился, — пробормотал. — Говоришь как сорокалетний. Так тоже нельзя. Куда ты спешишь? Успеешь еще состариться.

— Вряд ли. Потому и спешу, — жестко сказал Рэм — и тут же пожалел. Отец съежился, словно его ударили.

Оба замолчали, потому что чувствительных слов произносить не умели. А потом отец сменил разговор. Имелась у него такая интеллигентская повадка — сворачивать от неприятных тем в сторону.

— Ты написал, тебя распределили на Первый Украинский? Есть небольшая просьба. У меня там в штабе служит старинный знакомый, некто Бляхин Филипп Панкратович.

— Помню, — кивнул Рэм.

— У него в Москве жена. Я ей позвонил сегодня, сказал, что ты туда едешь. Она очень просит захватить посылочку, небольшую. Такие оказии нечасто бывают.

И потом они говорили уже нормально, без надрыва. Про всякое малосущественное. Оба, конечно, думали про одно: не последний ли раз видятся, но об этом не было сказано ни слова. На прощанье отец сделал движение, словно хотел обнять, но лишь слегка развел руки и заморгал. Не было у них в семье такого завода. Рэма и в детстве обнимала только мама, папа никогда.

В горле встал ком. Рэм перестал смотреть на отца, чмокнул Адьку, которая всё это время сидела, сосредоточенно рисовала что-то. У нее был набор цветных карандашей, но она почему-то пользовалась только синим и коричневым.

— Под бомбежку не попадите, — сказал Рэм на прощанье. Подумал, что это прозвучало так себе. Мол, кроме бомбежки вам на вашем санитарном поезде ничего не угрожает. Не то что мне.

Буркнул:

— Ну, я напишу.

И пошел, закусив губу, чтоб не раскваситься. Даже забыл фотокарточку отдать, в офицерской форме при лейтенантских погонах, хотя специально для них снялся.

На перроне оглянулся. Отец стоял на лесенке вагона, махал рукой. Ади не было. Для нее существовало только то, что перед глазами. Да и то не навсегда.

Перед эшелоном Рэм заехал к Бляхиным, на улицу Кирова. Ева Аркадьевна, пухлая женщина с золотыми

кудряшками и золотыми зубами, вкусно накормила борщом и котлетами. Дала сверток, заполнивший половину вещмешка (правда, он у Рэма был тощий). Объяснила, что там носки собачьей шерсти, от подагры, фуфайка какой-то особенной вязки, тонкая, но очень теплая, и две пачки лечебного чая, потому что у Филиппа Панкратовича на нервной почве хронический гастрит.

С этой посылкой Рэм теперь и сидел на проходной.

Довольно скоро к окошку подошел ефрейтор. Дежурный сказал ему, кивнув на Рэма:

— Кузовков, проводи младшего лейтенанта на Шестой, до КПП. И живо назад, а то знаю я тебя.

— Обижаете, товарищ майор, — нисколько не обиженно, а по-домашнему ответил ефрейтор.

Он вообще был какой-то неармейский. Сильно пожилой, с почти совсем седыми усами. Шел вразвалочку, чуть припадая на ногу, встречным офицерам честь отдавал мягко, будто кот лапой. И с любопытством поглядывал на Рэма.

Когда они вышли во внутренний двор, спросил:

— На Шестой объект, значит? По вам не скажешь.

— А что там?

— Идете и не знаете? — удивился Кузовков. — Управление НКВД-НКГБ-ГУКР, трибунал и прочие режимные подразделения. Вы в которое?

Что такое ГУКР (ефрейтор так и произнес, а не «ГЭУ-КаэР»), Рэм сообразил, но не сразу. Главное управление контрразведки. Ишь ты!

— Сам не знаю, — сказал он. — Мне только посылку из дому передать.

— А кому, если не военная тайна? — не отставал любопытный Кузовков. — Я раньше на Шестом служил в хозяйственном взводе, пока в комендантскую роту не перевелся. Почти всех там знаю.

— Подполковнику Бляхину.

— А-а, ОПФЛ.

Этой аббревиатуры Рэм перевести уже не смог. Спросил.

— Отдел проверочно-фильтрационных лагерей. Наших пленных, кто у немца был, шерстят. Кого на фронт, кого в другую сторону.

Шел ефрейтор медленно, Рэм все время его опережал — хотелось побыстрее избавиться от посылки, а то еще застрянешь там, опоздаешь на встречу с Уткиным. Но Кузовкова с его хромой ногой было жалко.

— Хотите, чтоб я шел помедленней? — спросил Рэм, обернувшись.

На участливую интонацию дядька откликнулся вовсе по-неуставному:

— Я всегда хочу только одного, на другие хотелки не размениваюсь. Мне умный человек сказал, давно еще: всегда, говорит, хоти чего-то одного, самого главного, но очень сильно. Тогда сбудется. — Ефрейтор остановился отдышаться. — А помедленней неплохо бы. Колено от сырости ноет.

— Чего же вы сильно хотите?

Кузовков удивился:

— Того же, чего все. Кроме дураков и жиганов. Дожить до конца. Всё прочее важности не имеет.

Везет мне на философов, подумал Рэм. Вчера капитан, теперь ефрейтор.

— А жиганы это кто?

— Кому война — мать родна. Вся пакость от них... Сейчас, товарищ младший лейтенант. Минутку еще.

Он тяжело дышал, да еще, согнувшись, тер колено. Зачем таких стариков вообще призывают? Какой от них прок?

Чтоб не давить на бедолагу, Рэм стал крутить сигарку — вроде как и сам не прочь перекурить. Предложил провожатому — тот покачал головой, постучав себя пальцем по сердцу.

— А чего вы с Шестого объекта в комендантскую роту перевелись? — рассеянно спросил Рэм. — Тут лучше?

— Это как посмотреть, — охотно и обстоятельно принялся отвечать Кузовков. — В смысле главного хотения хуже. Потому что иногда определяют в сопровождение, когда начальство едет на передовую. Есть у нас в штабе любители чуть что на фронт таскаться, да еще в самое печево. На прошлой неделе товарищ начинж вдоль Одера взад-вперед катался, места для переправы искал. Ну и мы за ним, на «студебеккере»... Два раза чуть

не накрыло. Особенно когда фриц с минометов стал садить. Сзади, спереди, жуты! Всё, думаю. Либо убьет, либо покалечит. Когда я служил на Шестом, такого не бывало. Но там по-другому покалечиться можно, тоже не дай бог...

— Как это «по-другому»?

Ефрейтор внимательно посмотрел на Рэма, будто прикидывая, говорить или нет.

— Есть там один уполномоченный, фамилию не скажу. Когда ему надо результат дать для трибунала, берет наших, из хоззвода, в свидетели. Мол, по заданию органов с оперативными целями был помещен в камеру к подсудимому и тот при личной беседе сознался в том-то и том-то. Трибуналу больше ничего и не надо. М-да... Наши ходили, куда денешься. Хочешь служить в тихом месте — делай, что говорят. А это, считай, человека на смерть послал. И живи потом, вспоминай. Нет уж, лучше в комендантской. Там, если покалечит, то руку или ногу, а не душу.

Прямо Платон Каратаев, подумал Рэм, только с поправкой на эпоху. И обругал себя: черт, пора выбираться из литературы в настоящую жизнь.

— А... ничего, что вы мне это рассказываете?

— Я на свете давно живу. — Кузовков подмигнул. — Вижу, кому чего можно говорить, чего нельзя. Пойдемте, что ли? До ихнего КПП еще через два двора идти, а дежурный заругается, если я долго.

Филипп Панкратович оказался не таким, каким его запомнил Рэм. Во-первых, не высоким, а, пожалуй, ниже среднего роста. Во-вторых, не худым и подвижным, а неторопливым и довольно полным — Жорка сразу определила бы по животу, что тыловик. Лицо одутловатое, под глазами мешки. Лысина с зачесом. Очень немолодой, даже для подполковника. Пожалуй, старше папы.

— Ты, что ли, Клабуков-младший? — спросил отцовский знакомый. — Ева по телефону говорила.

С фронта домой по телефону звонит, подумал Рэм. Роскошно.

Блякин разглядывал его с немного странной, словно бы настороженной улыбкой.

— Не похож на батьку. И на мать не слишком.

Рэм обмер.

— Вы знали маму?!

— Не довелось. — Подполковник улыбаться перестал. — На фотографии видел. Не спрашивай где. Не имею права сказать.

Сердце так и заколотилось. Про мать у Рэма с отцом разговоры были какие-то куцые, на сплошных недомолвках. Только про хорошее или смешное. Такого запомнилось много, потому что мама сама была веселая. И никогда — про то, что с нею произошло. Один раз, перед самой войной, Рэм как-то набрался духу, пристал к отцу. Почему маму арестовали? Как получилось, что она умерла в тюрьме? Но у того задрожал подбородок, из глаз хлынули слезы, еще и за сердце схватился. Рэм жутко перепугался и никогда больше этого разговора не затевал. Но думать, конечно, думал. Часто.

Неужели Филипп Панкратович что-то знает, по своей чекистской линии?

Они молча шли через какой-то хозяйственный двор с гаражами. У стены там валялся бюст Гитлера, весь в дырках. Похоже, по нему стреляли из автомата.

— Нам вон туда, — показал подполковник на видневшуюся в дальнем конце пристройку. — Ведомство у меня невидное, выделили на задворках какую-то сарайку. Там и обретаюсь.

На Рэма он поглядывал, пожалуй, одобрительно.

— Да, совсем ты на Антожу не похож. Он как подушка, а в тебе чувствуется железный стержень. Советское воспитание. Рэм — это Революция-Электрификация-Механизация, так что ли? Помню тебя, как ты планер собирал. Чего ж не стал летчиком или конструктором?

— Война кончится — стану. Конструктором, — коротко сказал Рэм. Он очень хотел спросить про мать, но пока не решался. Может, попозже получится?

— Ты, как мой Фимка, двадцать шестого?

— Почти. Двадцать седьмого, январский.

— Всё одно ровесники.

«Сарайка» внутри была вполне ничего себе. С собственной проходной, за нею казенный коридор, двери кабинетов. На стене красный транспарант с необычной надписью: «За Родину сражаются достойнейшие сыны нашего социалистического отечества». А, это потому что тут фильтруют, кто достоин, а кого в лагерь, сообразил Рэм.

В кабинете у Блякина ничего особенного не было. Стол, сейф, два портрета — товарищ Сталин и товарищ Дзержинский.

— Вот, от Евы Аркадьевны... — Рэм достал посылку. — Она просила лично, из рук в руки, я только поэтому. Я пойду? Мне еще в кадровое за назначением, — соврал он, потому что Филиппу Панкратовичу про уткинские затеи знать было незачем.

— Куда торопишься? Сядь. — Блякин повелительно показал на стул. — С сыном познакомлю. Он в соседнем корпусе служит, в ОЧО.

Набрал короткий, из четырех цифр, номер.

— Фимка, давай ко мне. От мамки посылка... Ничего, скажи Лысенке — отец зовет. Давай-давай, живо.

И Рэму, с гордостью:

— ОЧО — это Оперативно-чекистское отделение по работе с пленными фрицами. У Фимки немецкий с детства. Он Коминтерновскую школу кончал. Толковый парень. Вы подружитесь.

Сел напротив, лукаво улыбнулся.

— Антон, поди, неспроста тебя к Еве послал. Интеллигент, а умный. Правильно сделал... Прикину, куда тебя пристроить.

Только сейчас, в эту минуту, Рэм, идиот, допер, почему отец повернул неприятный разговор именно на посылку. Вот что у него, оказывается, было на уме!

Даже со стула вскочил.

— Я не за тем к вам! Честное слово!

Филипп Панкратович засмеялся.

— Ты-то понятно, что не за тем. Тебе в восемнадцать лет мозги еще по штату не положены. А папка твой молодец, позаботился о сыне. — Он задумчиво почесал плешь. — Но тут покумекать надо... Я бы взял тебя к себе. Кадров не хватает, запарываемся.

В прошлом году основной контингент для пополнения был с оккупированных территорий, а сейчас пошли пленные из немецких лагерей. Знаешь, их сколько? Не имею права сказать, но очень много. Я, честно сказать, сам не подозревал. Прямо зашиваемся... Но нет, к себе не смогу. — Бляхин сокрушенно развел руками. — Анкетка у тебя подкачала...

— Я понимаю, — быстро сказал Рэм. — У меня мать была репрессирована. Я с этим сталкивался уже. Но я, товарищ подполковник, правда не собираюсь в тылу служить...

Бесшумно, без стука и скрипа открылась дверь. Вошел младший лейтенант, ростом пониже Рэма и поуже в плечах, лицом похожий на подполковника: тоже скуластый, нос картофелиной, глаза пуговицами.

— Гляди, Фим, чего мамка прислала, — стал показывать ему вещи Бляхин. — Носки и чай мне, фуфайка тебе. Чтоб не простужался. И познакомься. Это Рэм Клобуков, сын моего товарища по Первой Конной.

Парень крепко пожал руку, стал щупать шерсть. Рэму показалось странным, что Ева Аркадьевна говорила только о муже и всю посылку, ту же фуфайку, собрала только ему. Наверно, у них в семье так заведено: отец сам распределяет, кому что.

А Филипп Панкратович вернулся к прерванному разговору. Видно было, что этого человека с темы не собьешь.

— Насчет анкеты. Дело не в аресте. Твоя мать — Мирра Носик, кажется? — не была репрессирована. С чего ты взял? Это Антон тебе наплел? Ошибается он. Арестовали ее по ошибке. Был в органах один двурушник, вражина. Наделал делов. За что и ответил. Такое было время. Окопалась при Ежове в органах всякая сволочь. Я и сам тогда пострадал... — Вздохнул. — Но вычистила их партия. Больше ничего рассказать тебе не могу, но знай: твоя мать была советским человеком. Умерла во время следствия — это да. Горе. Но судом не осуждена, и дело было закрыто. За отсутствием.

У потрясенного Рэма в голове мелькнуло маловажное: выходит, зря не подавал в инженерное?

— Тут не в политике дело... Ты по документам какой национальностью записан? По отцу или по матери?

— По отцу. Русский.

— Это хорошо, но... Нет, к нам не получится, — сказал Филипп Панкратович, додумав какую-то непростую мысль. — Ладно. Порешаю вопрос. Есть и другие места.

— Не нужно ничего, очень прошу. — Рэм старался говорить как можно тверже. — Я уже договорился. Меня берут в дивизионную разведку. В Шестую армию, 74-й корпус.

Номер дивизии он забыл и испугался, что Бляхин спросит, но тот не спросил.

— Все-таки похож на папаню. — Подполковник качнул головой. — Тот тоже был тихий-тихий, но как вожжа под хвост попадет — не сдвинешь... Гляди только, отпиши Антохе, как было: я предлагал, ты сам отказался.

Рэму показалось, что в голосе Бляхина прозвучало облегчение.

— Обязательно. Спасибо вам.

Поднялся.

— Проводи его до КПП, Фима. Вы молодые, найдется, о чем побалакать. Ну, бывай, Антоныч. Воюй геройски, возвращайся целый, на радость папке.

Во дворе бляхинский сын что-то говорил, но взволнованный Рэм услышал не сразу.

— Что? Извини, у меня голова кругом.

Мама невиновна! Она не враг народа!

Остановился.

— Подожди, а? Я вернусь, на минуту.

Фима спросил:

— Зачем?

— Хочу спросить, от чего мать умерла. А то потом буду все время об этом думать...

— Ты чего, не знаешь, от чего на следствии умирают? — недоверчиво спросил Бляхин-младший.

— Не знаю. От чего?

Пару секунд Фима смотрел молча, потом сказал:

— От воспаления легких. Стены каменные, сырые. Если сквозняк — пиши пропало. А к бате с этим не лезь. Он что мог — рассказал. Я чего говорю: ты сейчас куда?

Потому что у меня дежурство кончилось. Фрицев пленных почти нету. Начнется наступление — ночью не поспишь. А пока нормально. Давай ко мне. Посидим, выпьем, про Москву расскажешь. Я там год не был. Какая она?

— Все такая же. Пустоватая только. — Рэм посмотрел на часы. — Мне через полчаса на вокзале надо быть. Если с назначением всё устроилось, может, сразу и поеду. А если нет, придется где-то ночевать. Пустишь?

— Само собой. Давай тогда до вокзала, а там как выйдет.

Они шли бок о бок по уже темнеющим улицам, болтали о Москве. Везло Рэму сегодня на москвичей.

— В дивизионную разведку, значит, попадешь? — спросил Фима с завистью. — Хорошее место. Под победу точняк орден дадут — «звездочку», а то и «знамя». Будешь перед девчатами форсить. А у нас по-максимуму — «За боевые услуги». Тоже еще медаль! Хоть не носи. Сразу видно: герой тыла.

— Махнемся службой? — засмеялся Рэм.

— Нет уж, останемся при своих, — хохотнул Бляхин.

Уткина они прождали до семи двадцати.

— Не придет твой старлей. Загулял. Чтоб разведчик кореша или бабу не встретил — такого не бывает, — в конце концов заявил Фимка. — Чего зря мерзнуть? Двигаем ко мне. Коньяку налью, настоящего, французского.

Новый приятель квартировал при штабе, в маленькой, но отдельной комнатенке. Рэм снова не удержался, подверг кору головного мозга этиловому воздействию. Из любопытства к бутылке с короной, медалями и длинной надписью, которая хрен знает как читалась. «Коурвойзьер» оказался сильно хуже польского самогона. Горло не обжег, а ободрал, и на вкус противный. Полстопки Рэм осушил залпом, а после не притронулся. Зато Фимка подливал себе не переставая и скоро был уже хороший.

— Ефим, ты бы полегче, — попросил Рэм. — Батя твой заглянет, а у нас тут...

— Во-первых, не заглянет. Он об это время своей машинистке диктует. — Выразительным жестом Фимка

показал, что именно имеет в виду, и осканился. — А во-вторых... — Мигнул, посерьезнел. — Я не Ефим, а Серафим. Старинное русское имя.

— Длинно.

— Ну зови «Серый». А Ефимом не зови. Евреем пахнет. Это сейчас нихт гут.

Рэм удивился:

— Почему?

— Потому. Видал, как батя закручинился, что у тебя мамаша — Мирра? А я знаю, в чем дело. Постановление было секретное, еще в позапрошлом году. Про евреев. Что нет им от партии доверия. Я сам через это пострадал, потому что...

— Как это нет доверия? — перебил Рэм. — Почему?!

— Потому что у евреев везде родина, а значит нигде не родина. Пока мы готовили мировую революцию, это было хорошо, что у нас евреев наверху много. Свои со своими всегда договорятся. А в сорок третьем политика поменялась. Говорят, товарищ Сталин в Ялте пообещал Рузвельту и Черчиллю, что мировой пролетарской революции не будет. Тогда и Коминтерн прикрыли. Мою школу переименовали из Парижской Коммуны в имени Луначарского...

— Не будет мировой революции?!

Рэм не поспевал за таким количеством сногсшибательных новостей.

— На хрен мировую революцию. Будем делать Россию великой. Чтоб размером, как при царе, и даже больше. Гимн у нас теперь какой? «Сплотила навеки Великая Русь», а не «Весь мир голодных и рабов». То-то, соображай.

Серафим хотел постучать собутыльнику пальцем по лбу, но не попал.

— И циркуляр был, в органы, для отделов кадров. Евреев, какие уже есть, придерживать, ходу не давать, а новых вообще не брать.

Так и не понятно было, верить ему или это пьяный треп.

— погоди. А ты-то за что пострадал? Ты же не еврей.

— Я без вины виноватый, — горестно сказал Бляхин. — Трагедия всей моей жизни. По метрике я знаешь

кто? Фамилия «Цигель», а отчество «Абрамович». Абрам Цигель моим родителем значится. Чекист такой ~~был~~ его враги убили.

— Разве ты Филиппу Панкратовичу не родной сын? Вы же похожи!

— В том-то и дело, что родной. Я раньше как думал? Что папаня этого Цигеля обогатил. Иначе на кой ему со мной, чужим пацаненком, возиться? Но тут история мудреней. Долго рассказывать... — Печально подпер щеку рукой. — Короче, по жизни я стопроцентный русак, а по документам — еврей. У нас сам знаешь: жизнь — ничто, документ — всё... С позапрошлого года, как только секретная директива вышла, папаша за меня бьется, пороги обивает. Повинился, заявление написал: так, мол, и так, скрывал от партии, что Фимка мой родной сын, не приемный, и что мать у него хоть и непролетарского соцпроисхождения, но тоже русская женщина. Сейчас плохая национальность стала хуже, чем плохое соцпроисхождение, — пояснил Блякин. — Но улита медленно едет. Папаня успел и получить выговорешник, и снять его, а моя анкета всё ползает по инстанциям. Даже когда новую метрику выправят, новый школьный аттестат и прочее, всё равно настоящей дороги мне не будет. Потому что для работников органов анкеты знаешь какие? До седьмого колена, со всеми прошлыми именами. Чуть копни — Цигель вылезет. Вот почему я не в СМЕРШе и не в НКВД, а колупаюсь в драном ОЧО. Вся моя жизнь псу под хвост...

Горестная исповедь завершилась пьяными слезами. Рэм слушал, сочувственно кивал. Ему опять было всех жалко: и умершую в сырой камере мать, и заботливого Филиппа Панкратовича, и его несчастного сына, а заодно и себя. Уж всех, так всех.

БИСЕРНЫМ ПОЧЕРКОМ

...Починим диспут "Главная проблема человечества" и как им с тобою, не сговариваясь, подготовили выступление на одну и ту же тему? Другое перво-курсивски говорим кто про что: про социальную несправедливость, про измеченность охота и войны бедных сословий, про слабость духовного начала перед телесным, а вы двое, как-то на свой лад, объявили: главная проблема людей в том, что они не умеют жить. Потому что никто не учит ребенка, как ему распорядиться даром жизни, а ебш и ушат, то всякой гелушке. Человек не знает сам про себя, что он такое, иа что он годен и на что не годен, в чем его польза для себе и окружающих. Из-за этого мир населен микробами, возбудителями, не нашедшими себе индивидуальности, которые несчастно сами и делают несчастными других. Я думаю твоего метафора, ты ведь всегда был поэтичнее меня. Представь себе розовый куст, на котором бутончики засохают, так и не раскрывшись, — сказал ты. — Таково наше человечество.

Сегодня идея на то что происходит с миром, я выразилась бы яснее. — Не раскрывшиеся бутончики по крайней мере никого не удивляют, они обкрадывают лишь самих себя и красоту природы, но народ, состоящий из не нашедших себя людей, превращается в полчище саранчи, в миграцию обезумевших крош, уничтожающих все живое. Мы обитали в аду, и этот ад — дело наших собственных рук, рождают того, что люди никто не плачущий бить людей.

Если такова главная проблема человечества, то отсюда происходит и главная его задача, говорим мы оба с тобою с тобой, по-моему: с равным лет научить каждого жить осмысленно и очастливо. Насущнейшей потребностью цивилизации, стало бытие являемая созданию правильной педагогики.

...Помнишь диспут «Главная проблема человечества» и как мы с тобою, не сговариваясь, подготовили выступление на одну и ту же тему? Другие первокурсники говорили кто про что: про социальную несправедливость, про низменность охлоса и эгоизм высших сословий, про слабость духовного начала перед телесным, а мы двое, каждый на свой лад, объявили: главная проблема людей в том, что они *не умеют жить*. Потому что никто не учит ребенка, как ему распорядиться даром жизни, а если и учат, то всякой чепухе. Человек не знает сам про себя, что он такое, на что он годен и на что не годен, в чем его польза для себя и окружающих. Из-за этого мир населен никчемными, озлобленными, не нашедшими себя индивидами, которые несчастны сами и делают несчастными других. Я запомнил твою метафору, ты ведь всегда был поэтичнее меня. «Представьте розовый куст, на котором бутоны засыхают, так и не раскрывшись, — сказал ты. — Таково наше человечество».

Сегодня, глядя на то, что происходит с миром, я выразился бы жестче. Нераскрывшиеся бутоны по крайней мере никого не убивают, они обкрадывают лишь сами себя и красоту природы, но народ, состоящий из не нашедших себя людей, превращается в полчище саранчи, в миграцию обезумевших крыс, уничтожающих все живое. Мы обитаем в аду, и этот ад — дело наших собственных рук, результат того, что людей никто не научил быть людьми.

Если такова главная проблема человечества, то отсюда проистекает и главная его задача, говорили мы оба с юношеским пылом: с ранних лет научить каждого жить осмысленно и счастливо. Насущнейшей потребностью цивилизации, стало быть, является создание *правильной педагогики*.

Сегодня подавляющему большинству людей цена — медный грош. Поэтому с ними и можно так обращаться: обманывать, унижать, поработать, даже убивать. Велика ли важность, коли нас так много и все друг дружки стоят или, верней, ничего не стоят?

Тем большим сокровищем становится редкий счастливец, которому повезло обнаружить в себе некий ценный для мира талант. Такой человек не терзается тщетой жизни, не тратит ее на пустяки, он переполнен радостью созидания и делится плодами этой деятельности с другими. Рай на Земле наступит тогда, когда человечество будет сплошь состоять из подобных людей. Каждый будет драгоценен, и его потеря станет невосполнимой утратой для всех. Так что же может быть важнее умения возвращать подобных личностей?

Нам с тобой было по восемнадцать лет (или тебе девятнадцать?), и эта абсолютно прекрасная мечта ослепляла нас своим величием. Она, собственно, не казалась нам мечтой. Мы говорили, что исполнить задуманное будет не так уж трудно. Надо всего лишь разработать Систему, а потом применить ее на практике в специальном учебном заведении, и когда общество увидит, что это возможно — создавать совершенных людей, — произойдет педагогическая революция, самая грандиозная из всех революций, и в течение нескольких поколений планета преобразится до неузнаваемости.

Планета действительно преобразилась до неузнаваемости — еще раньше, чем мы думали. Только в иную сторону. Мы вели наши чудесные разговоры летом четырнадцатого года, накануне краха двухсотлетней Эпохи Разума. Сейчас, четверть века спустя, от разума ничего не осталось, мир сошел с ума. Мой нынешний план тоже может показаться сумасшествием. Нашел время и место для педагогических экспериментов, скажет мне всякий нормальный человек.

А по-моему, как раз сейчас самое время. Эта война прочистит человечеству мозги, и оно наконец поймет, что так далее жить нельзя. Люди будут готовы к восприятию новых идей, новых рецептов, новых надежд. Тут-то моя работа и пригодится. И то, что она проводилась

и испытывалась в невиданно тяжелых условиях, лишь подтвердит верность моего метода.

Я говорю «*моя работа*», «*мой метод*», но это, конечно, неправда. Ведь я начинаю не с нуля. Кое-что, даже многое, уже обдуманно и осуществлено моими предшественниками.

Система, которую я разрабатывал много лет, принадлежит к тому направлению педагогики, которое называют «педоцентризмом», то есть воспитание ориентируется на личные особенности конкретного ребенка, а не на какой-то комплекс требований, для соответствия которому нужно выдрессировать маленького человека.

Как ты, конечно, помнишь из курса истории педагогики, идея общества, сильного не государственной мощью, а *качеством своих жителей*, зародилась еще в восемнадцатом веке. Тогда же, в эпоху просвещенного абсолютизма, были сделаны первые попытки вырастить людей нового типа: умеющих самостоятельно решать проблемы своей жизни, мыслящих, ответственных, внутренне свободных. Появились выдающиеся педагоги-практики, которые создавали собственные экспериментальные школы. В середине позапрошлого столетия одно маленькое государство, немецкое княжество Ангальт-Дессау, управляемое прекраснодушным принцем Леопольдом, завело у себя педоцентрические учебные заведения «*филантропинумы*», где детей всех сословий обучали не определенной сумме знаний, а *умению жить*.

В начале девятнадцатого века уже большая страна, Пруссия, произвела масштабную педагогическую революцию, которая наглядно доказала, что успешно развивающаяся страна — это страна успешно развивающихся граждан.

Король Фридрих-Вильгельм III затеял эту реформу не от хорошей жизни. После поражения в войне с Наполеоном его страна потеряла самые богатые свои владения, осталась с разоренной казной и подорванной экономикой. Единственным достоянием разгромленного государства были его жители. Кроме как на них, надеяться стало не на что: или выплывут сами и вытащат страну, или всё погибнет.

Государство, во-первых, перестало мешать людям распоряжаться своей судьбой — в 1807 году крестьяне получили свободу. А во-вторых, начало учить граждан «плавать» — учредило систему образования, вдохновенную самыми светлыми умами тогдашней Европы: Гумбольдтом, Песталоцци, Фихте. Учительские семинарии готовили преподавателей нового склада, которые прежде всего обучали бы детей думать и делать правильный выбор во всякой ситуации. Эта способность — действительно главная для всякой личности — ценилась в новосозданных «народных школах» выше утилитарных навыков. Целью воспитания было превращение Пруссии из страны крепостных крестьян и измороженных рекрутов в страну свободных, образованных людей, жизненный успех которых будет зависеть не от социального происхождения, а от личных качеств.

Стоит ли удивляться, что в первой половине девятнадцатого века Пруссия осуществила невиданный рывок, позволивший ей объединить Германию и сделать ее сильнейшей страной Европы? Немецкое образование, немецкая наука, немецкая промышленность, немецкое сельское хозяйство, немецкие товары, да и немецкая армия, состоявшая из инициативных, грамотных солдат — вот прямые следствия великой педагогической реформы.

Но немецкий опыт свидетельствует и о том, что педагогика, этот мощнейший инструмент, при неправильном или злонамеренном обращении с ним может привести человечество к беде. Катастрофа, происходящая сегодня с Европой, — тоже в значительной степени следствие немецких педагогических экспериментов. Дело в том, что прусская школа, первоначально задуманная как питомник свободных, активных граждан, в середине прошлого века резко изменилась. Низы — крестьяне, рабочие — стали слишком образованными и много о себе понимающими; они возжелали гражданских прав, уважения, достойных условий жизни, что в конце концов привело к революции 1848 года. Но к тому времени правительство окрепшей Пруссии ставило перед собой уже другие цели: построить не общество свободных (а стало

быть чересчур требовательных) людей, но военную империю, которая будет диктовать свою волю всей Европе. Такому государству тоже полезны образованные подданные — но именно *подданные*, то есть не граждане, а исполнительные слуги. И с 1850-х годов цель прусского, а затем общенемецкого воспитания резко меняется. От педоцентризма оно переходит к этатоцентризму, к ориентации на запросы государства. Теперь задачей образования стали дисциплинированность, послушание, коллективизм, почтительность к институтам и авторитетам, национализм, гордость за державу, культ армии — набор качеств, полезных для империи. Лучшая в мире школьная индустрия работала превосходно, просто теперь она стала выпускать иную массовую продукцию: патриотичных, послушных, преданных рейху бюргеров, чиновников, солдат. Это было мощное и бесперебойное производство. Созданный им германский каток вот уже во второй раз с начала столетия пытается подмять и заасфальтировать Европу. Увы, это тоже «плоды просвещения».

С моей точки зрения, отлично налаженная педагогическая система Третьего Рейха — убедительный пример того, как *ни в коем случае нельзя* воспитывать детей. Даже не с точки зрения общечеловеческой морали (я отнюдь не моралист), а просто с точки зрения эффективности и целесообразности. Делать из ребенка сначала юного гитлерюгендовского истерика, а потом нерассуждающего солдата — это все равно что заколачивать микроскопом гвозди. Человек способен на большее. Выражаясь цинически, *им можно воспользоваться гораздо лучше*.

В этой простой, даже вульгарной мысли вся суть моего метода.

Из педагогических концепций последнего времени я воспользовался двумя. Обе разработаны женщинами.

Первая — известная тебе теория «Свободного воспитания» Элен Кей, построенная на том, чтобы не мешать ребенку самому проявлять свою индивидуальность. Правда, превосходная шведка доказывала, что подобный подход по-настоящему осуществим лишь

в домашних условиях и что лучшими педагогами являются самые заинтересованные в ребенке люди — его родители. Это, разумеется, чушь. Никому ведь не придет в голову объявить родителей лучшими врачами своих чад, а педагогика много важнее медицины! Не говоря уж о том, что большинство родителей — идиоты, безнадежно испорченные еще в детстве.

Не менее превосходная итальянка Мария Монтессори совершенно правильно делает упор на «внутренний потенциал», разный и неповторимый у каждого ребенка. Мне очень пригодились ее методические разработки — в особенности отличная идея использовать игры для тестирования склонностей маленького человека. Но классы нужно устраивать совершенно иначе, чем предлагает Монтессори! И главное, следует ориентировать педагогический процесс на достижение совсем других целей!

Здесь я уже перехожу от теоретической стороны дела к практической. И тоже начну с того, что скажу несколько слов о предшественниках, чьим опытом, в том числе негативным, я воспользовался.

Еще Песталоцци выдвинул гипотезу о трех «силах человеческой природы»: способности мыслить, создавать и чувствовать. Он называл эту триаду «Ум, Руки, Сердце». Принцип в сущности правильный, хоть и нуждающийся в некоторой корректировке (о чем напишу позже), однако великий швейцарец заблуждался, считая, что все три «силы» в ребенке следует развивать параллельно, ибо таким образом якобы сформируется некая гармоническая личность.

Это ошибка! Так называемая «гармоническая личность», она же пресловутый «нормальный человек» — инвалид, который, желая быть похожим на всех, ампутрует свой самый главный орган: то, что отличает его от других.

В свое время я подробно изучил опыт всех педагогов-новаторов: и «филантропинум» Иоганна Базедова, и «Институт» Песталоцци, и бременскую школу Фрица Гансберга, и берлинскую гимназию Людвига Гурлитта,

и Абботсхольмский пансионат британца Сесила Редди, и, разумеется, все новомодные течения вроде евгенической педологии.

Больше всего меня заинтересовал педагогический эксперимент, проведенный в третьей четверти девятнадцатого века английской благотворительницей Маргарет Эстер (Margaret Astair). Об этом интереснейшем начинании мало что известно, потому что леди Эстер держала свою систему в тайне, не публиковала научных статей, не жаловала прессу, а ее сотрудники и выпускники представляли собою род религиозной секты, что, впрочем, вообще свойственно подобным учениям — посмотри хоть на последователей антропософской педагогики Штайнера. Кроме того, когда филиал школы открыли в России, это закончилось скандалом. Российские власти всегда были крайне подозрительны к иноземным попыткам воспитывать русскую молодежь, а в 1870-е годы Британия считалась врагом номер один. Ни следствия, ни суда не было, суть предъявленных леди Эстер обвинений так и осталась непонятна, но систему разгромили, преподавателей и воспитанников разогнали, а сама благотворительница просто исчезла. Говорят, покончила с собой от горя. Одним словом, завершилось всё скверно.

А ведь было время, когда невероятные успехи «эстернатов» (так назывались интернаты леди Эстер) потрясали всё международное педагогическое сообщество. Их называли «фабриками гениев» и «кузницами талантов». Я пришел в неописуемое возбуждение, когда вычитал, что в кабинете англичанки имелся портрет Фридриха Дистервега, которого она почитала своим учителем, — ведь именно Дистервег дал мне ключ к моему методу! У меня над письменным столом много лет висело изречение этого великого педагога: «Счастлив тот, кому судьба позволила сполна раскрыть свою природу. А вместе с ним счастливо и человечество».

Леди Эстер развила этот постулат дальше: надо не ждать позволения судьбы, пути которой неведомы и нам неподконтрольны, а помочь человеку «раскрыть свою

природу», то есть обнаружить и развить в себе самое лучшее, самое ценное, что заложено в данную личность.

В основе деятельности эстернатов лежала смелая и на первый взгляд фантастическая идея. Каждый человек уникален — притом не в религиозном смысле (как душа — частица Бога), а в значении вполне практическом: потенциально он может делать что-то *лучше всех на свете*. Поэтому каждый без исключения человек — сокровище. И задача правильного воспитания состоит в том, чтобы это сокровище раскопать.

Вся работа эстернатов строилась на том, чтобы терпеливо и заботливо найти ключик к каждому «ларцу с самоцветами», как любовно называла леди Эстер своих воспитанников. Я бы с радостью отдал десять лет жизни за то, чтобы раздобыть педагогические методики, которыми пользовались учителя эстернатов! Но никаких документов не сохранилось, и мне пришлось потратить двадцать лет, чтобы изобрести некогда уже изобретенное — очень возможно, хуже, чем было. Я ведь работал один, урывками, без денег и безо всякой поддержки.

Теперь, после этого затянувшегося, но необходимо-го предисловия перехожу к описанию разработанной мною системы. Ты увидишь, что она берет на вооружение концепцию Маргарет Эстер — о потенциальной гениальности каждого ребенка и о том, что главная задача педагогики заключается в подборе ключа к этой волшебной шкатулке. Но в отличие от эстерната, который был в первую очередь учебным заведением и занимался детьми среднего, а потом старшего возраста, я считаю, что приступать к работе следует раньше. Человек начинает становиться человеком примерно с пяти лет, когда в сознании происходит революция. Ребенок выходит из младенческого состояния, становится способен контактировать с внешним миром, отделять себя от него. Пятилеток активно проявляет свою индивидуальность, способен выражать мысли и чувства, воспринимать наставления, абстрактно мыслить — одним словом, уже годен для типизации. Я пришел к этому заключению, проработав несколько лет воспитателем в детских садах, где вел наблюдения и записи.

Заявляю категорично: ребенок, которому не задали правильное направление развития еще до школы, теряет половину шансов на успешное открытие своего дара.

По моей системе формирование личности должно состоять из двух стадий: воспитания и образования. У этих стадий принципиально разные задачи. Первая поворачивает маленького человека в нужную сторону, задает ему курс дальнейшего движения. Вторая обеспечивает его знаниями, которые помогут быстрее и точнее достичь главной цели — найти свой уникальный дар и потом пользоваться им на радость себе и миру.

Образованием пускай занимаются другие, моя же сфера — подготовка к нему. Название моего метода — «Schatzsuche», «Охота за сокровищем». Я нахожу на Острове Сокровищ, каковым является всякий ребенок, точку, где зарыто золото, и обозначаю ее координаты, втыкаю флажок с надписью: «Копать здесь». К восьмилетнему возрасту, когда пора идти в школу, главная работа должна быть уже исполнена, типизация завершена.

Итак, вот ключевое понятие моего метода: типизация.

Работа «Трезориума» (так я называю детский сад, занятый пестованием маленьких сокровищ) состоит в том, чтобы постепенно, этап за этапом, сужать зону поиска — по принципу детской игры в «холодно-горячо».

Всего таких этапов, полугодовых семестров, шесть. Движение происходит от самой широкой типизации ко все более прецизионной.

За основу взята доктрина Песталоцци о «природных силах» (Ум, Руки, Сердце), но с существенной поправкой и принципиально иным целеполаганием, о чем я уже коротко писал.

Во-первых, это не «природные силы», а доминанты. Каждый человек по своей натуре наделен лишь одной из них, поэтому любые попытки насильно толкать его в других направлениях будут вступать в противоречие с естеством и давать неважный результат. Можно, конечно, научить ласточку бегать по земле, а борзую высоко прыгать, но первая лучше приспособлена для полета, а вторая для бега. «Лишь развивая параллельно и в тесной

связи все три силы, не делая упора на какую-то одну в ущерб другим, можно развивать «многоценную личность», — утверждал Песталоцци — и ошибался. Именно что надо «делать упор» на доминанте данного конкретного ребенка, а остальным сферам всего лишь уделять внимание, минимально необходимое для нормальной социализации — как делают, например, в нынешних математических школах, отводя какое-то скромное количество часов на литературу или физкультуру.

Во-вторых, доминант не три, а четыре. Есть еще одна, гораздо менее распространенная, но очень ценная: Kreativität (есть по-русски такое слово — «креативность?»), то есть особый дар придумывать или создавать новое, прежде не существовавшее или даже невообразимое. Детей, наделенных этой потенцией, нужно определять и типизировать как можно раньше, чтобы затем вести и обучать по индивидуальной программе.

Мой «шацзухе» начинается с определения доминирующего качества — что в данном ребенке следует развивать приоритетно: Голову (то есть интеллектуальные способности), Сердце (одаренность эмоционального свойства), Тело (всякого рода физические таланты) или Креативность.

Эта задача должна быть решена в ходе **Первого семестра**, который, как я уже сказал, продолжается полгода. В течение этого времени команда искателей «шацзухеров», состоящая из директора и четырех педагогов, каждый из которых обучен распознавать признаки одной из доминант, внимательно наблюдает за «потокком», состоящим из случайно набранных детей: чем интересуется каждый ребенок; во что любит играть и как себя при этом ведет; как выстраивает отношения в социуме; как реагирует на специально разработанные тестовые задания и так далее. Для наблюдения требуется особым образом оборудованное помещение, о чем я напишу позднее.

Ежедневно в фокусе сосредоточенного внимания всех шацзухеров находится только один ребенок. По окончании дня впечатления сверяются и обсуждаются на консилиуме. Назавтра исследуется следующий

индивид, затем — **Фардующий**, и так далее. Всего за семестр ребенок подвергнется такому коллективному наблюдению не меньше десяти раз, так что диагноз будет все время проверяться и корректироваться. Шесть месяцев для пятилетнего человека — огромный срок. Как и для профессионального наблюдателя. По истечении полугодия происходит разделение «потока» на 5 категорий: **Г** (Голова), **С** (Сердце), **Т** (Тело), **К** (Креативность) и **Н** (Неопределившийся). Последняя — для детей, которых шацзухеры пока не могут типизировать.

— Во **Втором семестре** дети по-прежнему находятся вместе, в одном тестовом пространстве, но теперь шацзухеры переходят от наблюдения к активной работе. Они «конкурируют» между собой, затевая игры и всякого рода мероприятия всяк по своему «профилю». Дети вольны сами выбирать, к какому занятию присоединиться, и со временем формируются устойчивые группы. Так подтверждается или пересматривается первичный вердикт, а заодно проясняется вопрос с типизацией «неопределившихся».

— В **Третьем семестре** группы существуют уже порознь. Каждая действует по собственной программе, но воспитание, а вернее сказать поиск, не замкнуты в рамках одной доминанты.

Недельный распорядок следующий: в понедельник группа находится в ведении своего «профильного» куратора (назову его куратором-1); во вторник куратора-2; в среду опять куратора-1; в четверг куратора-3; в пятницу куратора-1; в субботу куратора-4. В воскресенье поток сливается, и все четыре группы оказываются вместе. (Нечего и говорить, что так называемых «выходных» в трезориуме не бывает. Это не киндергартен, откуда детей вечером забирают домой, а интернат.)

Таким образом чаще всего (трижды в неделю) ребенок состоит на попечении своего профильного куратора, но имеет возможность приобщиться и к трем остальным программам — вдруг индивидуальность начнет проявляться как-то иначе? Воскресенье, на которое

обязательно назначается некое праздничное, запоминающееся мероприятие, необходимо для того, чтобы воспитанники учились дружить и общаться с детьми иного склада.

При этом я категорический противник разделения группы по половому признаку. Мальчики и девочки должны хорошо знать и понимать друг друга с самого раннего возраста, когда гормональное еще не заслоняет индивидуального. У мальчика и девочки одной «доминанты» между собой больше общего, чем у двух однополых детей различного вектора. (Рискну предположить, что в зрелом возрасте любовное притяжение скорее возникает между людьми разного внутреннего устройства, ибо иное и непонятное всегда эротичнее знакомого и познанного, но это совсем не моя тема, потому не буду в нее и вторгаться. Пускай над этим ломают голову коллеги «школьного» этапа.)

В смысле «шацзухе», то есть поиска, задача третьего семестра — за шесть месяцев путем постоянного тестирования, проверки и перепроверки (не буду сейчас описывать технику) разделить каждую группу надвое.

В **Четвертом семестре** дети делятся на восемь «секций», каждая из которых в моей системе обозначается своим кодом. Соответственно удваивается и число кураторов.

Группа «Г» («Голова») должна разделиться на секцию «Г-1» («Теоретик») и секцию «Г-2» («Практик»), потому что сильный интеллект бывает двух складов: первый умеет находить ответы на вопрос «что?» и «зачем?»; второй — на вопрос «как?». На седьмом году жизни, когда ребенок учится иерархировать свое безграничное любопытство к окружающему миру, фокусируясь в первую очередь на самом интересном, эта склонность уже вполне проявлена.

Группа «С» («Сердце») разделяется по иному принципу. Люди, доминантой личности которых являются эмоции, спонтанные порывы, инстинкты, настроения, бывают

природно злыми и природно добрыми, что к шести годам тоже вполне определяется. Здесь важно отделить от этих понятий прилипшую к ним оценочность. Быть злым не обязательно плохо, а быть добрым необязательно хорошо. Какая собака лучше охраняет дом, двор, стадо — добрая или злая? То же и с людьми. Они ценны всякие — как добрые, так и злые, каждый на своем месте. Например, про себя я знаю, что я скорее злой, уж во всяком случае не добрый. Добрый человек сегодня жалел бы несчастных людей, ставших жертвой жестоких оккупантов, и эта жалость его парализовала бы, я же намерен хладнокровно воспользоваться сложившейся уникальной ситуацией для осуществления своего великого плана. Впрочем, я вообще не силен по части эмоций и явно не принадлежу к группе «С».

Секция «С-1», которая должна сформироваться по итогам третьего семестра, обозначается в моей системе термином «Позитив» и объединяет детей изначально отзывчивых, добрых, со склонностью к мазохистичности, то есть к тому, чтобы добровольно поступаться собственными интересами ради блага других. Можно сказать и так: сила этой секции в любви.

Секция «С-2» («Негатив») — для тех, кто внутренне раздражителен, склонен концентрировать свое внимание на неприятном, не боится конфликтов, садистичен (условно говоря, может из любопытства оторвать крыльшки у бабочки) — одним словом, кто силен злостью. Как уже сказано, само по себе это не хорошо и не плохо. Вернее так: это прекрасное качество, если уметь с ним обращаться, и очень опасное, если его обратить во вред. Как огонь.

Перейдем к группе «Т» («Тело»). Здесь главный раздел проходит между общей пластичностью тела и «умными» руками.

В секцию «Т-1» («Атлет») попадут дети, которые хорошо слышат музыку собственного тела, талантливо двигаются, физически ловки.

Секция «Т-2» («Мастер») предназначена для шестилеток, которые проявляют склонность ко всякого вида

рукоделиям, получают удовлетворение от того, что могут из материалов сделать какую-то полезную вещь. Именно полезную, потому что если ребенка больше привлекает не прагматическая, а эстетическая ценность вещи, это основание для педагога задуматься — не перевести ли воспитанника в группу «К».

С группой «К» («Креативность») в четвертом семестре следует работать следующим образом.

Начну с того, о чем не написал раньше: как в пять лет выявить человека с творческой доминантой. По моему опыту, при длительном наблюдении это не слишком сложно. Подавляющее большинство детей конвенциональны. В этом возрасте им больше всего нравится подражать другим, имитировать, усваивать правила уже существующих игр. Однако есть небольшое количество таких, кто, едва поняв правила, немедленно начинает их менять или же вовсе выдумывает какую-то новую игру, не похожую на прежние. Если ребенок изо дня в день ведет себя подобным образом, это достаточное основание для зачисления его в группу «К». Надо лишь убедиться в том, что новаторство диктуется не просто страстью к деструкции (это свойственно для вышеописанного типа «С-П», «Негатив»), а созидательным импульсом.

В четвертом семестре дети категории «К» должны распределиться между секцией «К-1» («Инвентор») — для тех, творческая пытливость которых устремлена в нехудожественную сторону, и секцией «К-2» («Эстетик») — для тех, кто тяготеет к искусству.

В **Пятом семестре** «поиск сокровищ» усложняется. Каждая секция делится на две «ячейки», каковых в результате получается шестнадцать. Столько же потребуется и профильных кураторов.

Начну с «головастиков».

Ячейка «Г-1А» («Теоретик-естественник») подходит для мальчиков и девочек секции «Г-1», которые все время задают вопросы типа «почему земля круглая, а никто не скатывается», «почему после дня наступает ночь», «почему над кастрюлей пар» и так далее, то есть стремятся

понять устройство физического мира. (Все вопросы взяты из записной книжки, которую я вел во время работы в детском саду; у меня их там несколько сотен.) Я понимаю, что термин «теоретик-естественник» может кому-то показаться забавным применительно к семилетнему ребенку, однако ничего комичного и умильного в маленьком человеке я не вижу. Если не относиться к нему с максимальной серьезностью, человеком большим он никогда не станет.

В ячейку «Г-IV» («Теоретик-гуманитарий»), соответственно, попадают дети секции «Г-I», интересующиеся не столько материальной, сколько идейно-содержательной природой вещей: «почему обязательно надо умирать?», «почему кто-то кого-то любит, а кого-то нет?», «почему надо помогать другим?» и так далее.

Ячейка «Г-IIА» («Практик-естественник»), как легко догадаться, предназначена для тех, кого в предметном мире занимает не его причина, а его фактура: как педали и цепь крутят колесами велосипеда; как сделать, чтобы бумажный самолетик летел дальше и выше.

В ячейке «Г-IIВ» («Практик-гуманитарий») соберутся дети, которых интригует Логос: слово, строение фразы, смысловые оттенки языка, игра в неологизмы, синонимы-антонимы, дефиниции (есть несколько специальных методик, разработанных педагогами-лингвистами, что облегчит мою задачу).

«Сердечники» на пятом уровне делятся на ячейки по ключевому параметру, который я бы назвал социальным, поскольку он определяет тип взаимоотношений эмоционально одаренного человека с внешней средой.

Есть люди, сильные внутренней энергией, но сами же ее главным образом потребляющие. В моей терминологии это «генераторы». Обычно это тихие, молчаливые, интровертные дети — послушные, если они добры, и пассивно-упрямые, если злы. Противоположный тип — «эмиттеры», способные оказывать сильное эмоциональное воздействие на других. Это потенциал лидерский, а потому для общества субъекты второй ячейки представляют повышенный интерес. «Генератор»

приносит благо или вред главным образом себе и своим близким, аура же «эмиттера» много шире.

«С-IA» («Позитив-генератор») — очень симпатичное существо, самой природой запрограммированное на семейное счастье, любовь, дружбу. Достаточно лишь направить такого ребенка в правильную сторону, а остальное он или она (девочек такого склада намного больше, чем мальчиков) сделает самостоятельно.

«С-IB» («Позитив-эмиттер») — ценнейшая разновидность человека. Если правильным образом заточить этот карандаш, он — я покажу это — сможет рисовать прекрасные картины.

С секцией «С-II» («Негатив») работать, конечно, труднее, но тем интереснее задача педагогов.

«С-IIA» («Негатив-генератор») — это ребенок, про которого говорят «в тихом омуте черти водятся». О том, что кроме чертей в этом омуте могут прятаться и невероятные сокровища, я расскажу, когда дойду до шестого семестра.

«С-IIB» («Негатив-эмиттер») подобен динамиту. В обращении с таким воспитанником требуются сугубая осторожность и опыт. Однако не будем забывать, что динамит был изобретен Альфредом Нобелем не для убийства, а для горного дела. Всё зависит от того, кто и для чего использует эту мощную взрывчатку. Об этом опять-таки напишу в следующем разделе.

С «телесниками» всё проще и очевиднее.

«Атлеты» делятся на ячейки по тому же принципу интровертности-экстравертности.

Дети, которым нужно в первую очередь что-то доказать самим себе, преодолевать препятствия, ставить рекорды, отправятся в ячейку «Т-IA» («Атлет-спортсмен»). Как ты увидишь дальше, одним только спортом сфера их талантов не ограничивается, но основу личности здесь составляет именно «спортивное» отношение к жизни.

Ячейка «Т-IB» («Атлет-актер») предназначена для тех, кому важнее признание публики, кто любит действовать напоказ, производить впечатление, быть в центре всеобщего внимания.

У секции «мастеров» разделение осуществляется так: ячейка «Т-ПА» («Мастер-макро») — для ребят с хорошими руками, предпочитающих работать с крупными, масштабными формами. В «Т-ПВ» («Мастер-микро») распределяются дети с хорошими пальцами, которых завораживает совершенство миниатюрных деталей.

У двух «креативных» секций разделение происходит по-разному.

«Инвенторы» раздваиваются на ячейку «К-IA» («Инвентор-теоретик») и ячейку «К-IB» («Инвентор-практик»). Я предвижу, что здесь читатель опять рассмеется. Семилетний инвентор-теоретик, что за анекдот! Но я помню мальчика из старшей группы детского сада, который после моего рассказа о звездах и планетах задумчиво сказал: «А если их так много, может, где-нибудь на небе живет точь-в-точь такой же Юзек, как я? И даже не один?» — и я затрепетал от смелости и свободы мысли этого маленького человека, с легкостью постигшего концепцию бесконечности. Из Юзeka мог бы вырасти Галилей или Альберт Эйнштейн, но не вырастет, потому что мальчик был из бедной семьи, не способной дать ему должного образования. В лучшем случае он станет счетоводом или приказчиком. Какая потеря! Если это анекдот, то совсем не смешной.

В общем, «инвентор-теоретик» — это ребенок, свободно себя чувствующий в мире больших отвлеченных идей.

«Инвентор-практик» нацелен на прикладную деятельность, когда нужно придумать или изобрести нечто практически полезное.

У «эстетиков» сепарация происходит иначе. «К-ПА» («Эстетик-кунстлер») — это ребенок с потенциальными художника в традиционном понимании этого слова, то есть творец нового искусства.

Однако есть очень яркая порода людей, которые не пишут картин, стихов или музыки, их произведения не поместишь в музей, однако же это природы безусловно артистические, и сама их жизнь представляет собой произведение искусства. Таких существенно больше, чем принято считать, просто общество сплошь и рядом

называет подобного рода художников другими именами, подчас нелестными. В ячейку «К-ПВ» («Эстетик-акционист») в моем трезориуме будут попадать дети, чья творческая природа проявляется в поступках и поведении. Это сложное, трудноопределяемое, мало изученное, но необычайно ценное дарование. В современном обществе «эстетиков-акционистов» нередко порицают, а то и наказывают, потому что они ломают установленные правила жизни, что шокирует обывателей. Однако я полагаю, что художник, обновляющий каноны традиционной жизни, значит для человечества еще больше, чем художник, всего лишь покушающийся на каноны традиционного искусства. Интересная, очень интересная ячейка!

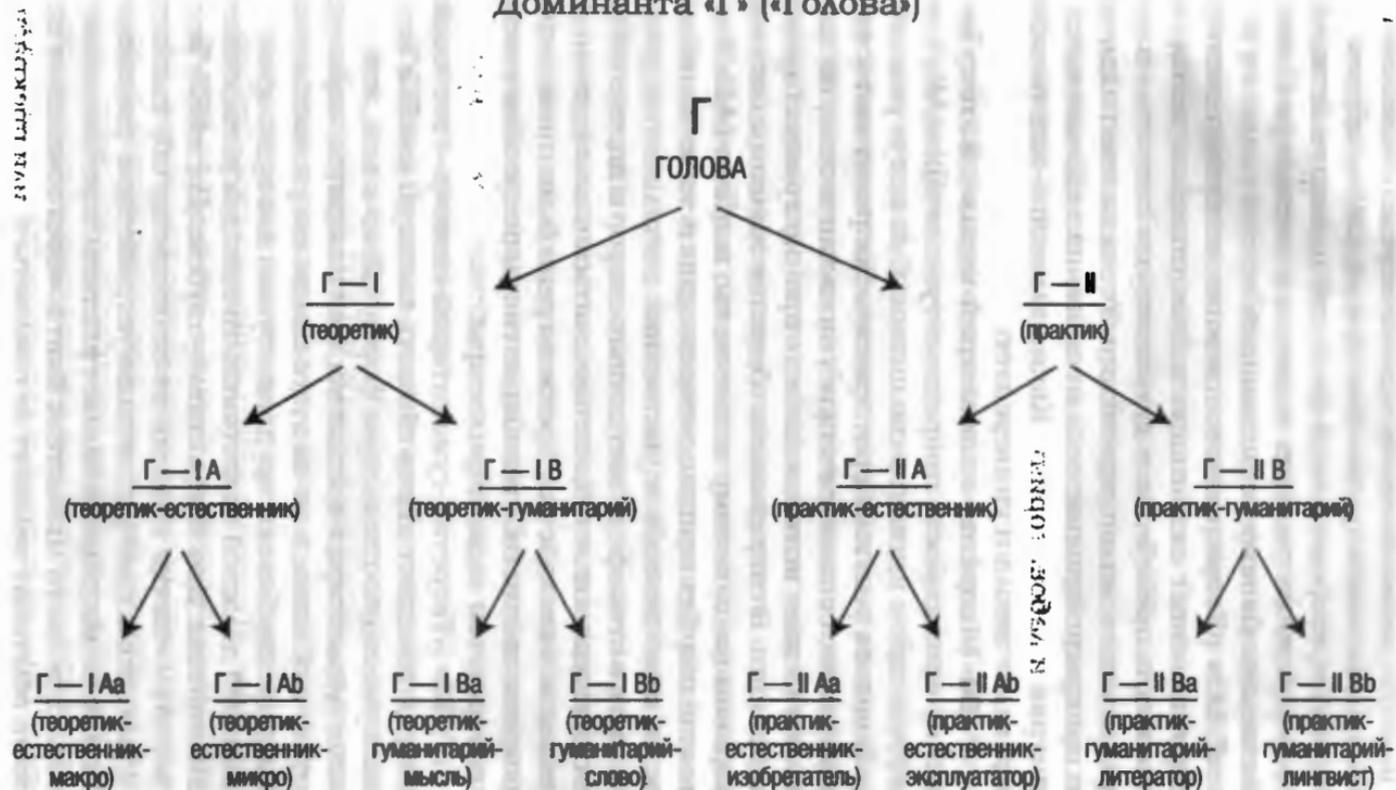
И вот мы подошли к последнему, **Шестому семестру**, в конце которого первичная типизация восьмилетнего человека завершается. После этого педагогика может переходить от осторожного изучения объекта к его «экипированию» знаниями и навыками, необходимыми для полной самореализации, — то есть от трезориума к школе, от воспитания к образованию.

Окончательной целью дошкольного «щацзухе» является определение «индотипа» (индивидуального типа) ребенка. Таковых получится тридцать два, ибо в финальном полугодии каждая ячейка еще раз поделится надвое.

Кодификация индотипов

«Г-IAa» («Теоретик-естественник-макро»). Это интеллектуально активный ребенок с умом схоластического типа, которого великие миры интересуют больше малых, то есть, образно выражаясь, предпочитающий телескоп микроскопу. Подобная предрасположенность — видеть общую картину или концентрироваться на деталях — одна из коренных характеристик человеческой

Доминанта «Г» («Голова»)



личности. Школе потом предстоит определить, какой из «глобальных» наук лучше заниматься данному индотипу. Вероятно, теоретической физикой или математикой. Университет же поможет определить идеальную специализацию или тему исследований.

«Г-IAb» («Теоретик-естественник-микро»), соответственно, имеет склонность к дисциплинам, которые уточняют, проверяют и детализируют гипотезы и открытия, сделанные теоретиками. Ученики этого индотипа прекрасно проявят себя в научно-исследовательских центрах и лабораториях. Каких именно — опять-таки определяют школа и университет.

«Г-IBa» («Теоретик-гуманитарий-мысль»). К этому индотипу принадлежат природные гуманитарии, хорошо работающие с идеями и смыслами. Они могут рождать и развивать (или наоборот критически ревизовать) философские, социологические, экономические, антропологические, исторические и прочие гуманитарные концепции. В современном обществе таких мыслителей слишком мало, потому человечество и живет столь бессмысленно, без конца повторяя одни и те же ошибки. Люди, даже далекие от умственной деятельности, должны жить в атмосфере постоянных споров и дискуссий об истинно важном, чтобы не замыкаться в повседневных, приземленных заботах. Древние греки были правы, когда представляли себе идеальное государство обществом, в котором тон задают философы.

«Г-IBb» («Теоретик-гуманитарий-слово») — это люди, которые обладают даром облекать сложную мысль в наиболее уместную словесную форму. Дело в том, что индотип гуманитария-мыслителя, как говорится, чересчур витает в облаках, и из-за этого плоды его размышлений обыкновенно бывают труднодоступны для аудитории, не имеющей должной подготовки, то есть для абсолютного большинства. Два эти таланта — глубоко мыслить и ясно излагать — почти никогда не сочетаются, ибо связаны с принципиально различным устройством сознания. Мы имеем или головоломные трактаты замечательного, революционного мыслителя Канта, через сочинения которого обычному человеку не продрагаться, или прекрасно

написанные, но весьма поверхностные сочинения какого-нибудь Ницше, в результате добивающиеся куда большей популярности и сильнее воздействующие на умы. Популяризатор сложных идей, я уверен, будет одной из самых востребованных профессий будущего общества, прежде всего вследствие огромного значения, которое приобретет вообще педагогика. Однако следует учесть, что из обладателей индотипа «Г-IVb» могут получаться отличные авторы учебников, но ни в коем случае не учителя. Там потребно дарование иной природы, до чего мы еще дойдем.

Перехожу теперь к «практикам» (секция «Г-Ш»).

«Г-IIAa» («Практик-естественник-изобретатель») — это человек, который, как ясно из названия, любит изобретать всевозможные машины, устройства, приспособления. В школе педагоги разберутся, к какого именно вида изобретательству такого ребенка, затем подростка, затем юношу или девушку лучше направить.

«Г-IIAb» («Практик-естественник-эксплуататор»). Здесь имеется в виду индотип, которому нравится не придумывать новые механизмы, а обеспечивать бесперебойную работу уже существующих. Дети такого склада — перфекционисты, любят порядок и аккуратность, очень внимательны к мелочам, расстраиваются, если что-то ломается или плохо работает. Нечего и говорить, как ценен для общества этот индотип и сколь широки области его деятельности.

«Г-IIBa» («Практик-гуманитарий-литератор») — это человек, наделенный способностью играть со словами, способный придавать им свежесть и прелесть, умеющий описывать и рассказывать, одним словом литератор в самом широком значении, от писателя до публициста и даже автора рекламных лозунгов.

«Г-IIBb» («Практик-гуманитарий-лингвист») — индотип, к которому относятся люди, чуткие не только к родному наречию, но и к иностранным языкам. При правильной организации школьной программы они могут стать настоящими полиглотами.

Доминанта «С» («Сердце»)

СЕРДЦЕ

С
СЕРДЦЕ

С — I
(позитив)

С — II
(негатив)

С — IA
(позитив-генератор)

С — IB
(позитив-эмиттер)

С — IIA
(негатив-генератор)

С — IIB
(негатив-эмиттер)

С — IAa
(позитив-генератор-приват)

СЕРДЦЕ

С — IAb
(позитив-генератор-социо)

С — IBa
(позитив-эмиттер-манипулятор)

С — IBb
(позитив-эмиттер-цветок)

С — IIAa
(негатив-генератор-приват)

С — IIAb
(негатив-генератор-социо)

С — IIBa
(негатив-эмиттер-манипулятор)

С — IIBb
(негатив-эмиттер-цветок)

Ячейку «С-IA» («Позитив-генератор») в шестом семестре предстоит разделить по чрезвычайно важному признаку. В этих природно добрых, душевно щедрых детях таятся великие запасы любви, но требуется понять, какого она свойства: адресная, то есть направленная лишь на объект личностной любви, или безадресная, обращенная вообще к миру. Это две абсолютно различные жизненные модели.

«С-IAa» («Позитив-генератор-приват»): очень распространенный разряд человеческих особей, призвание которых любить немногих, иногда даже только кого-то одного. Это то, что они умеют делать лучше всех на свете: сделать счастливым того, кого любят. Они любят так сильно и так красиво, что существование любящего и любимого наполняется смыслом и светом. Конечно, этот луч света чрезвычайно узок, но счастлив тот, кто в нем окажется, а не в счастье ли состоит предназначение жизни? Очень возможно, что носители дара «адресной» любви — самые везучие из обитателей Земли. Из них получаются превосходные возлюбленные, супруги, родители, друзья. Школе будет достаточно обучить этот индотип психологии, то есть умению разбираться в себе и в людях, чтобы не произошло ошибки в выборе жизненного партнера, а также дать знания и навыки, потребные для устройства семейной жизни. Идеальная пара, являющая собой «команду», способную свернуть горы — это союз «деятельного» индотипа с «любящим»; первый партнер реализует свой талант к некоей работе, второй поддерживает и усиливает супруга своей талантливой любовью. В этом, собственно, и заключается смысла семьи, а коли так, то не удивляюсь, если потенциальные «позитив-генератор-приваты» составляют добрую половину человечества.

«С-IAb» («Позитив-генератор-социо»): совершенно прекрасный индотип, сердце которого раскрыто всему миру. Из таких получаются замечательные медбратья и медсестры, сиделки, добровольцы филантропических организаций, защитники животных и прочее и прочее. Правда, к семейной жизни эти природные альтруисты приспособлены неважно, поскольку склонны жертвовать

интересами своих ближних ради помощи «дальним». Дети, принадлежащие к этому типу, очень удобны и приятны для педагогической работы. Школьное образование для них будет заключаться в поиске профессии, которая позволит «позитив-генератору-социо» любить кого-то или что-то наиболее подходящим для данного индотипа образом.

Прежде чем перейти к позитивным и негативным «эмиттерам», закончу про генераторов.

С «негатив-генераторной» ячейкой «С-ПА» предстоит много работы. В современном мире представители этой человеческой разновидности, как правило, вредоносны. Они насквозь пропитаны злобой и недоброжелательством; в общем, по нашим нынешним представлениям это плохие люди. Ячейка делится на два индотипа по тому же принципу, что «позитив-генераторы» — на «приватов» и «социо». Первые сейчас мучают собственную семью и тех, кому не повезло оказаться от них в личной зависимости; вторые — коллег, знакомых, подчиненных, а если обладают большой властью, то и целые народы.

Но метод «шацзухе» способен и такую монету перевернуть с «решки» на «орла».

«С-ПАа» («Негатив-генератор-приват»). Этот индотип следует готовить к такому образу жизни, где можно не обзаводиться семьей. Сильная сторона всякого «негативного генератора» в его внутренней интенсивности. Его постоянно, что называется, «распирает от злости», а это хорошая основа для мобилизованности, четкости, нераслабленности. Подобные качества высоко востребованы во многих сферах жизни. Отличная профессия для такого человека — скажем, быть лоцманом, ведущим суда по опасному фарватеру, или подрывником-сапером, или авиадиспетчером. В общем, он должен заниматься какой-то ответственной и предпочтительно индивидуальной работой.

«С-ПАб» («Негатив-генератор-социо»). С этим индотипом тоже непросто. Они вполне могут иметь семью, потому что злость, адресованная обществу, обычно оставляет супруга и детей как бы в спокойном «оке тайфуна»,

поскольку те воспринимаются таким человеком как часть собственного «я», но зато всех остальных людей «С-ПAb» на дух не переносит. Естественно, что подобных воспитанников тоже следует готовить к профессиям, где можно работать в одиночку. Отличие от «негатив-генератор-привата» здесь в том, что специальность эта должна быть не статичной, а динамичной, с наглядным результатом. Возьму хорошо понятный тебе пример из вашей советской действительности. Запусти «негатив-генератора-социо» в шахту с отбойным молотком, и он будет ставить рекорды лучше Стаханова. Только пусть остальная бригада держится от такого передовика на расстоянии.

Теперь перехожу к позитивным и негативным «эмиттерам» «С-IV» и «С-IVb». Эти люди обладают силой эмоционального воздействия на окружающих, заряжая их своей доброй или злой энергетикой. Сепарация на индотипы здесь осуществляется по следующему признаку: насколько конструктивно данный ребенок способен пользоваться этим инструментом? Выражаясь попросту, достаточно ли он умен, чтобы быть организатором, психологом, манипулятором? Или же это просто цветок, который бездумно источает сладкий либо горький аромат, дурманящий головы тем, кто его вдыхает?

«С-IVa» («Позитив-эмиттер-манипулятор»): это материал, из которого получаются прекрасные педагоги и воспитатели, агитаторы, пропагандисты и проповедники всякого «разумного-доброе-вечного», а также гражданские активисты. Остается лишь понять, для какого именно рода благой деятельности такой ребенок лучше всего предназначен, и это уже задача школьного образования.

«С-IVb» («Позитив-эмиттер-цветок»). Милейший индотип, светящий ярко, но камерно, как комнатный абажур. Находиться рядом с таким человеком — праздник. Он станет душой любого сообщества — именно «душой», не лидером. Функция «С-IVb» — не руководить, а создавать атмосферу тепла, любви, дружбы. Собственно, ни один коллектив без такого внутреннего источника

позитивной энергии по-настоящему успешным не будет. Общественная востребованность людей этого индотипа, конечно же, огромна, они нужны всегда и везде.

Со «злыми эмиттерами», как обычно, работать много сложнее, но и интереснее. При этом стезя индотипа «С-ШВа» («Негатив-эмиттер-манипулятор»), в общем, понятна. Из этих жестких, властных, волевых людей могут получиться хорошие военачальники, руководители опасных экспедиций или поисковых партий — одним словом, предприятий, где необходимы дисциплина, суровость, готовность к тяжелым испытаниям и несентиментальность. История человечества наполнена личностями такого сорта, которых принято считать великими — и они действительно своей злой волей нередко приносили человечеству огромную пользу.

Но «С-ШВб» («Негатив-эмиттер-цветок») — одна из самых трудных задач для педагога. В нынешнем мире это злой и глупый человек, постоянно порождающий вокруг себя бессмысленные склоки, причем, обладая отрицательным обаянием, виновник конфликтов часто сам от них ущерба не несет. Расхожий пример — какая-нибудь безмозглая, нарциссичная *femme fatale*, из-за которой мужчины сходят с ума и готовы друг дружку переубивать. Однако негативная энергия подобной личности тоже может быть повернута на благо ей самой и окружающим, просто педагогическая работа в данном случае требует чрезвычайной тонкости. Из вышеупомянутой «роковой женщины» может получиться, скажем, киноактриса на характерные роли, а Крошка Цахес (архетипический «С-ШВб»), способный вызывать иррациональную симпатию окружающих самим фактом своего существования, может быть обучен и простимулирован использовать это редкое дарование в благих целях. Подобный человек, чем бы он ни занимался, делает это с таким аппетитом, что всем хочется ему подражать. Ну так приобщите его к хорошему занятию — и выйдет польза.

С группой «Тело» в шестом семестре особенных трудностей не будет — за исключением одного проблемного индотипа, на котором я останавливаюсь подробнее.

«Атлеты-спортсмены» бывают двух типов.

К первому «**T-IAa**» («Атлет-спортсмен-риск») принадлежат те, у кого физическая талантливость сочетается с физической же смелостью, кого стимулирует и возбуждает риск. Школа потом покажет, какую дорогу лучше выбрать носителю данного индотипа. Он может и в самом деле стать спортсменом, занимающимся каким-то травматическим, опасным видом спорта. Может быть отличным солдатом, испытателем, спасателем и так далее.

Индотип «**T-IAb**» («Атлет-спортсмен-статик») не имеет адреналиновой зависимости и при возможности уклоняется от критических ситуаций. Зато вдобавок к телесной ловкости он обычно аккуратен, терпелив, любит рутину и быстро совершенствуется в своей профессии. Областей применения для такого человека более чем достаточно. Из него выйдет, например, отменный футболист-волейболист-бегун либо какой-то иной атлет «неопасного» вида спорта; из рабочих специальностей — скажем, монтажник, стропальщик, кровельщик, трубочист — причем мастер наивысшего разряда.

Что касается «атлетов-актеров», которым обязательно нужно демонстрировать свой талант публике, то легче всего работать будет с тем, у кого действительно есть, что продемонстрировать людям. «**T-IBa**» («Атлет-актер-сценик») имеет некий традиционный, очевидный для всех зрелищный талант: может прекрасно танцевать, или петь (это ведь зависит от голосовых связок, то есть от физиологии), или наделен завораживающе красивой внешностью, которой все хотят любоваться. Понятно, что потом нужно делать в школе с будущим певцом, танцором, цирковым артистом — это под силу и нынешней педагогике. Не умеют у нас лишь воспитывать красавиц и красавцев, что, конечно, тоже является сугубо физическим дарованием, а между тем природный талант этого рода часто бывает разрушителен для личности.

Это примерно то же, что родиться в очень богатой или привилегированной семье. Ребенок с раннего возраста ощущает свою исключительность, которая досталась ему без труда, даром, и это самоослепление мешает преодолевать жизненные препятствия, а стало быть развиваться. Рискну предположить, что при работе с феноменально красивыми детьми школьные педагоги должны будут искать в них какую-то иную склонность, пускай даже не очень явственную, но выводящую к профессии, для которой внешняя красота является мощной поддержкой. Бывают же актрисы и актеры вроде Греты Гарбо или Дугласа Фербенкса, любимые миллионами не столько за мастерство игры, сколько за поразительную красоту. Можно, например, стать «лицом» благотворительной организации и собирать пожертвования на какое-то великое дело. Нужно лишь, чтобы в процессе воспитания подросток уяснил: его красота — не выигрышный лотерейный билет и не ключ, открывающий любую дверь, а инструмент, которым нужно воспользоваться ради чего-то хорошего.

Но когда я предупреждал, что один из индотипов группы «Т» сулит педагогам немало трудностей, я имел в виду не ослепительных красавцев, которых в конце концов на свете единицы, а куда более распространенный тип «Т-IVb» («Атлет-актер-ситуативник»). Это физически одаренный, но очень непоседливый, плохо поддающийся воспитанию, однако обожающий находиться в центре внимания ребенок. Они есть в любом детском саду и любом школьном классе, вечная мука для воспитателя и учителя: озорники, хулиганы, возмутители спокойствия. Им трудно усидеть на месте, они не умеют концентрировать внимание, им скучна всякая статичность, в их маленьких телах будто вибрирует сжатая пружина или прячется чертик. Они обладают прекрасной моторикой, но не годны для спорта, потому что не выносят тренировки. Они склонны к картинности и эффектности, но из них не получится актеров, потому что для этой профессии требуются рутина и дисциплина. Их стихия — ситуативная импровизация (отсюда и название «ситуативник»). В нынешней реальности этот

индотип порождает всяких малопривлекательных особей: дерзких преступников, закоренелых развратников (пресловутый Дон Жуан безусловно типизируется как «Т-IVb»), инициаторов уличных беспорядков. Человек этого склада обычно физически привлекателен, смел и напорист, что притягивает к нему людей.

Задача педагогики здесь — обратить проблемные качества подобной личности на благо ей самой и обществу. Существуют профессии, и их немало, где этот индотип будет высоко востребован. Его дар быстро реагировать на спонтанно возникшую ситуацию, его бесстрашие, его страсть к лицедейству, жажда признания, даже страсть к рисовке превосходно подойдут для вождя бойскаутов, для военного разведчика, для ловца преступников (на которых наш «ситуативник» так похож). Золотое время для этих людей — война, из них получаются отменные герои.

О работе с «мастерами» («Т-II») скажу очень коротко, поскольку тут ничего мудреного нет.

«Т-IIa» («Мастер-макро-бионик») в моей классификации — человек, которому нравится работа с крупными формами живой природы. Из таких могут получиться гениальные садоводы или ландшафтные художники, а также ветеринары, которым (как ни забавно это звучит) лучше лечить слонов и буйволов, чем той-терьеров или попугаев. Растения будут сами лезть к этому человеку, животные — инстинктивно ему доверять. Только направьте этот талант по верной тропе, и мир станет немножко лучше.

«Т-IIb» («Мастер-макро-неорганик»), наоборот, хорош в работе с крупными материалами неживой формы: строитель, плотник, каменщик, металлообработчик и прочее. В школе установят, что у этого человека получается лучше всего.

В детях с талантливыми пальцами индотипы несколько отличной природы.

«Т-IIIa» («Мастер-микро-пластик») будет тяготеть к работе с мягкими материалами: тканями, глиной, пластилином и так далее. Из этих детей также могут получиться выдающиеся хирурги, а при развитом музыкальном

слухе артисты-исполнители, великолепно играющие на клавишных и струнных инструментах.

«Т-ПВб» («Мастер-микро-солид») — индотип, любящий твердые материалы. Он может стать виртуозным механиком или высококлассным слесарем, токарем, Schlosser (не могу вспомнить русское слово), настройщиком сложных аппаратов, при хорошем художественном вкусе — ювелиром.

Впрочем, сам я до такой степени не наделен способностями, присущими секции **«Т-П»**, что в любом случае предоставил бы разработку методологии с подобными школьниками более сведущим педагогам.

И про «Креативность». Переходя к четвертой, самой многочисленной группе выпускников трезориума, напомним, чем творцы этого склада отличаются от «теоретиков» группы **«Г»**, которые тоже способны рождать новые идеи и делать открытия. Различие коренное, так что опасности спутать два эти типа детей у педагогов почти нет.

«Головастики» всегда опираются на уже сложившиеся правила, на мнение авторитетов, на сумму знаний, которыми обладают, пусть даже эти знания в силу возраста невелики, — то есть это служители эволюции. Их внутренний темперамент приглушенной, они стремятся улучшить мир, а не перевернуть его.

«Креативисты» же с раннего детства проявляют неуважение к конвенциям и стремятся их нарушать, это прирожденные революционеры и бунтари, но — теперь уже в отличие от возмутителей спокойствия «атлетов-актеров-ситуативников» — их бунт не деструктивный, а созидательный. Они хотят разрушить старое не ради разрушения, а чтобы создать на развалинах нечто новое.

Как ни странно, педагогам работать с группой **«К»** почти так же легко, как с группой **«Т»**.

«Инвенторы-теоретики» без труда сепарируются на естественников и гуманитариев. Индотип **«К-IAa»** («Инвентор-теоретик-естественник») в ходе дальнейшего образования сам будет подсказывать школьным учителям сначала генеральную область своего призвания — физика это, математика, химия или какая-то иная наука,

Доминанта «К» («Креативность»)

К КРЕАТИВНОСТЬ

$\frac{K-I}{(инвентор)}$

$\frac{K-II}{(эстетик)}$

$\frac{K-I A}{(инвентор-теоретик)}$

$\frac{K-I B}{(инвентор-практик)}$

$\frac{K-II A}{(эстетик-курьер)}$

$\frac{K-II B}{(эстетик-акционист)}$

$\frac{K-I Aa}{(инвентор-теоретик-естественник)}$

$\frac{K-I Ab}{(инвентор-теоретик-гуманитарий)}$

$\frac{K-I Ba}{(инвентор-практик-механик)}$

$\frac{K-I Bb}{(инвентор-практик-блонник)}$

$\frac{K-II Aa}{(эстетик-курьер-иннажиист)}$

$\frac{K-II Ab}{(эстетик-курьер-руко)}$

$\frac{K-II Ba}{(эстетик-акционист-сценник)}$

$\frac{K-II Bb}{(эстетик-акционист-революционер)}$

а затем, уже в университете, постепенно определится конкретная заостренность этого пытливого ума.

То же будет происходить с «**К-IAb**» («Инвентор-теоретик-гуманитарий»). Постепенно школьник станет всё глубже проникать в интересную ему сферу гуманитарных знаний, будь то социология, психология, лингвистика, философия или, может быть, некая новая дисциплина, которую он же и откроет.

Обладатели практического интеллекта (ячейка «**К-IB**») — все естественники, и делятся они, в точности как «мастера-макро», на тех, кому интереснее то, что производится человеком, и тех, кому интереснее творения природы.

Первые — индотип «**К-IBa**» («Инвентор-практик-механик») — станут изобретателями новых машин и аппаратов.

Вторые — индотип «**К-IBb**» («Инвентор-практик-бионик») — будут с детства тянуться не к техническим устройствам, а к экспериментам с живой природой: к биологии, медицине, биохимии, биофизике и т.п.

Из «эстетиков» проще всего будет с «кунстлерами» (ячейка «**К-IIA**»). Талант этой направленности подобен пчеле, которая сама летит на привлекающий ее аромат. И сразу понятно, что в таком ребенке сильнее — художественное воображение или материализация возникающих в фантазии образов.

«**К-IIAa**» («Эстетик-кунстлер-имажист») — индотип, которому нет нужды в ловких руках и накоплении практических навыков, всё прекрасное здесь остается нематериальным или же материализуется кем-то другим: музыкантами, если речь идет о композиторе; строителями — если об архитекторе; полиграфистами — если о писателе или поэте.

Иное дело «**К-IIAb**» («Эстетик-кунстлер-руки»), который превращает свои видения в реальность собственными руками, создавая картину, скульптуру или какое-то другое произведение искусства. Хочу обратить внимание на то, что этот индотип — вследствие ошибки педагогов или особенностей развития ребенка — может быть спутан с «мастером», тоже обладающим талантливыми руками и способным делать прекрасные вещи. Что ж,

на стадии школьного образования никогда не поздно переклассифицировать «кунстлера» в «мастера». Лучше (а как правило, и прибыльнее) быть отличным ремесленником, чем посредственным художником.

Ячейка «К-ПВ» («эстетики-акционисты») объединяет два очень разных типа человеческой личности.

«К-ПВа» («Эстетик-акционист-сценик») создан для сцены в традиционном значении этого слова. Он создает художественные акции, которые публикой как таковые и воспринимаются: театр, кино, устройство праздников, карнавалов и прочего рода зрелищных мероприятий. Все революции, затеваемые подобным человеком, не выходят за рамки искусства.

Не то с «К-ПВб» («Эстетик-акционист-революционер»). Вот единственный индотип группы «К», с которым педагогам предстоит повозиться. Самая серьезная ошибка здесь — принять такого бунтаря (а это бунтарь, и с ним всегда непросто) за озорного «актера-ситуативника» группы «Т». Но «К-ПВб» не «бузотер ради бузы», а художник жизни, какими были футуристы времен нашей юности. Эти «креативисты» ногами сдирают с общества ороговевшую кожу, спасают его от ригидности и косности, раскрепощают сознание. Их эпатаж необходим человечеству, чтобы оно не разучилось встряхиваться, меняться, расставаться с предрассудками и фобиями. Честно говоря, я не очень знаю, как строить работу с такими детьми на стадии школы. Сам-то я сторонник конвенций и традиций, поведенческий эпатаж меня раздражает, но, несомненно, найдутся педагоги, которые придумают, как правильно сориентировать «акциониста-революционера», чтобы он нашел применение своему трудному дару.

Вот короткое, а стало быть упрощенное описание всех тридцати двух индотипов, которые можно определить на стадии трезорнума, то есть к восьмилетнему возрасту человека. Естественно, этой классификации недостаточно. «Шацзухе» только начинается. Уникальных тропинок не тридцать две, а столько, сколько людей на свете, то есть миллиарды. Однако вывести человека на его индивидуальную тропинку — уже задача школы,

каждый следующий класс которой будет корректировать и конкретизировать курс движения.

Конечно, моя теория насквозь умозрительна, ее еще предстоит проверить жизнью, внести необходимые коррективы, но положительный результат гарантирован, даже если я ошибаюсь в деталях. Заинтересованное и доброжелательное внимание, оказанное человеческой личности, всегда идет ей на пользу, в этом я уверен на сто процентов. Но работа предстоит огромная, и не только мне.

Рубрикационный код ученика, к выпуску из трезориума состоящий из четырехкомпонентного буквенно-цифрового сочетания, к концу десятого класса превратится уже в 14-значный, а это индивидуализация 32768-й степени. Высшее образование (для тех, кому оно необходимо по личным особенностям), перестроенное по тому же принципу, повысит точность еще на несколько степеней. Впрочем, здесь я попадаю уже в область совершенных фантазий, ибо так далеко в своих теоретических построениях пока не забирался.

— Не буду я касаться и очевидных организационно-финансовых трудностей превращения обычных киндergartenов в трезориумы. Конечно, здесь возникает множество вопросов. При переходе от семестра к семестру «класс» становится всё меньше, а кураторов требуется всё больше. Где взять столько подготовленных профессионалов? Откуда возьмутся деньги и специально оборудованные помещения?

Но это не моя забота. Если уж я, частный человек, в невообразимо тяжелых условиях войны и оккупации, в одиночку берусь устроить такое заведение, то в спокойные времена богатое государство или какой-то частный благотворитель тем более сумеют это сделать, были бы желание и разработанная методология.

Для начала довольно будет создать один экспериментальный трезориум, который продемонстрирует обществу результаты нового воспитания, и тогда очень многие захотят обнаружить в своих детях сокрытое сокровище. Лет через двадцать-тридцать окажется, что страны, проводившие у себя подобную педагогическую реформу, стремительно опережают в своем развитии тех, кто этого не сделал.

Впрочем, повторю еще раз, всё это не мое дело. Я не государственный деятель, я педагог. Моя задача — разработать систему и испытать ее. Дай мне боже умения и везения довести это великое дело до конца.

Я готов отвечать за то, что из моего трезориума ребенок выйдет с кодификацией, дающей довольно точную подсказку, какой образ жизни ему более всего подходит. В идеале должны существовать школы (или классы) тридцати двух разновидностей, приспособленные под нужды тридцати двух «индотипов». Выскажу предположение, что в школе обучение «непрофильным» дисциплинам, необходимым человеку для общего культурного багажа, должно для каждого индотипа строиться по-разному, с особым подходом, с «ключом», делающим, скажем, математику более понятной гуманитариям, а литературу более интересной для естестволюбца.

И всё, хватит про школу. Я сейчас целиком сосредоточен на злободневных проблемах устройства трезориума.

Вопрос финансирования — самый трудный из всех — решен. С преподавателями я тоже трудностей не ожидаю. Среди населения Гетто будет масса учителей, и всем понадобится заработок. Уверен, что желающих окажется более чем достаточно и я смогу путем собеседования отобрать самых пригодных, кто искренне увлечется идеей и кто способен быстро обучаться. С набором воспитанников будет того проще. Приюты переполнены сиротами.

Главное, очень досадное препятствие для проведения полноценного эксперимента в другом. Для полноты картины желательно было бы получить к концу срока представителей всех тридцати двух индотипов, а это значит, что с учетом малочисленности группы «Ж», следовало бы набрать хотя бы сотню пятилетних детей, разделив их на четыре «потока», каждый со своим комплектом преподавателей. Но мне не найти и не оборудовать четыре пригодных пространства, да и моей пиратской добычи не хватит на то, чтобы содержать такое количество детей и педагогов целых три года. Придется ограничиться всего одним «поток» из двадцати пяти детей, а значит картина получится неполной. Как жалко!

О, ДАЙТЕ МНЕ ТОПОР ЧУДЕСНЫЙ!



Поднявшись наверх покурить и глотнуть свежего воздуха (одно как-то не мешало другому), Таня засмотрелась на сдвоенную звонницу Магдалининской церкви, что торчала над острыми крышами Ноймаркта. Гудел «Колокол Грешников» — огромный, знаменитый на всю Силезию. Звал на позднюю службу. Вечерняя бомбежка недавно закончилась, ночная начнется еще не скоро.

Небо было трехцветное, как старый германский флаг: черное сверху, желтое и красное внизу, где польхали пожары. Нет, больше похоже на преисподнюю, подумала Таня, выпуская дым носом. А когда над площадью, хлопая крыльями, пронеслась большая черная птица (ворон, кто ж еще), сходство сделалось полным. Нормальный германский ад.

Курить она начала, потому что после тети остался запас сигарет. Не пропадать же добру. И табак здорово прочищал ноздри от дивных больничных запахов: гноя, крови, рвоты, мочи. А еще, пока куришь, можно о чем-нибудь размышлять. Надо же человеку, которому не с кем разговаривать, о чем-то размышлять. Иначе свихнешься.

О чем бы таком подумать? Какую из пакостей вспомнить? Больше-то в жизни все равно ничего не было.

И стала вспоминать все подряд, с самого начала.

Права была покойная *тантхен*. Я смертная грешница. Колокол звонит по мне. Вся моя жизнь — экскурсия в ад, с круга на круг, всё ниже. На скольких же кругах я побывала?

Принялась считать.

Первый, самый верхний круг назывался «Ожидание Беды».

Беду дома ждали всегда, сколько Таня себя помнила. Родители готовились к «черному дню», когда «грянет

гроза». Теперь-то времена, когда гроза еще не грянула, а только сулилась, вспоминаются почти идиллически.

Отец тогда был еще плотный, с мясистыми, ароматными от бритвенного крема щеками, очень спокойный. Мать подвижная, ртутная, всегда или приподнято оживленная, или готовая расплакаться. Как они уживались, такие разные? Он золотистый и круглый, как апельсин; она черно-белая, угловатая, резкая, маленькая. Хотя что ж — противоположности притягиваются. Мать будоражила флегматичность отца, он приглашивал материнскую нервозность. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Кстати, мама говорила, что, когда этот «немецкий поляк» сделал ей предложение, она больше всего пленилась его фамилией. Попала из теплой, живой, родной России на холодную, мертвую неметчину — и вдруг жених по фамилии Ленский. С душою прямо геттингенской.

Родись отец с матерью в другое время или живи в какой-нибудь Америке, наверняка провели бы свой век счастливо. Никогда не скучали бы — ссорились, мирились, мать колотила бы посуду, потом они вместе покупали бы другую, красивее прежней.

От отца Тане досталась только сдержанность, некая замороженность — не в чувствах, нет, а в их внешнем проявлении. От матери — музыкальный слух и длинные, гибкие пальцы, способные дотянуться от «до» к «соль» через октаву. До эмиграции, еще в Петрограде, мама занималась в консерватории, и дочь тоже была обречена учиться музыке.

Лицом Таня пошла в обоих. По матери было сразу видно, что еврейка; отец — по-славянски картошистый (так мама говорила). Дочь получилась голубоглазой блондинкой с чуть еврейстым носом, даже аристократично.

Жили они сначала в Лигнице, в той части Силезии, что по плебисциту 1921 года отошла к Германии. Папа работал на шахте главным инженером. Сейчас, в сорок пятом, Тане было даже странно вспоминать ту уютно устроенную жизнь. А вот матери по сравнению с ее утраченным раем, «Питером», провинциальный Лигниц казался адом — у фрау Ленски был свой отчет кругов преисподней.

Спокойных времен Таня не застала или же по малолетству не запомнила. Дома все время говорили про каких-то «коричневых», от кого добра не жди, и Таня с детства не любила этот цвет.

Гроза, которую всё ждали, грянула осенью тридцать восьмого, когда Тане было одиннадцать.

Погромыживало, конечно, и раньше. С пятого класса все немки вступили в «Юнгмедельбунд», и сразу же между девочками, вчерашними подружками, будто выросла стена. Двадцать лицейсток носили черные галстуки, держались вместе, обсуждали общие интересные дела, а шесть, три польки и три еврейки, остались в стороне, каждая сама по себе, потому что объединяться в отщепенстве никому не хочется.

Раньше Tanja Lenski чувствовала себя в классе принцессой. Ее папа был Herr Chefingenieur, который иногда заезжал за дочерью на большом автомобиле, у нее были самые красивые беретки, гольфы, пеналы. И настоящая вечная ручка, которой все завидовали. Теперь Танин статус сильно упал, но все-таки она оставалась «первой из последних», «самой приличной» из полек. Про то, что мать у нее еврейка, в школе не знали — на родительские собрания всегда ходил отец. Директриса фрау Шульц, хваставшаяся, что умеет распознавать семита хоть в четвертом поколении, в Тане ничего еврейского не видела, но маму, конечно, сразу бы раскусила.

Только теперь Таня начала внимательно прислушиваться к вечным родительским разговорам: уезжать или не уезжать, а если уезжать, то куда. В Америке хорошо, но язык, но работа. В Польше таких проблем нет и есть шахты, но нет хорошей вакансии, а идти рядовым инженером обидно и маленькая зарплата. Да и антисемитизма в Польше тоже хватает.

И вот в ноябре тридцать восьмого бесконечные унылые разговоры закончились. Их оборвал раскат грома. Через неделю после «Хрустальной ночи», которой Таня не видела, только разбитые витрины и кривые надписи на еврейских магазинах, из ратуши пришла повестка. «Многоуважаемой фрау Ленски» предписывалось встать на учет согласно национальности и зарегистрировать дочь как «полукровку первого разряда».

Начался массовый отъезд тех, кому было куда уезжать. Снялась с места и семья Ленских. Перебралась недалеко, на ту сторону границы, в польский Катовице.

И Таня попала во второй круг ада. Наступило «Время Стыда».

Мир будто вывернулся наизнанку. Раньше это он был плохой, а Таня была хорошей, несправедливо обиженной. Теперь же плохой стала она. Превратилась в лживую поганку, в предательницу.

В Катовице тоже пришлось скрывать мамино еврейство, но по причине стыдной. В Германии считается еврейкой было опасно, а здесь просто зазорно.

Однажды Таня шла с мамой по улице, и встретились две девочки из класса. Потом спрашивают: а что это за еврейка с тобой шла, нарядная такая? И Таня, покривившись, ответила: «Мачеха. Папа второй раз женился».

Тут еще дело в том, что ее отдали в самую лучшую школу, а школа была католическая, то есть совсем без евреев. Тане и так пришлось нелегко. У нее был не такой выговор, все предметы шли на польском, а она то и дело сбивалась на привычный немецкий и получила кличку Немка, бранное слово. Еще и возраст такой, когда дети выстраивают стаю и всегда кто-то оказывается наверху, а кто-то внизу.

Слава богу, почти сразу завелась подруга, очень хорошая девочка. Таня после математики, на перемене, осталась за партой. Давилась слезами, переживала, что вместо «osiem do kwadratu» ляпнула «Qadrat von acht» и все засмеялись.

Подошла маленькая девочка со скуластым, в коричневых веснушках, лицом. «Да ладно, — сказала. — Плюнь. Они не любят всех, кто на них не похож. Меня тоже не любят. Потому что я прямая и всегда говорю в глаза, что думаю. Я — Кася. Хочешь, будем дружить?»

В Германии подруг у Тани не было, потому что с польками и тем более с еврейками водиться она не хотела, а немку приводить домой боялась — еще увидит маму, догадается.

А оказалось, что дружить очень здорово.

Каси и правда чурались. Но не из-за того, что она прямая. Однажды Таня услышала, как подругу обзывают «палачкой». Та обернулась, быстро сказала: «Не верь!» Потом объяснила, что ее папа служит в тюрьме и какая-то гадина распустила слух, будто он «исполняет» — вешает приговоренных, а это брехня.

Но однажды пришла зареванная, взяла страшную клятву молчать и рассказала, что папа действительно «исполняет». Накануне она случайно подслушала родительский разговор — что без этого за хорошую школу платить было бы не по карману. «Я палачка, я дочь палача! — рыдала Кася. — Он трогает, гладит меня по голове, а я думаю: этой самой рукой...»

Такая она была несчастная, безутешная, что Таня тоже призналась ей в своей страшной тайне: что ее мама — никакая не мачеха. Рассказала еще и потому, что дочерью палача быть намного хуже, чем дочерью еврейки. Они обнялись, хорошо поплакали.

Дружить с тем, кто несчастнее тебя, легко. Кася в этом смысле была просто идеальной подружкой. Она мучилась из-за веснушек, которые никак не могла вывести, переживала, что у нее только два платья, и оба старые. А еще их очень объединяла ложь, только Касино вранье про папу было много хуже.

В начале следующего учебного года произошла короткая война, в польскую Силезию как-то очень быстро вошли немцы, присоединили ее к Рейху, и город Катовице превратился в Каттовиц, административный центр области «Гау Обершлезии».

Тогда Таня провалилась в третий круг ада. Он назывался «Время Страха», с «Временем Стыда» даже не сравнивай. Стыд — это роскошь. Его могут позволить себе те, кто не трясется от ужаса.

Новая власть сразу дала себя почувствовать. Все улицы переименовали на немецкий лад, польский язык в общественных местах запретили, поляков стали выгонять из Силезии.

С евреями обошлись еще круче. Заставили всех явиться на места сбора, погрузили в поезда и куда-то увезли.

Смешанные семьи, правда, пока не тронули, но маме выдали бедую повязку с шестиконечной звездой и надписью Jude. Без нее появляться на улице запрещалось, поэтому мать почти перестала выходить из дома. Даже в аптеку.

А в аптеку приходилось наведываться часто. Заболел отец. Сох, желтел, скрипел зубами от боли. Он уже не был похож на золотистый апельсин, скорее на засохший лимон. Однажды ночью Таня подслушала, как он плачет и говорит: «Мне нельзя умирать, нельзя. Тебя депортируют, Танечку заберут в детский дом».

Она знала, о чем речь. С вдовы нееврея снимаются ограничения на депортацию. А с полукровками поступают так: если внешность семитская — тоже увозят; если арийская — отправляют в интернат, на перевоспитание. И то и другое было страшно. Еще страшнее, чем мысль, что отца не станет.

Папа держался изо всех сил, не умирал. Но Таня старалась проводить дома как можно меньше времени. Там пахло лекарствами, смертью и страхом.

Так продолжалось до 20 января 1941 года. Этот день — отдельный круг ада. Короткий, но крошечный. Название ему «Черный Омут». Если бы Таня умела забывать — вообще вычеркнула бы его из памяти.

В тот день Тане исполнилось четырнадцать. Отца месяц как не стало, но, как ни странно, из-за этого жизнь сделалась чуть менее страшной. Все-таки ужасно было, просыпаясь ночью, слушать, как он скрипит зубами, чтоб никого не разбудить. Лучше бы стонал. Маму — она вечно цитировала какие-то русские стихи — будто заело. Все время, с утра до вечера, бормотала одно и то же стихотворение Бальмонга, где герой сорвался в пропасть и не может оттуда выбраться.

О, дайте мне хоть знак оттуда,
Где есть улыбки и цветы,
Я в преисподней жажду чуда,
Я верю в благость высоты.
Но кто поймет? И кто услышит?

Я в темной пропасти забьт.
Там где-то конь мой тяжело дышит,
Там где-то звонок стук копыт.
Но это враг мой, враг веселый,
Несется на моем коне.
И мед ему готовят пчелы,
И хлеб ему в моем зерне.
А я, как сдавленный тисками,
Прикован к каменному дну
И с перебитыми руками
В оцепенении тону...

И снова. И снова. Это было невыносимо!

Но жизнь все равно была прекрасна. В ней происходило небывалое, невероятное, по сравнению с чем остальное не имело значения.

При оккупации школа стала совместной, потому что сокращали число польских учебных заведений и закрыли лицей для мальчиков.

И всё изменилось.

Таня давно уже перестала быть паршивой овцой. Прозвище Немка за ней сохранилось, но теперь оно звучало совсем иначе, и Танин идеальный немецкий стал серьезным плюсом. Главное же — она научилась правильно себя вести. Могла бы быть первой ученицей, но предпочитала числиться второй, потому что главную отличницу всегда недолюбливают, а Таня хотела, чтобы ее любили. Поэтому она ни с кем не ссорилась. Старалась не слишком разряжаться, хотя мама все время пыталась переделать для нее какие-то свои платья, без пользы висевшие в шкафу. Таню охотно приглашали на дни рождения, потому что она всегда делала хорошие подарки.

А перед рождеством в классе появился новый мальчик, Збигнев Красовский. Именно Збигнев, называть себя Збышеком он не разрешал.

Тонкий, высокий, белокожий, не по-мальчишески сдержанный, подтянутый, с военной выправкой. Раньше он был кадет, сын полковника. Красовского-старшего еще осенью тридцать девятого, во время

«Intelligenzaktion», операции по истреблению польской элиты, расстреляли немцы. Тане казалось, что на Збигневе лежит тень благородного трагизма. Он был похож на Андрея Болконского.

Девчонки влюбились в него чуть не поголовно. Мальчишки, понятное дело, возненавидели. Но Красовский, казалось, ничего этого не замечал. Он был сам по себе и внутри себя. Наверное, это больше всего к нему и притягивало.

Таня решила, что у нее есть преимущество перед остальными. Она ведь тоже потеряла отца, причем только что. Стала ходить в школу с траурной повязкой, а оказавшись рядом со Збигневом, придавала лицу скорбное выражение. Пусть видит, что у них родство душ.

Но нет, не помогало.

И вдруг, незадолго перед днем рождения, всё чудесно переменилось.

Они с Касей шли после уроков и увидели, как в подворотне Збигнев дерется с классным хулиганом Лапой и его приспешником Пинчуком. Драка была странная. Збигнев просто держал Лапу двумя руками за горло и не отпускал, а тот колошматил его кулаками по ребрам, Пинчук сзади пинал ногами.

Таня обмерла от ужаса, завизжала. Кася же без колебаний, с криком, ринулась вперед, отпихнула Пинчука, вцепилась в волосы Лапе — и те отстали, ушли.

Когда всё кончилось, Таня подошла с платком в руке, протянула Збигневу. Он посмотрел на нее своими волшебными зелеными глазами, улыбнулся окровавленным ртом:

— Спасибо.

А Касе, которая вся дрожала, оцупывала ему плечи, с раздражением бросил:

— Да пусти ты!

Потом, оставшись вдвоем с разревевшейся Касей, счастливая Таня объясняла подруге:

— Как ты не понимаешь? Он гордый. Ему неприятно, что его спасла девчонка. А ты молодец. Не то что я, трусиха.

— Я видела, как он на тебя смотрел! — всхлипывала Кася. — Если бы он так посмотрел на меня...

Несказанно изумившись, Таня спросила:

— Ты что, тоже в него.

Ей и в голову не приходило, что нескладная, некрасивая, конопатая Кася всерьез может думать, будто Збигнев обратит на нее внимание *в этом смысле*.

— А что я, не человек?! — вспыхнула Кася.

20 января Таня шла в школу в приподнятом настроении. У нее составилась смелый план. Мать испекла свой миндальный пирог — по старинному петербургскому рецепту, с изюмом и корицей. Продала ради этого серебряный браслет какой-то особенной «морозовской» работы. Денег у них тогда уже почти не было, но после смерти мужа мама стала относиться к Тане с болезненной, почти истерической нежностью. Таню это только раздражало — как почти всё, исходившее от матери.

Пирог был разрезан на 32 одинаковых куска, чтобы угостить всех в классе. На один Таня положила шоколадное сердечко, давно припасенное. Подошла к Красовскому и показала: «Это тебе». Он, когда брал, чуть задержал ее руку в своей и тайком погладил снизу ладонь пальцем. Это было счастье, настоящее счастье.

Но Кася стояла близко, увидела. Ее лицо чуть дернулось, потом брезгливо скривилось. Чуть откусив от пирога, подруга выплюнула крошки.

— Господи, они даже в миндальный пирог свой чеснок добавляют!

— Кто они? — спросил кто-то.

— Евреи. У нее ведь мать — жидовка. Никакая она не мачеха. Ленская всё вам врет, она полужидовка.

Стало очень тихо. Таня, замерев, смотрела на Збигнева. А он тоже сплюнул, швырнул пирог на парту. Шоколадное сердечко отлетело, переломилось пополам.

Больше Таня ничего не видела — мир заволокло слезами.

Задыхающаяся, полуослепшая, она бросилась прочь из класса, зная, что больше сюда не вернется. После этого — никогда.

Добежала до дома, принялась судорожно жать на звонок.

Мать открыла бледная, какая-то непривычно тихая, будто погасшая.

— Мама, я в школу ходить не буду! С этим кончено!

— Уже знаешь? Откуда? — вяло удивилась мать.

В руке у нее был бланк с типографским текстом и отдельными словами, вписанными от руки. Таня взяла, прочитала.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Семье Ленских

31 января 1941 года в 8.30 утра вам надлежит явиться на *Центральный вокзал ко 2 подъезду*.

При себе иметь:

- По две фотокарточки.
- Удостоверения личности.
- Документы, касающиеся гражданского состояния.
- По пять рейхсмарок.
- А также личный багаж не более двух мест на человека, причем в обязательном порядке:
 - теплые пальто и обувь;
 - комплект рабочей одежды;
 - рабочую обувь;
 - одеяло;
 - по два полотенца;
 - по два комплекта нижнего белья;
 - туалетные принадлежности;
 - металлическую посуду: миску, кружку и ложку;
 - сухой паек на одну неделю, расфасованный в семь емкостей.

Внизу — штамп и подпись.

— Что это? Мы уезжаем?

— Это то, чего я боялась. Повестка на депортацию, — глухо сказала мать. — Господи, я одна... Мы одни. И посоветоваться не с кем...

Таня молчала. Новость ее не испугала. Подумалось. куда угодно, только не снова в школу.

— Что нам делать, Танечка?

— У нас есть выбор? — грубо ответила она. — Только не реви, а?

— Конечно есть... — Беспомощные карие глаза наполнились слезами. — Мы много раз говорили об этом с Фадеем (так, на русский лад, она называла отца, хотя он был Тадеуш). Что нужно бы отвести тебя в детскую приемную комиссию. Разлучаться ужасно, и про интернат рассказывают страшное, но лучше уж туда, чем...

Заплакала.

Вряд ли интернат хуже католической школы, мрачно сказала себе Таня. По крайней мере не придется врать и страшиться разоблачения.

— ...Но туда берут до четырнадцати лет, а тебе сегодня как раз...

Мать опять не договорила, сорвался голос.

— У Фаддея в Бреслау старшая сестра Беата, но я ее совсем не знаю. Никогда не видела. Она монахиня или что-то такое... Написать ей? Но она испугается. Это же укрывательство... С этой повязкой на рукаве, с этим проклятым лицом, — мать ударила себя по щеке, — я даже не могу тебя отвезти туда, посмотреть на эту Беату, поговорить с ней... А одна ты никогда никуда не ездила... Да и как? С документами полукровки? Господи, что делать?

Таня молчала. Она вспоминала, с каким отвращением посмотрел на нее Збигнев, и не хотелось жить. Пусть будет что будет, плевать.

— Не поедешь? — жадно спросила мать. — И правильно! Лучше быть вместе, а там как получится. Да? Да?

Четырнадцатилетняя дурочка пожала плечами. И переместилась в следующий круг ада. Имя ему «Нет Прощения».

Продолжался он восемь дней.

Что это принципиально иной уровень преисподней, не сравнимый по своей жестокости с прежними, стало ясно сразу, прямо на вокзале.

Там на перроне лежала большая куча вещей, которые не входили в установленную норму. У матери отобрали чемодан, куда она напихала свои любимые русские книжки. (Потом, в дороге, выяснится, что кроме книг она ничего толком и не собрала.) Мать плакала, умоляла, в конце концов сунула за пазуху томик Пушкина. При этом не заметила, как выронила сверток с купленным на все деньги изюмом, идиотка. Овчарка, специально натасканная распалаться на страх, рванулась с поводка, зашлась бешеным лаем. Мать шарахнулась, упала. Полицейские засмеялись. Всё это было ужасно.

Потом, в товарном вагоне, где, судя по грязи и запаху, раньше перевозили свиней, Таня сама пришивала шестиконечную звезду. Старший сказал, что иначе накажут. Мать не смогла попасть ниткой в иголку, у нее тряслись руки.

Тронулись нескоро и ехали очень медленно, подолгу стояли, пропуская другие поезда. Наружу никого не выпускали, только дежурных за водой. Один угол завесили тряпкой, сделали уборную. Куда везут, никто не знал. Куда-то на север.

Мать, всегда подвижная, нервная, сидела всё время в одной позе, ничего не ела, смотрела перед собой широко открытыми глазами. В первый день всё повторяла:

— Что я натворила... Что я натворила... Я утащила тебя в могилу... Я твое несчастье. Если бы не я, если бы меня не было...

Потом замолчала, о чем-то сосредоточенно думая, но Тане было не до нее. Она думала: да, да, ты утащила меня с собой, из эгоизма, из страха остаться одной.

На четвертый день поезд грохотал по длинному мосту через широкую реку. Дверь вагона, несмотря на холод, была открыта, потому что без этого задохнешься.

Мать сказала:

— На.

Вынула из-под пальто томик, отдала. Стала подниматься. Таня подумала, ей надо в уборную.

— Прости, — сказала мать. — Прости меня.

И с неожиданной легкостью разбежалась, прыгнула в освещенный прямоугольник.

Таня закричала. Другие тоже.

— Остановите! Человек упал! Остановите!

Но поезд, конечно, не остановился.

Высунулась наружу — никого. Будто матери и не было.

Все последующие годы Таня мысленно разговаривала с ней, просила прощения и не получала. Разве что станет читать Пушкина и вдруг услышит мамин голос. Но он звучал редко.

Однако и это было еще не самое дно. Дна Таня достигла, когда состав прибыл в Гетто.

На сортировке, где решали кого куда, из-за одинокой девочки-подростка возник короткий спор. Ее судьбу решали двое усталых людей с сине-белыми жетонами на груди (там по-немецки и по-польски: «Ordnungsdienst. Szűba porzadkowa»).

Один сказал:

— Куда ее? Четырнадцать лет, ни то ни сё. В приюте даже для маленьких места нет.

Второй на секунду оторвался от списка, глянул.

— Какой приют? Погляди на нее — сиськи торчат. В «девишник».

Первый вздохнул.

— У тебя тут есть какие-нибудь родные, знакомые?

Она помотала головой.

Опять вздохнул.

— Ну, хоть будет крыша над головой. И с голоду не умрешь.

Дал бумажку с печатью, объяснил, куда идти.

Улица была очень грязная, заполненная серыми, чужими людьми, но после тесного, смрадного вагона, от куда не выйдешь, Тане казалось, что она на свободе. Что худший кошмар остался позади.

Это потом она узнала, что в «девишнике», казарме для одиноких девушек, основной контингент составляют несовершеннолетние преступницы из тюрем и колоний.

Отыскала номер дома, вошла в длинное помещение, где вдоль стены тянулись нары. Было наполовину темно, со света мало что разглядишь, еще и густо накурено.

У длинного стола сидели какие-то нечесанные, страшные, полураздетые, дымили самокрутками. Словно черти в аду, подумала Таня, остановившись на пороге.

— У меня направление... — сказала она.

Стали оборачиваться.

— Гляди, новенькая. С воли, неоципанная.

Обступили, выдернули из руки саквояж, стали вертеть, толкать. Таня только вскрикивала. Стянули пальто, сразу несколько рук вцепились в юбку.

— Чур, корки мои! — крикнул кто-то снизу и вцепился в щиколотку. — Съмай! Я тебе свои галоши дам!

Завопив от ужаса, Таня дернулась, вырвалась, кинулась к двери — без пальто, без берета, чуть не потеряв наполовину сдернутый бот. И еще долго потом бежала не разбирая дороги.

Из вещей уцелела только книжка. Таня держала ее под свитером. На груди, как мать.

Так она осталась в Гетто без крова, без еды. И оказалась в нижнем, по счету шестом, круге, хуже которого уже нет. Это был «Ад Слабости».

Днем было минус пять, а ночью и минус десять. Но холод не самое страшное. Пока не начался комендантский час, можно зайти в какое-нибудь учреждение или заведение, греться, пока не выгонят. Для ночевки тоже нашлось место: под теплой стеной котельной. Если тесно прижаться, а сверху накрыться картоном, не околеешь.

Но куда спрячешься от голода? Все мысли, все заботы теперь были только о еде.

В первый день Таня на толкучке обменяла часики на каравай хлеба и по глупости весь его съела.

Потом был ужасный день, День Яблочного Огрызка, подобранного на земле. Больше ничего не досталось.

Третий день — День Картофелины, неплохой. Таня сидела на тротуаре, совсем обессиленная, грелась паром, поднимавшимся из решетки коллектора, и задремала. Открыла глаза — на коленях лежит печеная картофелина. Будто напоминание о том, что не всё в мире зло. Но от этого маленького чуда Таня стала еще слабей.

Разнюнилась, заплакала. Кто ты, добрый человек? Вернись! А никого нет.

Потом был День Пустоты, когда Таня окончательно поняла, что не бывает ничего хуже слабости. Вот философы веками спорят о Добре и Зле, а всё очень просто. Добро — это сила, Зло — слабость. Хорошо всё, что делает тебя сильнее. Плохо всё, от чего ты слабеешь. Превращаешься из человека в червяка.

Дна Таня достигла на пятый день голодовки. Ничего съедобного до самой темноты не добыла. А вечером, в пустом переулке, встретила старуху. Идет, прижимает к груди кастрюльку — и пахло супом.

Ни о чем не думая, Таня шагнула, ухватила за теплый металл. Старая ведьма взвизгнула, не отдает. Так, пыхтя, и тянули каждая в свою сторону. Обе полудохлые, заторможенные. Но и здесь Таня сплеховала. Даже старуха была сильнее. Толкнула так, что Таня бухнулась наземь.

Шарканье ног — и никого. Но немного супа расплескалось. Таня увидела на асфальте кусочек вареной моркови. Всегда, с детства ее ненавидела, а тут схватила — и в рот.

И будто очнулась. Посмотрела на себя откуда-то сверху — с крыши, или с неба.

Сидит на грязной земле грязная оборванка, переставшая быть человеком. Зачем всё это? Ради чего? Вот мама была дура, а поступила умно. Главное — даже не нужно делать никаких усилий, разбежаться, прыгать. Все равно и сил таких нет. Достаточно просто отползти в закоулок и свернуться калачиком. Сначала будет холодно, но потом задубеешь, уснешь, не проснешься. Мало она по утрам видела замерзших покойников?

Так бы Таня и поступила. Уже и хороший тупичок нашелся, глухой, куда ночью не забредет какой-нибудь доброхот. Но выглянула луна, осветила каменный угол, и оказалось, что место занято. Там, обхватив себя руками, в позе зародыша лежит мертвая женщина. А на голове у нее деловито возятся две коричневые крысы.

В этот миг ноги и коснулись дна. А дно — оно твердое. Дальше скатываться уже некуда. Об дно можно разбиться — или можно от него оттолкнуться. Как от точки опоры.

Это был не ужас. Ужас парализует. Это было лютое отвращение, которое заставляет отпрянуть. И ненависть, побуждающая к действию. Ненависть к слабости, к смерти.

Таня сама ощерилась, как крыса. Нет, она не умрет! Она не мать! Всё преодолет, всех переживет! Коричневые твари не будут грызть ее труп!

И вспомнились строки из проклятого бальмонтовского стихотворения. Мать всегда их пропускала, а они там были.

О, дайте мне топор чудесный!
Я в камне вырублю ступень
И по стене скалы отвесной
Взойду туда, где светит день!

Не то чтоб после этого Таня выбралась из ада, нет. Но перестала его бояться, а себя считать жертвой. Если мир таков, если в нем Зло — сила, она будет сильной. Если мир — дремучая чаща, она будет волчицей.

Всё, что казалось нерешаемым, упростилось. Непреодолимые преграды потрескались. Оказалось, что жить можно и в аду. Во всяком случае выжить.

Еда в Гетто была, и много. На рынках, в лавках, на лотках уличных торговцев. У спекулянтов — вообще всё, что угодно. Но украсть товар было невозможно, даже наглые беспризорники этим не промышляли. Не из-за еврейской полиции, а из-за «Двенадцатки», которая следила за куплей-продажей и собирала с торговцев мзду. Кто-то из этой непонятной, вездесущей организации обязательно дежурил в каждом бойком месте. Назывались такие люди «сборщики». Таня уже знала: под их бдительным надзором с прилавка ничего не утащишь. Догонят, поймают и забьют до смерти. Пару раз она подобные сцены видела, причем колотили даже не за кражу, а за какую-то мелкую провинность.

Но пробудившаяся внутри сила подсказала другой путь. Безумно наглый, но менее опасный. Когда кто-то за чем-то приглядывает, на самого себя у него внимательности не хватает. Опять же человек, слишком уверенный в себе, теряет бдительность.

Ограбить грабителя — вот что нужно.

Целый день, мучимая голодом, она приглядывалась, примечала, выбирала жертву. Остановила выбор на сборщике по кличке Няня. Его прозвали так, потому что несколько раз в день он обходил подконтрольные точки, толкая перед собой детскую коляску, — складывал в нее добычу. Никто не перечил, все знали правила. Должников Няня охаживал резиновой дубинкой. Те только вжимали голову в плечи, прикрывали лицо от ударов. Окружающие отворачивались. Таня заметила, что, когда Няня совершает свой обход, на него вообще стараются не смотреть. На это и был ее расчет.

Перед вечером, когда уже смеркалось, Таня пристроилась за сборщиком, выжидая удобный момент. Бояться совсем не боялась. Страх, в той или иной форме мучивший ее с детства, закончился. Навсегда. Его выдавили отвращение и ненависть.

Вот Няня прицепился к торговцу нитками, чего-то от него требовал. Тот жалобно тряс головой. Сборщик схватил бедолагу за грудки, принялся колотить затылком о стену.

Вокруг сразу стало пусто. Куда ни посмотришь — одни спины.

Таня танцующей походкой прошла мимо. Одной рукой хватать из коляски банку консервов, другой какой-то пакет. Не торопясь проследовала дальше. И никто ничего!

Воровать у вора оказалось так легко, что она даже рассмеялась. Притом ведь он ни черта не заметит, у него в коляске всякого добра навалом, без счета.

В банке был зеленый горошек, в пакете килограмм риса.

Первой своей добычей Таня распорядилась рачительно. За рис на три дня сняла комнату в подпольной гостинице (их в Гетто было много). А горошинки съела

медленно, по одной, смакуя каждую. На это ушло часа два, и потом накатила невероятная блаженная сытость. Таня где-то читала, что лисица после удачной охоты наедается на несколько дней вперед. Лежит, не может встать. Вот и она так себя чувствовала. Впервые за бог знает сколько времени валялась на настоящей кровати, в тепле, смывшая всю накопившуюся грязь. Размышляла. Это естественный отбор, как у матушки-природы. Слабые подыхают, и их жрут крысы. А я буду сильной, никто и никогда меня не сожрет. Придет время — снова пойду охотиться.

Наверное, это тоже был круг ада, седьмой: «Круг Ненависти и Силы». Очень возможно, что Таня перестала бояться чертей, поскольку сама превратилась в черта. Но ей так нравилось больше. Как мир с ней, так и она с ним.

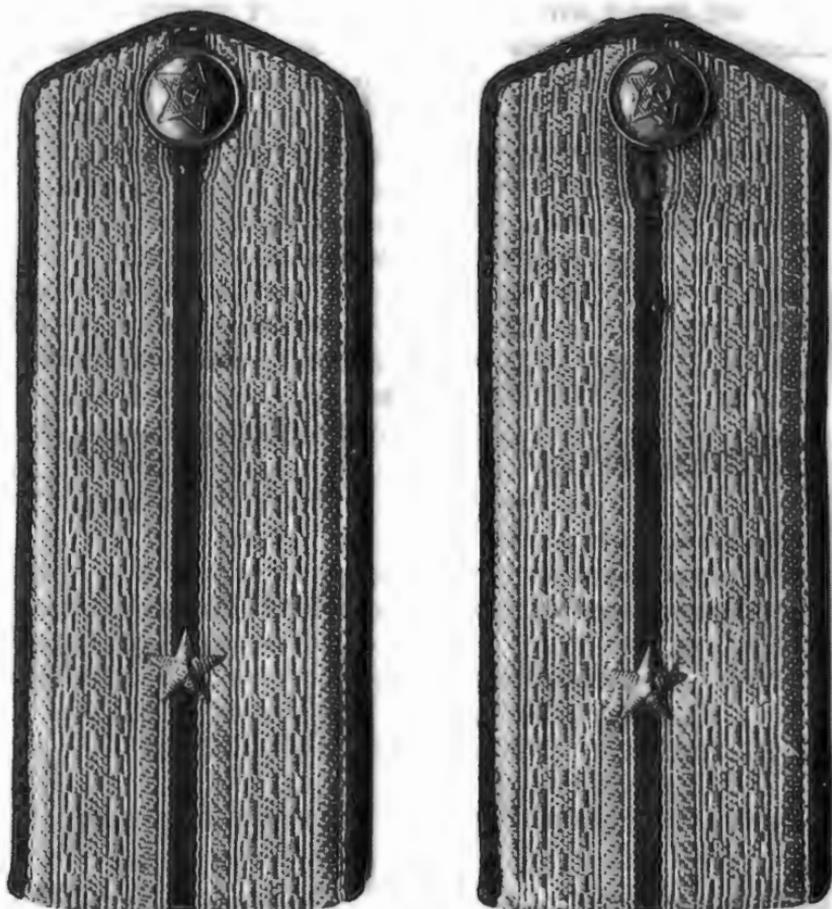
— Эй, Хильдегард Фукс! Долго будешь прохлаждаться? А кто понесет бинты на стерилизацию?

Это из двери бункера высунулась старшая сестра, жирная стерва.

— Иду, фрау Решке, — сладким голосом отозвалась Таня.

Затянулась еще разок, бросила сигарету, пошла. Вечер воспоминаний закончился.

**В СВЕТЕ ПРИКАЗА
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ НОЛЬ ДВА**



Жорка появился на вокзале в двадцать пять минут одиннадцатого, когда Рэм уже перестал ждать. Не ушел только потому, что не мог решить куда. Идти сдаваться в кадры, на сутки позже всех, было стремновато — не загреметь бы на гауптвахту. А она при комендатуре. Еще столкнешься с кем-нибудь из вчерашних патрульных... Склонялся к тому, чтоб вернуться к Филиппу Панкратовичу. Раз дивизионная разведка накрылась, может, пусть правда подыщет что-нибудь здесь, в городе. Но представил, как будет мямлить, а подполковник посмотрит, и в глазах прочтется: все-таки не железный стержень, а подушка, Антохина кровь.

Поэтому когда Уткин издали заорал «Салют, Хамовники!», Рэм ужасно обрадовался. Даже полез обниматься.

От Жорки несло спиртом, притом свежесвыпительным, не перегаром.

— Обнимаешься, иуда, — сказал старший лейтенант. — А где ты вечером был, когда товарищу приходилось трудно? Никто не сказал Жорке заветных слов «Лычково-Винница».

— Нажрался? — спросил Рэм, улыбаясь.

Старший лейтенант с достоинством ответил:

— Не удержал нормы. Устраивал твою к-карьеру, выпил с полезным человеком. Потом провел ночь на большом подъеме, а с утра пришлось поправлять здоровье, и опять увлекся. Но всё путем. Ситуация под к-контролем.

Говорил он почти нормально, только немного запинаясь, если слово начиналось на букву «к».

— Договорился про меня?

— Ситуация под к-контролем, — повторил Уткин. — Зайдешь, получишь предписание — и вперед.

— Так идем!

Жора хитро улыбнулся:

— Успеется. Есть более интересное предложение. Слушай мою к-команду. За мной, марш! Левое плечо вперед! И замаршировал по платформе. Рэм догнал его.

— Куда?

— Увидишь.

Подмигнул.

Он и потом, когда шли по улице, хитро посмеивался, на все вопросы подносил палец к губам: ш-ш-ш.

В конце концов Рэм от него отстал:

— Черт с тобой. Не хочешь — не говори. Только учти: если выпивать — я пас. Всё, больше ни капли.

Молчание Жорка терпел недолго.

— Ты перед армией девок-то хоть успел пощупать? — неожиданно спросил он.

Когда в училище ребята хвастались и брехали, кто им «дал» и кому они «вставили», Рэм в таком трепе не участвовал, сразу говорил: «А у меня никогда никого не было». Но перед Уткиным ужасно захотелось соврать.

Сказал скупо, по-мужски:

— Было.

В конце концов, тогда, на Новый год, целовался же он с Томкой Петренко, и она его руку отпихнула не сразу. Разве это не называется «щупать»?

— Давно?

— Давно.

Уткин торжественно изрек:

— Чтоб оружие не заржавело, его надо смазывать и регулярно проводить стрельбы.

Обхватил за плечо, зашептал на ухо:

— Я провел африканскую ночь с одной фройляйн. Не все немцы удрали, кое-кто остался. У нее там еще сестренка. Вот я и подумал о товарище. Сказал ей: фертиг, будь готова, сейчас приведу к-камарада, будет тебе делать кряк-кряк. Наглядно пояснил с помощью кулака и пальца. — Жорка показал и залился смехом. — Станем мы с тобой... Как эти называются, кто на сестрах женат? Свояки?

Рэму вдруг стало жарко, хотя утро было холодное и ветреное. Он тысячу раз воображал себе, как это произойдет в первый раз. И с кем. Но прямо сейчас? С незнакомой немкой?

— Давай все-таки сначала за предписанием сходим, — пробормотал он. — Для спокойствия. А то загуляем...

— Нормально всё. Вечером нас машина прихватит. Днем всё равно движения нет. На дорогах «штуки» люют. Говорят, позавчера целую колонну расхе... раскрячили. — Он задумался. — Расхерачили — это матом или нет?

— Наверно нет. «Хер» это просто старинное название буквы «Х».

— Уже легче! — возрадовался Жорка. — Буду употреблять... А покатым мы с вами, товарищ младший лейтенант, к городу Бреслау, где в данный момент находится наша героическая краснознаменная дивизия. И это, брат, погано.

— Почему погано?

— Потому что не видать нам Берлина, так и проторчим у кряканого Бреслау. Фрицы там зацепились, как наши в Сталинграде. Скоро два месяца — ни туда ни сюда. Сейчас вообще встали. Кореш говорит, в полках только треть состава. Пополнения ждут. Анекдот уже есть. Короче, парад победы в Берлине. Товарищ Сталин на белом коне к рейхстагу подъезжает. Слышит — грохот, пальба. спрашивает у маршала Жукова: это чё, праздничный салют? А тот ему: нет, товарищ Верховный, это Конев всё Бреслау штурмует... Обхохочешься, кряк.

Но Рэму сейчас было не до Бреслау.

— Что за девушка? Как зовут?

— Моя-то? — не понял Уткин. — Кряк знает, я имени не спрашивал. На кой мне? Хорошая девка, послушная. Чего скажешь — делает, безотказно. Если поняла, конечно. С этим есть проблемы. Вот ты немецкий знаешь. Как сказать: «Дорогая фройляйн, не будете ли вы так любезны...»?

И загнул такое, что Рэм покраснел.

— Брешешь, заманденьш, не было у тебя баб! — заржал Уткин, очень довольный. — Первый раз в первый класс?

Да как заорет на всю улицу:

— «Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят! Мы их не обидим, поглядим и выйдем!»

— Тихо ты, патруль заберет. Расскажи лучше, как познакомился. Где ты немок взял? Тут гражданских-то почти не видно.

— Места надо знать. — Жорка сделал хитрую рожу. — И психологию. А я вчера зашел в какой-то двор отлить — гляжу, кадр вдоль стены шур-шур, мышкой. Эге, думаю. Полячки так не партизаныт. Хальт! Она застыла, руки в гору. Я ей по-польски: «Ким естес?» Глазами хлопает. Ага, говорю, дойче? Кивает. И как кролик на удава. Тогда, говорю, будешь мой трофей. «Анна-Ванна, наш отряд хочет видеть поросят и потрогать спинки — много ли щетинки?» Айда, говорю, к тебе наххаузе. Ну, она и повела. Они в подвале вдвоем с сеструхой прячутся. Та, честно говоря, на мордалитет не очень и тощая, как стручок, но извини: дареной кобыле под хвост не смотрят... Погоди, дай сориентироваться...

Жорка остановился на перекрестке.

— Ага, теперь вон через ту улицу, нетронутую, а там уже близко.

Улица, на которую они свернули, действительно совсем не пострадала. Раньше она, наверное, была торговой — все первые этажи заняты магазинами. Но половина витрин щерилась стеклянными осколками, двери скособолены или вовсе выбиты — судя по следам на штукатурке, гранатами.

— Заглянем, а? Чего там у них внутри, — попросил Рэм. Не столько из любопытства, сколько оттягивая встречу с немками. Он всё сильнее нервничал.

Жорка удивился:

— Ты чего? Славяне тут полтора месяца. Всё, что было, давно вынесли. В посылках поехало, нах Русланд.

— Да вон же, в книжном, книжки на полках.

— Разве что в книжном. Валяй. Покурю пока.

В магазине всё было вверх дном. Писчебумажный отдел выметен подчистую, печатные издания по большей части сброшены на пол. В глаза Рэму бросился альбом Дега — наверное, шикарный, но половина страниц выдрана. Остались только балерины, все ню перекочевали в солдатские вещмешки и теперь украшают стенку в какой-нибудь землянке.

— Ух ты, какая роскошь, гляди!

Рэм открыл папку с гравюрами Дюрера. Он видел до войны в Столешникове, в букинистическом, примерно такую же, за 200 рублей. Но не переть же? Со вздохом отложил.

Подобрал детскую, сказки братьев Grimm, с волшебными цветными иллюстрациями — для Адьки. Отцу нашел лексикон по фармакологии.

— Сдурел? — спросил от двери Уткин. — Куда их? Вещмешок не резиновый.

— По почте отправлю.

— Брось. Цензура не пропустит. Они все книги заворачивают, им там некогда разбираться. И хорош возиться. Девки заждались.

В результате Рэм взял только набор открыток «Силезия». Там были виды и Оппельна, и Бреслау. Домой послать — пусть поглядят, в каких местах он воюет.

— Щас я тебе такие виды Силезии покажу — ахнешь. Шевелись, Рэмка, шевелись! — торопил Уткин. Он весь как-то напряжился и вроде даже слегка протрезвел.

Во двор ворвались чуть не бегом. Спустившись по ступенькам в подвал, Жора заколотил в дверь:

— Эй, на палубе! Свистать всех наверх!

Ответа не было.

— Сбежали твои фройляйн, — с облегчением сказал Рэм. — Дуры они — дожидаться?

Уткин приложил ухо к двери. Послушал. Улыбнулся.

— Не дуры. Потому и не сбежали. Я вчера паек получил. Хлеба им дал, тушенки. А сбегут — попадутся к кому похуже. Тут они, дролечки. Я это, я! — заорал он. — Ферштеен? Отворяй!

Дверь заскрежетала, открылась. Кто-то там в темноте, Рэм не успел рассмотреть кто, попятился вглубь помещения.

— Заходи, чего встал? — Уткин подтолкнул. — Топай вперед. У них там комнатенка. Печка железная, тепло. А скоро жарко будет. Давай-давай.

Из темного коридорчика Рэм попал в небольшое и действительно протопленное помещение. В углу стояли лопаты и какие-то метлы — наверное, конура

предназначалась для дворницкого инвентаря. Свет скудно проникал через высокое, расположенное под самым потолком оконце.

На топчане, тесно прижавшись друг к другу, сидели две девушки, у одной волосы потемнее, у другой посветлее. Кажется, первая была постарше и покрупней, но глаза еще не привыкли к полумраку.

— Guten Tag... — пролепетал тихий голос.

— Гутен таг, — поздоровался и Рэм. Замаялся на пороге, но получил толчок в спину и вылетел на середину комнаты.

— Это вот мой камрад, который будет тебя кряк-кряк, — показал на него Уткин, обращаясь к худенькой блондинке, совсем девочке.

Та уставилась на Рэма снизу вверх и часто-часто мигала. И правда, будто кролик на удава, подумал он. Мелькнуло: тоже, наверно, представляла, как и с кем будет в первый раз.

— Ви хайсен зи? — Он улыбнулся, чтобы она не так сильно боялась. — Их бин Рэм. Зер ангенем. Их махе инен... кайне шлехт.

Хотел сказать, что ничего плохого ей не сделает, но то ли коряво сказал, то ли девчонка от страха ничего не соображала — еще больше сжалась головой.

Зато заговорила старшая сестра, переводя взгляд с одного военного на другого.

Рэм понял только первую фразу: «Sie schprechen Deutsch?». А потом через пень-колоду. Кажется, она говорила, что Ильзе совсем еще юная, просила ее не трогать, и говорила, что обслужит обоих господ офицеров сама, они останутся довольны. Вторая сначала всё моргала, потом беззвучно заплакала.

— Ты чем девушек расстроил, хамло?

Уткин утирал губы. На столе была початая бутылка, и он, как вошел, сразу себе налил.

— Скажи, что все будет культурно. Сначала выпьем, закусим. Комм сюда, комм!

— Она нетронутая. Боится. Не буду я с ней, — хмуро сказал Рэм. — И вообще. Идем отсюда. Противно.

— Кряк твою. Товарищ о тебе, уроде, позаботился, — обиделся Уткин. — Не нравятся щи — не жри,

а угощают — не плаюй. Хозяин — барин, я еще разок попользуюсь. Ты во дворе подожди. Переведи только моей, чтоб не молчала, когда ее харят. Чего она, как бревно.

— Слушай, Жор, ты же видишь — она не хочет. Это все равно что насильничать.

Хотел сказать по-дружески, по-доброму, но Уткин еще больше разозлился. Может, как раз из-за этого тона. Или просто уже дососался спирту до стадии, когда тянет на ярость.

— Кто насильничает? Я насильничаю? Я ей, лярве, харчом заплатил, а она взяла, потому что лярва! А надо было снасильничать, как они наших девок насильничали! Знаешь чего, Клобуков? Не возьму я тебя в разведку! На хер мне такой переводчик! Надо будет «языка» тряхануть, а ты разнюнишься! «Противно», — передразнил Жорка, скорчив гримасу. — Катись отсюда, заманденьш. И больше мне не попадайся.

Отвернулся.

— Эй, девки! Комм хир, я сказал!

Немки, не понимая, из-за чего крик, прижались к стене.

Отец в такой ситуации, наверно, укатился бы, а потом страшно переживал бы и угрызался, подумал Рэм. В этом между нами и разница. Он подушка, а я железный стержень.

И шагнул вперед.

С горлодером Уткиным выход был только один — сразу в нокаут. Поэтому очень быстро, не дав опомниться, Рэм схватил старлея сзади за плечо, развернул к себе и врезал справа. А ответил, только когда Жорка уже упал:

— Сам катись, замандюк.

Девушки вскочили на топчан с ногами. Старшая завизжала «Hilfe!», светленькая тоненько запричитала «Bittel Bittel».

Хук был неплохой, но, как оказалось, недостаточно хороший. Нокаунт получился, нокаут — нет. На щеке у Уткина белела вмятина, зато вторая щека сделалась багровой.

Сквозь стиснутые зубы со свистом вырвалось:

— Ссука!

Рэм принял стойку, готовясь бить, как только Жорка начнет вставать. Но тот приподнялся на одно колено, зашарил пальцами по кобуре. Глаза — бешеные.

Убьет. Спяну, на психе — убьет, понял Рэм.

Хотел кинуться к выходу, но испугался, что не успеет добежать, пуля догонит. До Уткина было ближе, чем до двери.

Прыгнул, вцепился в руку, которая уже вытянула черный «ТТ». Попробовал вывернуть кисть — не получилось. Жажнул выстрел, потом второй и, кажется, третий, но уши заложило сразу после первого, так что, может, это было эхо.

Уткин вдруг выпустил оружие, а локтем освободившейся руки двинул Рэма по уху, потом — рха, рха, рха, рха! — рыча, обрушил серию быстрых ударов, лупя, куда придется: в лоб, в лицо, в грудь. «ТТ» отлетел в сторону и там, уже сам по себе, пальнул еще раз.

Пронзительный визг прорывался даже через вату, которую будто напихали в уши. В глазах потемнело, Рэм ничего не видел и бил вслепую. Иногда попадал в мягкое, иногда в твердое, иногда по воздуху. Дышать не мог — горло будто перехватило стальной удавкой.

Раздался частый, тяжелый топот.

— Прекратить драку! Встать! Руки вверх!

Шею отпустило. Махнув по инерции еще раз, попусту, Рэм откатился по полу, поднялся на четвереньки и увидел перед носом сапоги, над ними широкие растяги галифе. Задрал голову.

Сверху, брезгливо кривясь, на него смотрел командир в щегольской дубленой куртке. На рукаве повязка. Рядом двое солдат.

Патруль, сообразил Рэм. Шли мимо, услышали выстрелы, крики.

— Вставайте, младший лейтенант, вставайте. Оружие — рукояткой вперед.

Капитан. Слава богу, не тот, что был вчера.

Во рту было солоно, пошатывало из стороны в сторону, но встать получилось.

— У меня нет оружия. Не выдали еще...

— Кто застрелил женщину?

Лишь теперь Рэм увидел, что визжит, не переставая, только темноволосая немка. Вторая, худенькая, сидела, привалившись к стене и откинув голову, будто

рассматривала что-то на потолке. Из приоткрытого рта стекала черная струйка.

— Чей «ТТ», спрашиваю? — повторил капитан. Тронул на столе полупустую бутылку. — Напились, мерзавцы...

— Я не пил. Можете обнюхать, — быстро сказал Рэм — вроде правду, а почему-то стало стыдно.

Уткин стоял между двух солдат, опустив голову. Глухо произнес:

— Мой «ТТ».

Через стекло было видно четырехъярусную ратушную башню с зубчиками по краям, совсем близко. Она прямо нависала над окном. Когда Рэма доставляли, оформляли, он был в таком состоянии, что ничего вокруг не видел. Потом восемь дней просидел в одиночке, гулять выводили в закрытый дворик. Понятия не имел, где находится. А это, оказывается, вот где. Похоже, на том самом Шестом объекте, на котором служат Бляжины. Там же — то есть здесь — вся секретная часть, включая военную прокуратуру...

На допрос по уткинскому делу первый раз вызвали только сегодня. Всё рассказал, как было. Следователь, молодой парень несильно старше Рэма, задавая вопросы, делал себе какие-то заметки. В конце сказал: «Ну, в общем ясно» и теперь писал протокол, уже минут тридцать. Сидеть, ничего не делать было скучно. Рэм охотно подошел бы к окну, но спросить разрешения не осмеливался. Без ремня, со снятыми погонами он чувствовал себя не командиром Красной Армии, а осужденным преступником, хотя вlepили ему всего-навсего две недели «губы» и через шесть дней он снова станет свободным человеком.

Без стука вошел майор-военюрист. Один рукав пустой, засунут в карман кителя. Лицо усталое, недовольное.

Лейтенанту сказал:

— Садись, садись.

На арестанта не взглянул, и Рэм остался стоять руки по швам.

— Чего там у тебя?

— Сто тридцать шестая прим рисуется, — стал докладывать следователь. — Налицо отягчающие: пьянство,

принуждение к сожигательству. Можно, конечно, перерисовать на сто тридцать девятую...

Майор взял исписанный лист, быстро просмотрел. Мрачно резюмировал:

— С таким букетом, со свидетелем-офицером? Хрена сто тридцать девятую. В свете приказа двадцать пять ноль два железная сто тридцать шестая прим. Оформляй.

На Рэма он так и не посмотрел.

— Товарищ майор, — не выдержал тот. — Что такое сто тридцать шестая прим? И приказ двадцать пять ноль два? Что будет старшему лейтенанту Уткину?

Однорукий ответил, не поворачивая головы:

— К высшей мере пойдет твой товарищ. Приказ был от 25 февраля. В связи с участвовавшими случаями мародерства и ослабления дисциплины.

Рэм шатнулся.

— Он не нарочно ее застрелил! Случайно! Я, может, недостаточно сейчас про это... Но я на суде скажу!

Тут майор наконец к нему повернулся, резко, Заговорил быстро, яростно, сверкая воспаленными глазами:

— Хочешь еще пару неделек вдали от фронта побичевать? Накося выкуси! — Выставил жилистый кулак, сложенный кукишем. Над часами синела татуировка, якорь. — Я такой сволочи много повидал. У меня на вас нюх. Никто тебя тут до суда держать не будет. Хватит твоих письменных показаний. Шилов, где его барахло?

— Здесь, — показал лейтенант на шкаф. — Вы же знаете, склад закрыт.

— Давай сюда.

На стол бухнулся вещмешок, потом сложенный ремень, новенькие погоны.

— Всё, Клобуков! Лафа кончилась! На «губе» припухать ты больше не будешь! На фронт отправляешься! Под пули! Сегодня же! Я тебя на сборочный под конвоем отправлю!

— Почему... Почему вы так со мной разговариваете?! — закричал Рэм. — С чего вы взяли, что я...

Он захлебнулся от обиды, от возмущения.

— Зеленый еще, а уже сука, — презрительно процедил майор. — Своего товарища, боевого офицера, под вышак подвел. Кру-гом! Ждите за дверью, пока пропуск выпишут.

И отвернулся.

БИСЕРНЫМ ПОЧЕРКОМ.

тесной даче поисков, когда я уже думал, что ничего подходящего не найду, и начинала отчаиваться, наконец, появилась более или менее приемлемый вариант: бывшая парикмахерская на Шензкой. Помещение неидеальное, имеет один ограниченный минус, но есть и существенные плюсы.

Плюсы с плюсов.

Нет никаких соседей, что в условиях здешней невероятной сухости просто необходимо. Дом расположен на самом красивом Тетто, в углу, образуемом внешней стеной. Она прорезается с двух сторон - прехмет-ровая с колонкой проволокой поверху. С третьей стороны большая водопроводная дамбная дождевой водой. Там раньше было деревянное строение, во время осады разрушенное бомбой. Области, видно, растущими на дрова прошлой зимой и теперь это просто огромная дыра - прорвало водопровод, и потому не стали откачивать. С четвертой стороны - улица, тупик, куда никто не заходит, потому что бездорожье. Третье - остров! Это прекрасно.

Парикмахерская принадлежала семье, поэтому жильцов отсюда вселились. Говорят, с территории Тетто вытеснили полтора миллиона человек - евреев, чтобы освободить место для более большого числа новых жителей, стилистическое подпольное - за одним-единственным исключением в лице твоего покорного слуги. Прехметской тогда заселили.

Первый этаж, где находилась собственно парикмахерская, может быть довольно легко переделать в класс для работы с детьми. Там же есть помещение, пригодное для кухни и столовой. Второй этаж будет спальней для воспитанников. На третьем расположатся кошки сотрудников. И еще имеется мезонин с двумя кабинетами. Маленькая - моя личная, побольше - кабинет, где можно также проводить совещания.

шестой день поисков, когда я уже думал, что ничего подходящего не найду, и начинал отчаиваться, наконец попался более или менее приемлемый вариант: бывшая парикмахерская на Железной. Помещение неидеальное, имеет один огромный минус, но есть и существенные плюсы.

Начну с плюсов.

Нет никаких соседей, что в условиях здешней невероятной скученности просто невероятно. Дом расположен на самом краешке Гетто, в углу, образуемом внешней стеной. Она примыкает с двух сторон — трехметровая, с колючей проволокой поверху. С третьей стороны большая воронка, залитая дождевой водой. Там раньше было деревянное строение, во время осады разрушенное бомбой. Обломки, видно, растащили на дрова прошлой зимой, и теперь это просто огромная лужа — прорвало водопровод, и потом не стали откачивать. С четвертой стороны — улица, тупик, куда никто не заходит, потому что незачем. Прямо остров! Это прекрасно.

Парикмахерская принадлежала поляку, поэтому жильцов отсюда выселили. Говорят, с территории Гетто выставили полтора ста тысяч неевреев, чтобы освободить место для вдвое большего числа новых жителей, сплошь подневольных — за одним-единственным исключением в лице твоего покорного слуги. Трехэтажный дом стоял опечатанный Юденратом, ждал заселения.

Первый этаж, где находилась собственно парикмахерская, может быть довольно легко переделан в класс для работы с детьми. Там же есть помещение, пригодное для кухни и столовой. Второй этаж будет спальней для воспитанников. На третьем расположатся комнаты сотрудников. И еще имеется мезонин с двумя комнатами. Маленькая — моя личная, побольше — кабинет, где можно также проводить совещания.

Сзади, через черный ход, попадаешь в зажатый между стенами крошечный дворик. В такие, вероятно, выводят на прогулку заключенных: по бокам кирпич,

под ногами асфальт, сверху только квадрат неба. Зато пространство полностью изолировано от внешнего мира, и детям будет где в безопасности дышать свежим воздухом. Потому что за пределы Трезориума им попадать незачем. Ничего хорошего маленькие островитяне в этом дурном океане не увидят.

Теперь про огромный минус. Размеры! Как я ни прикидываю, больше восьми детей здесь не разместить. В спальнях можно бы, но в классной никак — будет тесно. Пятилеткам для игр нужно пространство. Я ужасно мучаюсь из-за того, что эксперимент так сжимается. Ведь я надеялся поработать с потоком минимум из двадцати пяти объектов, а восемь — что это? Непредставительно, некорректно, большинство индотипов останутся за пределами исследования...

Однако ничего не поделаешь. Если бы я промедлил, дом заняли бы жильцами. Сюда все время доставляют новых евреев, из других городов и местечек. За неделю, миновавшую после изоляции Гетто, говорят, прибавилось пятьдесят тысяч. Живут по десять, по двенадцать человек в комнате.

В общем, я решился, с нелегким сердцем. Отправился на Гжибовскую, в Юденрат, и уже упоминавшийся хапуга из отдела распределения жилищ, чудеснейший пан Фишелевич, за взятку выдал мне ордер. Теперь я «председатель домового комитета» и в этом качестве отвечаю за жизнеобеспечение жильцов, их благонадежность, за своевременную уплату ими всех положенных сборов и дисциплинированное выполнение трудовых повинностей. Разумеется, это нарушение установленных правил, но сверхчеловеки брезгают совать свой арийский нос в недочеловеческие дела, а у евреев любой вопрос можно решить за хорошее отношение или за деньги. Их у меня полно.

В общем, участники сделки остались довольны. Для Фишелевича 2000 злотых — превосходная добыча, он просил «любезного пана Данцигера» обращаться и впредь по любому поводу. А для меня это всего лишь одна двадцатидолларовая бумажка из моего волшебного чемодана.

Еще за полторы тысячи злотых (какие-то пятнадцать долларов!) в другом отделе Юденрата я оформил лицензию. Учебные заведения в Гетто запрещены, но детские сады допускаются, а чем мы там будем заниматься — поди проверь. Теперь у меня есть бумага, на которой трогательно соседствуют шестиконечная звезда и орел со свастикой. Я — директор «заведения для детей дошкольного возраста», которое называется «Wyspa skarbow», «Остров Сокровищ».

25 октября 1940 года — исторический день. Мой трезориум официально существует!

26 октября

Сегодня приступил к набору команды.

Мне требуются:

- во-первых, четыре шацзухера по направлениям «Голова», «Сердце», «Тело» и «Креативность»;
- аниматор для работы с детьми в классной (женщина);
- технический персонал: кухарка, фельдшерица-няня и, главное, кастелянша, которая будет управлять хозяйством, осуществлять закупки и прочее.

С этой ключевой фигуры я и начал, потому что кастелянша займется поиском кухарки и фельдшерицы, пока я буду искать педагогов. Мне требовалась женщина ушлая и при этом честная — нечасто встречающееся сочетание.

Я никого в Гетто не знаю, зато я хорошо усвоил курс практической психологии и умею читать людей. Пожалуй, это — мой талант, очень помогающий мне в жизни и в работе.

Поступил я следующим образом. Отправился на Слиску, где сейчас расположено главное торговиче Гетто — разумеется, нелегальное, но совершенно необходимое для выживания всей этой огромной массы людей, нуждающихся в еде, одежде, обуви, лекарствах и всем прочем. Товарно-денежные отношения, вероятно, будут существовать даже в Преисподней.

Ходил по этому импровизированному рынку, приглядываясь не к товарам, подчас весьма причудливым, а к торговцам. Несколько раз останавливался, надолго, потому что казалось: вот он, мой кандидат. Но потом, разглядев в лице или поведении что-то не то, двигался дальше.

Наконец присмотрел коренастую тетку в добротном пальто и шерстяном платке, обтягивающем широкие татарские скулы. Она продавала поистине удивительный товар: нарукавные повязки со звездой Давида, которые вообще-то бесплатно выдаются в Юденрате, потому что обязательны для ношения. Сначала меня просто заинтересовал этот диковинный бизнес. Кто будет такое покупать? Зачем? Потом, увидев, что торговля идет очень бойко, я подошел ближе, понял, в чем дело, — и восхитился.

Повязки были двухсторонними, с обратной стороны черными. Евреи, у которых есть пропуск в Город, выйдя за пределы Гетто, могли одним движением перевернуть свою позорную нарукавную ленту, и она превращалась в траурную. А если впереди патруль, так же просто было вновь обратиться в законопослушного Jude. Гениально!

Потом я увидел, как торговка окликнула уже отошедшего покупателя, который забыл взять сдачу. Значит, не только предприимчивая, но и честная?

Оставалось только выяснить, нет ли у нее семьи, которая будет отвлекать от работы. Подошел, поговорил. Семья была, муж и двое детей, но погибли во время осады от авиабомбы. Женщина рассказала про это буднично, не давая на жалость, и это мне тоже понравилось. Крепкая. Если жизнь сшибает с ног, поднимается и идет дальше. Прямо там же, на тротуаре, нанял ее на службу. Пани Марго — так она попросила ее звать.

Итак, в трезориуме появился первый сотрудник, кастелянша.

Я объяснил ей задачу — найти кухарку и няню-фельдшерницу. Сразу стало ясно, что в выборе помощницы я не ошибся. Пани Марго уверенно сказала: идемте на улицу Павя.

Оказывается, там нечто вроде биржи труда. Те, кому нечего продать или выменять, пытаются найти работу или хотя бы приработок.

Мне не понадобилось вмешиваться. Пани Марго наделена психологическим даром не в меньшей степени, чем я, а по части общения даст мне сто очков вперед. Я не мог понять, по какому принципу к одним женщинам она подходит, а к другим — нет. Спросил. «Для няни нужно три вещи. Чтоб была заботливая — это всегда видно по лицу. Чтоб не белоручка — видно по пальцам. И чтоб одинокая — это видно по глазам, — ответила мне чудесная пани Марго. — С фельдшерницей немного сложнее. Тут нужно найти или врачуху, которая не боится черной работы, или...» «Можете не продолжать, — сказал я. — Я вижу, вы знаете, что делаете. Вот вам второй ключ от дома, вот деньги на первые расходы. Встретимся вечером». И, успокоенный, ушел.

У меня было дело поважнее: найти педагогов. Заходя вперед, скажу, что пани Марго за день подобрала обеих сотрудниц. Пани Фира до войны работала поварихой в многодетной ортодоксальной семье. Значит, умеет готовить простые и здоровые кушанья. Прекрасно. Пани Берта — медсестра из Лодзи, старая дева, которая не вышла замуж, потому что должна была воспитывать шестерых младших братьев и сестер. Обе, кажется, очень хороши, но писать о них скучно. Если окажутся негодны — уволю, найдем других. При здешней безработице это не проблема.

Иное дело — педагоги. О Брикмане напишу завтра. Очень устал. Слипаются глаза.

27 октября

Мейер Брикман, конечно же, первый, о ком я вспомнил, когда идея трезориума вдруг обрела реальные черты. Я знаю его — сколько же? — семь лет, со времен моей работы в «Школе гениев». Был такой широко обсуждавшийся педагогический проект. Частный филантроп, миллионер Блязняк, разбогатевший во время войны на импорте аргентинских мясных консервов, основал

пансион для особо одаренных детей. Педагогический состав подбирался очень придирчиво, по результатам собеседований и экзаменов. Девиз школы был «Великие учителя для великих детей». Чушь, конечно. Дети все великие, если правильно к ним относиться. Тем не менее я поступился своим кредо, пошел туда работать школьным психологом — эта должность тогда была в новинку. Во-первых, надеялся хотя бы отчасти внедрить мой метод, а во-вторых, сыграло роль хорошее жалование. Я устал от вечного безденежья.

Однажды директор школы говорит: «Дорогой барон (пансион претендовал на аристократизм, и подозреваю, что меня взяли не в последнюю очередь из-за моего дурацкого титула), в Городе есть феноменально хороший преподаватель математики, некто Брикман. Частный репетитор, на которого пишутся в очередь и платят за уроки большие деньги. Этот еврей любого тупицу за месяц готовит к сдаче выпускного экзамена на отлично. Сбоев у него не бывает. Мы предложили ему прекрасные условия — ни в какую. Упрямый. Вы же психолог, попробуйте с ним поговорить».

Я говорил. Брикман — кстати, совершенно не похожий на семита, такой сухощавый блондин со светло-голубыми глазами — вежливо выслушал меня не перебивая (он вообще человек немногословный). Потом коротко, но столь же учтиво отказал, пояснив: «Мой жизненный принцип — свобода. Я работаю только на себя. Когда хочу. И зарабатываю ровно столько, сколько мне нужно».

По правде сказать, я его не очень и уговаривал, но мне было любопытно, каким образом он достигает таких поразительных результатов. Ведь есть же подростки, совершенно не способные воспринимать абстрактные знания вроде математических, — почти вся доминанта «Т» и значительная часть доминанты «С».

— Очень просто, — ответил мне Брикман. — Можно заинтересовать кого угодно и чем угодно. Главное — уяснить, как открывается дверь. Каждый ученик — замочная скважина. Чтобы в ней повернулся ключ, у него должна быть правильная бородка. В трудных случаях нужен не ключ — отмычка, неважно. Первые два-три

занятия я трачу не на математику, а на знакомство. Присматриваюсь. Когда же «слепок скважины» готов, дальше всё легко.

Мой человек, сразу подумал я тогда. И заговорил про свою теорию. Беседа получилась долгой. За ней были другие. В последующие годы мы даже совместно опубликовали несколько статей.

Брикман идеально подошел бы для трезориума, но я не видел его с начала войны, потому что было не до педагогики. Где он сейчас, я не знал. Брикман слишком умен, чтобы глупо погибнуть или угодить в Гетто. Но не эмигрировал ли он?

Очень волнуясь, я оставил пани Марго на бирже труда и поехал на Маршалковскую, где мой единомышленник жил в мирное время.

Это была моя первая вылазка в Город с еврейской повязкой на рукаве. (Кажется, я уже писал, что постоянный пропуск обошелся мне всего в 500 злотых.)

Впечатления настолько любопытны с антропологической точки зрения, что я позволю себе отвлечься от темы.

Ехал я в трамвае, где евреям запрещено садиться и можно находиться только на задней площадке. По реакции, которую вызывала (или не вызывала) у окружающих моя шестиконечная стигмата, люди делились на четыре категории.

Первая, самая большая — наверное, половина пассажиров — не обращали на меня внимания. Скользнут взглядом по повязке, и никакого чувства в глазах. Заклейменный еврей, привычная картина, к их жизни это отношения не имеет.

Некоторые намеренно отворачивались, будто меня в трамвае нет. Им было неудобно, даже стыдно, но сделать они ничего не могли и потому меня как бы не видели, чтобы не расстраиваться.

Один пассажир — только один — улыбнулся мне и кивнул, хотя мы незнакомы. «Позитив-эмиттер», сразу определил я. Такие находятся всегда, даже в нынешние мерзкие времена.

Но интереснее всего четвертая категория. Сначала кондуктор грозно потребовал у меня разрешение на пользование общественным транспортом (без этого евреям ездить на трамвае нельзя). Я предъявил. Тогда он говорит: «В салон не соваться. Высажу». Маленький человек, а все-таки начальник.

Потом на остановке вошли двое пролетариев, оглядели меня с брезгливой миной, и один сказал мне — громко, чтобы все слышали: «Отойди, жидок. От тебя чесноком воняет». При этом чеснок я с детства не люблю и никогда его не ем.

Этот маленький инцидент заставил меня задуматься о том, что обычно меня мало занимает: о структуре человеческого общества.

Теоретически возможны два типа социальной организации — вертикальная и горизонтальная. Исторически опробована только первая, тянущаяся еще от первобытной животной стаи с ее доминантными, второсортными и третьесортными самцами. При подобной системе люди иерархически расставляются сверху донизу по своей «значимости», то есть общество признаёт, что один человек важнее другого. Моя же педагогическая революция, свершившись, неминуемо создаст совершенно иное государство, где все одинаково ценны и находятся на одном «этаже». Такое устройство является горизонтальным еще и потому, что каждому человеку видны и горизонт, и небо наверху, и земля под ногами — а не только задница того, кто гадит тебе на голову, и не голова того, на кого гадишь ты.

В общем, путешествие с повязкой было полезным.

Выйдя на Маршалковской, я с минуту постоял перед подъездом, собираясь с духом. Скорее всего никто не откроет, готовил я себя к разочарованию.

Но когда позвонил, открыла пани Брикман, очаровательная польская немочка с золотистыми кудряшками и ясными глазами. Зовут ее Грета. Она очень нежная и очень красивая — до такой степени, что ей незачем было развивать свой ум. С Мейером они всегда жили душа в душу. Если бы меня интересовало что-то кроме моей теории и я решил бы жениться — выбрал бы себе

такую же спутницу. Я ведь тоже доминанта «Г», как и Брикман. Мы во многом похожи.

Повязку я снял на лестнице, чтобы избежать ненужных вопросов. Приложился к пухлой ручке пани, спросил, дома ли супруг. Мое сердце замерло, а после сжалось, потому что Грета ответила: мы с Мейером расстались, когда вышел указ о разводе арийцев с евреями.

— Где мне его найти? — спросил я в отчаянии.

— Не знаю, — ответила она и слегка покраснела.

Неумные женщины с нежной кожей совсем не умеют врать.

И я сразу успокоился.

То есть, что они развелись — скорее всего правда. Мейер ни за что не стал бы подвергать свою Греточку опасности. Но что она не знает, где он — черта с два. Слишком уж они любили друг друга. К тому же через открытую дверь гостиной я увидел на столе раскрытую книгу корешком кверху — «Шахматные этюды». Из Греты шахматистка, как из меня учитель танцев.

— Очень жаль, — сказал я как можно громче. — У меня к пану Брикману есть важный разговор. Если случайно встретите его — пожалуйста, передайте.

Приподнял кепи, раскланялся, вышел. Подождал на лестнице с полминуты, и, конечно же, выскочил Брикман в домашней куртке с бранденбурами.

Люди мы не сентиментальные, поэтому после короткого рукопожатия я сразу перешел к делу.

Выслушав мое предложение — как всегда, внимательно и без эмоций — Мейер несколько мгновений помолчал. Потом говорит:

— Интересно. Но нет, слуга покорный. Гетто — это капкан. Однажды он окончательно захлопнется, и оттуда уже не выберешься.

— А на что тут рассчитываете вы? — спросил я. — И чем намерены заниматься? С утра до вечера решать в четырех стенах шахматные этюды — этак с ума сойдешь. И рано или поздно кто-нибудь из соседей заметит, что вы здесь прячетесь. Донесет. Погубите и себя, и пани Грету. Я же предлагаю вам настоящее дело. То самое, о котором мы столько мечтали.

Теперь он молчал дольше, и все же не более минуты. Мозг у Брикмана как арифмометр.

— Подождите здесь, — сказал он, приняв решение. — Нет, лучше на улице. Это может занять некоторое время.

Я и сам хотел уйти от двери подальше, чтобы не дай бог не услышать рыданий. Знаю, что и Мейеру это было бы неприятно.

Прождал я его не менее часа. Даже начал беспокоиться, не перевесили ли эмоции брикмановскую рациональность.

Но он вышел, с чемоданом. Такой же невозмутимый, только бледный.

И потом ни разу не обернулся. Я-то не выдержал, оглянулся.

Увидел между штор белую женскую фигуру. Она сделала какой-то жест. Помахала на прощанье? Да, помахала — но кулаком.

Я очень доволен. Поиск начался с большой удачи.

28 октября

Опять чудесный день. Был в Юденрате, в отделе регистрации, которым руководит пан Шпектор. Он не берет взятки, что неудобно, поскольку приходится с ним дружить, а это отнимает лишнее время. Битый час я слушал его рассказы о рыбной ловле, зато получил доступ к картотеке. Она содержится в удивительном для нынешней хаотической реальности порядке. Десятки и десятки тысяч карточек разложены по профессиям — таково требование сверхчеловеков, которые потом будут решать, кого и как использовать для пользы Рейха.

Педагогов несметное множество, и все без работы, ибо, как я уже писал, учить еврейских детей чему бы то ни было строжайше воспрещается. Каждый сочтет за счастье иметь кров и питание, трудясь по специальности. Но как отобрать тех, кто способен за короткий срок усвоить необходимые навыки?

На третий час перебирания карточек я вскрикнул так громко, что от соседних столов обернулись. Я бы и в пляс пустился, если бы не боялся, что выставят.

Хаим Гольдберг! Мой коллега по Виленскому педагогическому! Преподавал там историю культуры.

Студенты относились к нему иронически, называли «Дон Хайме» и «Благородный идальго». Он действительно похож на испанского кабальеро: высокий, худющий, длинные черные волосы до плеч, очень белое лицо с тонкими чертами и прекрасными глазами. Очень нервный, легко возбудимый, вечно что-то опрокидывал, расплескивал. У него еще был и тремор в пальцах. Безусловный и несомненный человек искусства. Если б не дрожь, стал бы художником или музыкантом. Хотя нет. В Гольдберге совершенно не было нарциссизма, который так полезен для настоящего творца. Зато лектор уникальный — мог зажечь самую вялую аудиторию.

В институте он продержался недолго. Выгнали за несдержанность. Хаим иногда бывал ужасно груб. Однажды я спросил: «Зачем вы так с N.? Ведь это безобиднейшее, добрейшее существо». «Не выношу скучных», — отрезал Гольдберг. «А кто не скучный?» «В ком есть огонь. У меня на таких чутье».

Когда я увидел карточку с его именем и адресом, сразу вспомнил эти слова и подумал: отличный куратор для «К». Даже вводить в курс методики не придется — я еще в Вильно все мозги ему проел моей теорией.

Вечером я отыскал жуткий, сырой подвал, где за шторкой обитал мой «Благородный идальго». Он еще больше отощал, впавшие щеки приобрели голубоватый оттенок.

Нечего и говорить, что мое предложение было принято с восторгом.

Двое педагогов есть! Кураторов для «С» и «Т», а также аниматора придется отбирать по конкурсу.

Пока Хаим и Мейер расклеивали объявления на стенах домов близ «трудовой биржи», я зашел в редакцию «Еврейской газеты», созданной для публикации приказов немецких властей и Юденрата, но прирабатывающей частными анонсами. Купил самое видное место на последней странице: «Детский сад-интернат ищет опытных педагогов, которые будут обеспечены проживанием и питанием. Соискателям явиться туда-то, во столько-то».

Завтра будет интересно!

29 октября

Уф. Ну и денек.

Я, конечно, предполагал, что соискателей будет много, но даже не представляя, до какой степени. Очередь начала выстраиваться с рассвета и к назначенному времени заворачивала за угол.

Мы договорились, что будем проводить отбор в два этапа. У тех, кто не подходит, вежливо берем адрес и говорим, что свяжемся. Во второй тур попадают лишь кандидаты, понравившиеся всем троим. Но последнее слово всегда остается за мной. Во всяком творческом коллективе, как и в экспедиции по поиску сокровищ, демократия невозможна. Капитан внимательно выслушивает членов команды, но принимает решения сам.

Собеседования длились девять часов. Семнадцать человек получили приглашение прийти завтра снова.

Я ужасно волновался, Гольдберг тем более — на ночь дам ему валериановых капель, а то не уснет. Один Мейер был безмятежен, а к вечеру даже порозовел. Дело в том, что я купил ему пропуск, и он готовился провести ночь со своей Гретой. Перед комендантским часом Брикман ушел и пообещал быть на месте к десяти утра, когда возобновится работа с кандидатами.

Все они хороши, и уже ясно, что завтра педагогический коллектив будет окончательно сформирован.

30 октября

Какие счастливые дни. Я будто на крыльях летаю.

Не буду описывать четырнадцать отсеянных, хотя некоторые очень недурны. Каждому после беседы мы ставили баллы, причем у Брикмана с Гольдбергом было по пять баллов, а у меня десять. В одном случае, о котором напишу ниже, получилось поровну, и я без зазрения совести добавил себе еще один балл.

Итак, результаты.

С доминантой «Т» будет работать Гирш Лейбовский.

Мы предполагали, что это место займет какой-нибудь учитель физкультуры или труда. Но фаворит, которого, честно говоря, я для себя определил еще вчера, не то и не другое.

Я обратил на него внимание, когда он дожидался своей очереди в бывшем парикмахерском салоне. Собеседование происходило в соседней комнате, нашей будущей столовой. Очень уж непохож был маленький, элегантно одетый мужчинка на остальных — учителя ведь публика в основном скромная и небогатая. Этот же стоял, изящно прислонившись к стене, и быстро двигал рукой — кажется, что-то писал карандашом в блокноте. Проходя мимо к лестнице, чтобы подняться на второй этаж в уборную, я подсмотрел. Щеголь не писал, а рисовал. Там было несколько штриховых портретов, вернее шаржей. Я увидел, что претендент развлекается, изображая соседей. Рисунки поразили меня своей скупостью и точностью. Несколько линий — и самая суть человека схвачена. Оказывается, для этого достаточно передать поворот головы, основную черту лица, контур плеч. Художник видел в том, кого изображал, самое главное — и прищипливал характер к бумаге, как растение в гербарий. Восхитившись таким удивительным даром, я подумал, не подойдет ли рисовальщик для группы «К». Но у меня уже был Гольдберг.

Когда кандидат вошел к нам для разговора, оказалось, что по профессии он и есть художник, притом известный. Работал в модном журнале. Хаим и даже Мейер знали его по имени. Я-то нет. Мне и название журнала ничего не говорит. Красивая одежда никогда не входила в сферу моих интересов.

Коллегам Лейбовский не понравился. На вопрос, который задавался всем — почему он хочет работать с детьми, — фронт ответил:

— У меня была работа, приносившая хорошие деньги, и было хобби, дававшее радость. Я страстный наездник. Лошадь у меня конфисковали, из журнала выгнали, переселили сюда. Кому в Гетто нужен рисовальщик модных силуэтов? Я ищу любую чистую работу. Для тяжелой физической я не годен.

Мейер и Хаим переглянулись — их покоробил цинизм.
— Зачем мы вам нужны ясно, — сухо сказал Брикман. — Но неясно, зачем вы нужны нам.

Соискатель со вздохом поднялся, готовый уйти. Но я попросил его задержаться. Что-то такое я почувал — в его быстром, цепком взгляде, в безжалостно точных шаржах.

— Что вы про нас думаете? — спросил я. — На кого или на что каждый из нас похож?

Помощники уставились на меня с недоумением, не понимая, о чем я. А Лейбовский без колебаний ответил, кивнув сначала на Брикмана, затем на Гольдберга и на меня:

— Камень-ножницы-бумага. Ну или, — теперь он начал с меня, — треугольник, квадрат, звездочка.

Почему Брикман — камень и квадрат, в общем догадаться было нетрудно. Почему я — бумага и треугольник, тоже. Насчет Хаима... Ножницы — видимо, из-за пальцев, постоянно находящихся в движении, из-за нервной заостренности, из-за раздвоенности. Хм, интересно.

— А почему пан Гольдберг звездочка?

— Мерцает, — коротко ответил Лейбовский.

И я сразу сказал ему:

— Приходите завтра.

После того как он вышел, у нас возник спор. На что нам сдался этот хлыщ? — горячились коллеги.

— Он понимает язык тела. А к тому же еще и жокей — значит, спортсмен, — объяснял я.

Ругались мы из-за Лейбовского и сегодня, на втором туре. Тут-то мне и пришлось пренебречь демократией, прибавив к своим десяти баллам божественное право самодержца. Правда, я пообещал, что мы берем рисовальщика условно, с испытательным сроком. Если я в нем ошибаюсь — заменим.

Труднее всего нам далась доминанта «С». Для этой работы идеально подошел бы эмоционально талантливыи Сказочник, но он слишком много о себе понимает, и у него собственный приют, где он портит детей своей неумной и неумной любовью.

Тут опять не обошлось без моего диктаторства, хоть до сшибки лоб в лоб дело и не дошло.

Коллеги склонялись к другому кандидату, который мне, в принципе, тоже понравился. Славный такой, симпатичный, как говорится, душа нараспашку монах-бенедиктинец, которого доставили из монастыря, потому что он крещеный еврей. Кандидат набрал у нас 26 баллов из 30, и мы считали дело решенным, тем более что уже поговорили со всеми семнадцатью «повторниками». И вдруг в дверь постучали. Просунулась какая-то долговязая нескладная тетка в мешковатом пальто, шляпке с обвисшими полями, в сползающих чулках. Такая типичная-растипичная учителька, рабочая кляча провинциального школьного образования. Шмыгая носом, она поправила огромные круглые очки и трагическим голосом воскликнула:

— Я, кажется, опоздала? Умоляю, не выгоняйте меня! Выслушайте!

Вчера мы ее не видели, и на этом основании бессердечный Мейер попробовал спровадить явно негодную соискательницу, но женщина безнадежно, горько расплакалась, слезы полились по ее лошадиному лицу прямо рекой. Жалостливый Хаим шепнул, что проще будет коротко с ней побеседовать.

Невнятно пробормотав свое имя, эта дама представилась учительницей начальных классов, доставленной в Гетто с краковским эшелоном.

— Почему вы хотите устроиться на эту работу? — скупающе спросил я.

И здесь обнаружилась маленькая странность. Устремленные на меня глаза на миг широко раскрылись, будто я являя собой нечто невиданно восхитительное, а ответ был дан после паузы. Удивительный ответ.

— Я чувствую, что у вас здесь затевается нечто невероятно интересное. О вашем трезориуме среди учителей ходят такие волнующие слухи! Может быть, я наконец смогу скинуть эту чешую ящерицы, — она брезгливо показала на свое потертое пальто, — в которое превратила меня тоскливая школьная тряпина. И стану той, кем мечтала стать в юности!

Женщина сдернула очки, и я увидел, что она совсем не старая и что лицо у нее никакое не лошадиное, а интересное: живое. И как верно она сказала про работу в трезориуме! Ни в одном другом кандидате я не почувствовал этой азартной увлеченности, которая мне столь хорошо знакома.

Вмешался мой «креативник» Хаим:

— Зачем же вы дали себя затянуть трясине? — презрительно спросил он. — Разве вас кто-то загнал в нее насильно? Разве человек не хозяин своей судьбы?

Женщина повернулась к нему, и опять произошло то же самое. Ее глаза на секунду расширились, и ответ прозвучал не сразу. Он был грустен, ко лбу каким-то неопишимо изящным движением взлетели тонкие, дрожащие пальцы.

— Вам трудно понять, что такое вечная неуверенность в себе, вечное желание быть не хуже других — и постоянно оказываться хуже... Вы ведь никогда ничего подобного не испытывали? Это сразу видно.

Гольдберг слегка зарумянился, польщенный, а я начал что-то подозревать. Но у Брикмана ум быстрее, чем у меня.

— Сколько букв в алфавите? — резко спросил он.

— Что? — смешалась претендентка. — Кажется, двадцать девять? Нет, тридцать.

— Сколько будет семью восемь? — был следующий вопрос.

— Что за странный экзамен? — попробовала она возмутиться, но Мейер потребовал:

— Отвечайте!

— Погодите... шестьдесят три... Нет, пятьдесят... э-э-э... шесть. Почему вы спрашиваете?

— Потому что вы лжете, — отрезал он. — Никакая вы не учительница. Учительница знала бы, что у ящериц нет чешуи, что в польском алфавите 32 буквы и таблица умножения отскакивала бы у нее от зубов.

Что-то в женщине переменялось. Верней, всё переменялось. Она будто стала стройнее и свободнее, как если бы действительно сбросила несуществующую в природе ящеричную чешую.

— Вы правы, пан, — сказала она со вздохом. — Я не учительница, я актриса. И видимо, не очень хорошая... Мне просто нужен заработок, кусок хлеба. И я в этом чужом месте совсем одна. Но это моя проблема, и я как-нибудь ее решу. Прощайте, господа. Извините, что отняла у вас время.

Я был в восхищении. Какая мимикрия, какое чутье на людей! Каждого мгновенно поняла сердцем, с каждым разговаривала по-разному! Со мной — как с одержимым маньяком. Что-то такое, видно, прочла по лицу. Хаиму, вечно метущемуся и неуверенному в себе, очень метко польстила. К Мейеру обратилась прямо, с достоинством — это не могло ему не понравиться.

И между прочим, попрощаться попрощалась, но не поднялась со стула. Значит, бой проигранным еще не считает.

— Подождите, пожалуйста, за дверью, пани...

— Дора. Дора Ковнер, — сказала она. — Ампула — характерные роли.

Перед тем как выйти, кинула взгляд на каждого. Мне — чуть сдвинув брови, Хаиму — нежно улыбнувшись, Мейеру — с холодным кивком.

— Что скажете, коллеги? — спросил я. — Не кажется ли вам, что это «С» в чистом, природном виде?

— Ни мозгов, ни педагогического образования, — задумчиво сказал Брикман. — Но какова реакция, каковы инстинкты!

Гольдберг пробормотал:

— Черт ее знает. Проголосуем?

Но я, зная, что по баллам пани Ковнер точно проиграет бенедиктинцу, объявил подобно Кутузову в «Войне и мире» («Властью, данной мне государем...»):

— Берем.

Дай бог, чтобы решение оказалось правильным.

Сегодня же, без споров и раздоров, наняли аниматоршу. Имя — Зося Штрумпф. Думаю, она отлично поладит с детьми, потому что в свои тридцать лет сама как большой ребенок. Веселая, вся солнечная, природно жизнерадостная. Родом из Люблина. Их везли в ужасных

условиях, в скотском вагоне. Мать по дороге заболела и умерла. Рассказывая про это, Зося расплакалась, а минуту спустя уже демонстрировала нам, как задорно и звонко поет она детские песенки. В прежней жизни она была учительницей музыки, привыкла работать с малышами. Маленькая, очень полная. Незамужем и, кажется, вообще девица, причем уже смирившаяся с мыслью, что мужчин в ее жизни не будет — и ладно. Это очень, очень хорошо.

На первом собеседовании Мейер с Хаимом сочли, что она может подойти на должность куратора группы «Сг», а я не согласился: чересчур добра и привязчива. Для педагога моей системы это серьезный дефект.

Поэтому сегодня я нарочно завел разговор о том, что у нас в трезориуме будут одни сироты, работа с которыми имеет свою специфику. Коровьи глаза Зоси моментально наполнились слезами. Мы с Мейером переглянулись. Он спросил:

— Любите детей?

— Очень! Их, бедненьких, так жалко!

И мы решили, что нет, в шацзухеры она не годится. Пусть играет на пианино, водит хороводы и устраивает игры в классе. А анализировать и делать выводы будут хладнокровные, объективные специалисты.

Насчет Зоси у меня больше всего сомнений. Будет слишком сюсюкать и жалеть или, того хуже, заведет любимчиков — уволю. В моей системе нельзя выделять никого из детей, это тяжелейшая ошибка, даже преступление. Мы выделяем каждого. Они все наши любимцы.

В общем всё. Команда в сборе. Осталось только снарядить в плавание корабль. Хозяйственными заботами будет ведать пани Марго, я ей всё растолковал и уверен, она справится. Мы же с Брикманом и Гольдбергом будем вводить в методологию Лейбовского и актрису. Главное, чтобы они уяснили принцип. Будут доучиваться в процессе работы.

Хан-те-жу в Китае. КН. Винабона ен модоч

2 ноября

Второе название дня

Три дня не писал. Не было ни минуты свободного времени. Это безобразие. Мой дневник — документ огромной важности. Вроде судового журнала. Все мели, рифы, ошибки навигации должны быть зарегистрированы ради тех, кто поплывет этим маршрутом в будущем. Я перестал обращаться к другу из прошлого, это мне уже не нужно, однако продолжу писать по-русски. Во-первых, мне это приятно, а во-вторых, даже если кто-то из коллег по случайности заглянет в мою тетрадь, ничего не поймет. Значит, я могу писать со всей откровенностью.

Кастелянша достойна самых высших похвал. Нашла отличных мастеров, договорилась об оплате, добыла все необходимые материалы, контролирует ход ремонта — и почти со всеми вопросами разбирается сама, обращаясь ко мне лишь при крайней необходимости.

Сегодня основная перестройка почти завершилась. Фантастический темп! Дело в том, что мастера стосковались по работе и все без исключения страшно нуждаются в деньгах.

Бывший салон оборудован под классную аудиторию по разработанной мной системе.

На одной стене четыре зеркала, вроде бы оставшихся от парикмахерской, но на самом деле — нет. Пани Марго купила витринное стекло бывшего кафе на Жигмунтовской. Там одна сторона зеркальная, а другая — обычная и просматривается насквозь. Стена деревянная, мастера вырезали в ней четыре прямоугольника. По ту сторону «иллюминаторов» помещение для шацзухеров. Дети нас не увидят, а мы сможем отлично за ними наблюдать, перемещаясь от окошка к окошку. Для слышимости около пола и под потолком проделано шестнадцать отверстий, забранных сеткой. Нам очень важно знать, как и о чем будет говорить объект наблюдения. Тут надежда еще и на Хаима. Он когда-то работал с глухонемыми подростками и научился читать по губам.

В двух спальнях второго этажа уже стоят восемь кроваток (не знаю даже, где волшебница кастелянша их достала). Комнаты двухсветные — выходят на улицу

и во двор, но мы оставили только вторые окна, первые замазали белой краской. Внизу, в салоне, оконные стекла и так матовые. Незачем нашим детям видеть внешний мир. Он отвратителен. Они будут жить на чудесном острове.

Тем важнее задний дворик, единственное место, откуда воспитанники смогут видеть небо. Я попросил Гирша Лейбовского, поскольку он художник, что-нибудь придумать. Он купил на Слиске кисти, краски и превратил каменный мешок в чудо. Асфальт стал зеленым лугом, причем зелень поднимается и на стену, создавая эффект широкого пространства. Выше нарисована лента реки. На том берегу — горы с заснеженными верхушками. Потом ярко-синее небо и солнце, похожее на сочный персик. Спальни Гирш расписал одну деревьями и зверями — она для девочек и называется «Лесная», другую рыбами и кораллами — эта будет «Морская», для мальчиков. Классная зала превратилась в тропический сад: на стенах пальмы и пышные цветы.

Хаим, которого, кажется, раздражает Лейбовский, говорит: жуткая безвкусица. А мне нравится. У меня, как и у детей, примитивные вкусы.

Сегодня во время педагогического инструктажа возник спор с Дорой. (Пани Ковнер категорически потребовала, чтобы ее называли только по имени, поскольку «она еще не в том возрасте». Надо заметить, что, сбросив «ящеричную чешую», то есть принарядившись и подкрасившись, она действительно сильно помолодела. Вряд ли ей больше сорока.)

— Глупости какие, — сказала Дора, выслушав теоретическую часть. — Сразу видно, пан Данцигер, что у вас не было собственных детей, да и сами вы в детстве наверняка были маленьким старичком. Дети, представьте себе, живые. Они с возрастом меняются, и часто до неузнаваемости. Вот я до двенадцати годков была пинькой, а потом во мне будто шампанское взбурлило и вышибло пробку. Какая к дьяволу «типизация» в восемь лет? К пубертату она полетит к черту, и вы с вашей мудреной кодификацией сядете в лужу.

С этой аргументацией я хорошо знаком и ответил то же, что всем прежним критикам:

— Скажите, росток нарцисса похож на росток тюльпана, когда только вылезает из земли?

— Понятия не имею. Наверное. Все ростки похожи.

— Но он все равно нарцисс, верно? И тюльпаном не станет. Если же вы приняли росток тюльпана за нарцисс, значит, вы паршивый садовник. Индотип заложен в человека природой, измениться он не способен. Мы можем ошибиться в диагнозе, ибо — тут вы правы — эволюция характера не прямолинейна. Но это лишь будет означать, что в следующий раз мы сделаем коррекцию, и ошибка не повторится.

Дора замолчала и задумалась, а и первое, и второе с ней нечасто бывает. Признаюсь, я остался собой доволен.

Выдано пани Марго на текущие расходы:

10 дюжин яиц — 100 за.

Хлеб черный 10 кг — 40 за. (когда придут дети, можно достать и белый по 6 за./кг)

Картофель 200 кг (с запасом) — 300 за.

Крупы (два мешка) — 380 за.

Детская одежда и обувь — 1350 за.

Постельное белье — 890 за.

Аванс за конфеты, яблоки и апельсины для детей — 425 за. (М. обещала найти спекулянта подешевле.)

Посл. выплата стекольщику и столяру — 1900 за.

Две коробки игрушек — 50 за. (М. говорит, что можно найти любые, и задешево. Все продают, мало кто покупает.)

Итого: 5435 за. (Обменял по 110 за. за доллар.)

3 ноября

Великий день. Сегодня поступили воспитанники. Трезориум открылся.

Я внешне спокоен, потому что директор должен быть всегда невозмутим, но внутри всё поет и прыгает. От нервов ничего не ел и не хочется. Сейчас третий час ночи,

а сна ни в одном глазу. Дважды спускался из своей надстройки на второй этаж и слушал, как спят маленькие островитяне. Верней, просто стоял, как идиот, и блаженно улыбался, потому что ничего не было слышно. Пятилетки спят крепко и тихо.

Лирику в сторону. По порядку.

Главный принцип теории заключается в том, что в трезориум берут — ни в коем случае не *отбирают* — детей случайных, никаких не вундеркиндов. Так сказать, «с улицы». Мне нужны самые обыкновенные пятилетние люди, пока еще не испорченные обществом и неправильной педагогикой. Но все же у нас были некоторые обязательные параметры.

Во-первых, мы берем только круглых сирот, безо всяких попечителей и родственников. Никаких посторонних влияний, никаких посещений, вообще никакого контакта с внешним хаосом.

Во-вторых, дети должны быть из ассимилированных или во всяком случае польскоязычных семей. Из моих педагогов только Хаим и Зося хорошо владеют идишем.

С первым условием в Гетто проблем нет. Круглых сирот, по счастью, более чем достаточно. Всей шацзухерской командой, вчетвером, мы отправились в самый ближний детский приемник, на Огородову, я предъявил бумагу из Юденрата, и бедняга заведующий ужасно обрадовался, что мы избавим его от восьми ртов. Просил взять больше, но я отказал.

Тяжелую картину, которую представляет собой приемник, я описывать не буду. Это к делу не относится.

У них там разделение по возрасту. Малыши до шести лет в младшей группе. Я действовал так. Нарочно снял очки, чтобы не видеть лиц, не поддаться спонтанной симпатии. И, двигаясь от двери, спрашивал подряд, по-польски: «Сколько тебе лет?». Если ребенок отвечает на чистом польском *pięć* — значит, годится. Отобрал четырех мальчиков и четырех девочек, даже толком их не рассмотрев. Вся процедура не заняла и пяти минут.

Заодно переманил из приемника няню, потому что вчера пришлось уволить нашу Берту. Пани Марго обнаружила, что та таскает продукты. Оказывается, у нее

есть племянники, которых Берга подкармливает. Такие сотрудники в трезориуме не нужны.

Я поручил Гиришу и Доре, которые, каждый по-своему, отлично чувствуют людей, присмотреться к персоналу детприемника, и они подвели ко мне одну тамошнюю медсестру. Пани Малка одинокая — очевидно из-за врожденной хромоты; лицо правильное; профессиональный опыт тоже (работала в детской больнице). Единственное, слишком сентиментальна. Спросила меня: «Как же я их всех тут брошу?» Но неглупа. Когда я ответил, что мои дети тоже нуждаются в уходе и что их, в отличие от этих, можно спасти, она вздохнула и пошла за вещами.

По улице мы шли длинной процессией. Впереди я, вероятно, похожий на Гамельнского крысолова, разве что без дудки. Не веря своему счастью, я поминутно оглядывался. Потом мои педагоги, каждый вел двух детей. Сзади ковыляла пани Малка с чемоданом. На нас пялились.

Смутный черноволосый мальчик, которого держала за руку Дора, на перекрестке вырвался и побежал. Чего-то испугался? «Не гнаться за ним!» — крикнул я.

Увидев, что его не преследуют, мальчик остановился. Я вынул из кармана и показал ему конфету в яркой обертке. Молча. Вернулся как миленький, без страха, а очень собою довольный. Больше уже не бегал. Есть искушение сходу типизировать его как С-ПВ, но скоропалительные выводы в нашем деле недопустимы.

Всю вторую половину дня обрабатывали наш «улов»: успокаивали, мыли, одевали, обустроивали, кормили. Напишу про каждого завтра утром, на свежую голову. Хорошая новость в том, что все здоровы и в приличном физическом состоянии, если не считать последствий недоедания и (у двоих) паразитов.

4 ноября

Коротко описываю мои сокровища и первые свои впечатления.

1. **Марек.** Низкорослый для пятилетка. Несоразмерно большая голова с оттопыренными ушами. Потерянный,

робкий, что неудивительно. Слишком частые и резкие перемены в жизни. Понадобится время и терпение, чтобы оттаял. Больше сказать про него пока нечего.

2. **Ривка.** Щекастая, косая, пани Малка говорит, что это детское косоглазие, в раннем возрасте довольно легко исправляется, но семья, видимо, была совсем простая, ничего не предпринимали, поэтому придется повозиться, чтобы сформировалось бинокулярное зрение. Раздобыть очки и провести цикл упражнений и процедур. Всё это пани Малка умеет. Кажется, с нею мне повезло. Вернее, я правильно сделал, поручив выбрать эту сотрудницу Доре и Лейбовскому. Даже если по мягкосердечию пани Малка начнет слишком жалеть и выделять кого-то из детей, это не очень страшно — она ведь не шацзухер. А дети уже инстинктивно к ней тянутся. Без матерей им не хватает ласки.

Стоп, я отвлекаюсь.

3. **Волек Эльсберг.** Единственный, кто знает свою фамилию. Из интеллигентной и полностью ассимилированной семьи. Это стало ясно во время медосмотра — необрезан. Очень развитая речь, но сильно картавит на букву «р». В первую же минуту, хотя его об этом не спрашивали, объявил: «Мой папа пвофессов ювспвуденции», легко произнес трудные слова. Правда, затем совершенно таким же тоном, будто речь шла о профессии, прибавил: «А моя мама Злата. Я потерялся на вокзале, но я найдусь».

— Конечно, — согласился я. — А пока поживешь у нас, хорошо?

Он важно кивнул:

— Ховошо.

Ничего, у пятилеток память короткая. Забудет.

4. **Рута.** Беленькая, светлые кудряшки — прямо ангелочек. Наши женщины пришли от нее в умиление. Повариха Фира, мывшая Руте голову, тихонько спросила: «Пан директор, а может, переправить ее за стену, каким-нибудь добрым людям? Такую с милой душой удочерят. Никто никогда не подумает, что еврейка».

Мы с Мейером только переглянулись. Вот ведь дура! На всем свете нет для ребенка места лучшего, чем наш «Остров Сокровищ».

5. **Дина.** У этой никаких шансов сойти за нееврейку. Черные мелкозавитые волосы, нос уже сейчас клювиком. Говорит не переставая. Развитая фантазия или же это только нервная реакция. Посмотрим: Голосок хриловато-гнусявающий, но симптомов простуды нет. Пани Малка предполагает какой-то дефект носовой перегородки.

6. **Изя.** Рыженький, вся кожа в ярких мелких веснушках, будто брызнули из пульверизатора оранжевой краской. Непоседливый, все время вертится. Стал прыгать на кровати (никогда не видел пружинного матраса), упал, закатил рев. И еще дважды ревел. Плакса.

7. **Хася.** Анемичная, тусклая, вялая. Но признаков умственной патологии не вижу, иначе пришлось бы вернуть в приемник. Трезориум — не лечебное заведение, у нас иные задачи. На вопросы отвечает односложно, без выражения, но верно и понятно. Возможно, просто хронический авитаминоз. Личико сонное, некоторая косолапость — вероятно, последствие детского рахита.

8. **Яцек.** Тот непоседа, который сбежал по дороге, но вернулся, соблазненный конфетой. Оказался цыганенком. Этот народ вместе с евреями признан «недочеловеческим». Но цыган в Гетто мало, потому что к пунктам сбора они не являются и полиции приходится их вылавливать. «Татки-мамки» у Яцека нет и не было, он жил «при бабче», но она «ведьма» и он от нее «утекл». Сказал мне: «И от вас утеку, коли драться станете». Развязный. Очень подвижная мордашка, постоянно кривляется, строит рожи. Крупнее других детей. Речь неправильная, но хорошо развитая.

Завтра никаких занятий. Вволю кормить, чтоб перестали бояться голода. Разложить внизу игрушки, все, какие есть. Посмотрим, кто что выберет и как при этом разрешатся конфликты. Зося будет играть на пианино, петь песенки, но не вовлекая детей. Пусть успокоятся, поймут, что в новом доме хорошо. Пусть немного пообвыкнутся. У малышей это быстро.

А послезавтра приступим. Меня сжигают азарт и нетерпение. В наблюдательной комнате разложена бумага

для записи, разного цвета карандаши. Всё готово к поиску сокровищ. Корабль, на котором девять взрослых моряков и восемь маленьких пассажиров, отправляется в плавание.

Нет, наш корабль везет восемь запертых сейфов с золотом. И к каждому — краду метафору у Брикмана — нужно подобрать свой ключ.

И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ

Breslau



Bonifacius-Kirche

Ненависть — не менее богатое чувство, чем любовь. В лицее учили, что древние греки различали целых четыре вида любви: *эрос*, *филия*, *агапе* и еще какая-то. Танина ненависть была многообразнее. Таня ненавидела почти всё, что видела вокруг. И все нации, с которыми сталкивалась. С разной интенсивностью и за свое.

Больше всего, конечно, немцев — обжигающе, страшно, ненасытно. За то, что убивают, калечат, втаптывают в грязь, превращают людей в тварей, чванятся липовым превосходством, обожают своего дерганого фюрера, презирают всё на них непохожее. За то, что так неистово цепляются за каждый клочок земли, хотя уже им самим ясно: война проиграна. Эта огромная ненависть могла удовлетвориться только одним: полным уничтожением ее объекта.

Поляков она тоже ненавидела — холодно, непримиримо, безо всякого сочувствия к их страданиям. Потому что заслужили. Своим бахвальством во времена мира и раболепством во время войны, предательством Каси и брезгливой гримасой Збигнева, и еще тем, что вылавливали евреев, которым удавалось сбежать из Гетто.

Но евреев Таня тоже ненавидела — презрительно. За вечное нытье и жалость к себе, за овечью покорность, за слабость. Правда, говорят, что Гетто потом все-таки взбунтовалось и погибло с оружием в руках. Но сама Таня этого не видела, к тому времени она уже находилась в Бреслау. Евреи? С оружием в руках? Наверно, брехня или преувеличение. Евреи вечно всё преувеличивают.

Себя Таня полькой, еврейкой и тем более немкой (фу!) не считала. Она была русская.

Потому что Ленская, потому что «Татьяна — русская душой», потому что русские сильные. У них, то есть

у нас, Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Толстой, Тургенев, Чехов, Чайковский. И Кутузов. И ненавистный полякам Суворов. И русские танки уже под Бреслау, а скоро будут в Берлине.

Мама много раз говорила, что самая страшная ошибка в ее жизни — эмиграция, отъезд из Петрограда, лучшего города Земли. «Я была дура, я была скверная, — вздыхала она. — Я испугалась революции, я перестала верить в Россию, я забыла, что Россия всегда выздоравливает, всегда возрождается. Она — большая! В ней столько ярких, живых людей! Господи, Танечка, если бы ты видела Петербург в его лучшие годы...»

Летом тридцать девятого из польских газет вдруг исчезли антисоветские статьи. В Варшаве боялись нападения с обеих сторон — с Запада и с Востока. В кинотеатрах начали показывать русские фильмы. Таня с матерью три раза посмотрели чудесную комедию «Веселые ребята», разучили оттуда все мелодии и потом распевали их дома, под пианино.

— Россия уже возродилась! По музыке это всегда чувствуется! — радовалась мать. — «Сердце, тебе не хочется покоя!» Так мог бы написать Батюшков!

И в Гетто вся надежда была только на русских. Что придут и спасут. В декабре сорок первого, когда немцев отогнали от Москвы, среди евреев началось тихое ликование. Все ходили, таинственно друг другу улыбались, а дома потихоньку пили за русскую победу.

Или позапрошлой зимой, когда весь Рейх погрузился в траур из-за Сталинграда. Сверхчеловеки будто затянули хором, уныло, арию из «Летучей мыши»: «За что, за что, о боже мой?» А Таня плясала у себя в комнате канкан и на тот же мотив распевала слова великого Суворова: «Помилуй Бог, мы — русские! Какой восторг, какой восторг! Помилуй Бог, мы — русские! Какой восторг!»

Два месяца назад, в январе, когда объявили эвакуацию и еще можно было уехать из «крепости Бреслау», тетя Беате уговаривала племянницу не валять дурака, уносить отсюда ноги, ведь город обречен. А Таня

отказалась. Чтобы скорее попасть к своим. И еще, чтобы собственными глазами увидеть, как будет разрушен этот гнусный Бреслау, гордящийся тем, что он теперь «расово чистый». Евреев отправили на смерть, поляков выгнали. Стало очень просто и удобно: молоти всех оставшихся, никого не жалко. Особенно после того, как умерли тетушка и старый граф. Уйти отсюда, как жена Лота, но не оборачиваться, потому что ни одного праведника здесь точно не осталось. Сгиньте все, гады, гадихи и гаденыши.

Конечно, смешно вспоминать, как в первую ночь полной свободы сдуру сигналила бомбардировщикам. Могла бы, кретинка, сообразить, что когда внизу польхает в ста местах, мигание дурацкого карманного фонарика пилотам будет незаметно.

Нет, действовать надо не так. И погибать вместе с немцами незачем. Надо выбираться отсюда. Надо выжить. Спасти себя самой и помочь нашим — вот как надо.

У Тани под стелькой теперь лежал в шестнадцать раз сложенный листок папиросной бумаги. И там координаты точек, по которым нужно вести огонь. Новая резиденция гауляйтера, оперативный штаб коменданта, узлы связи, Гестапо — всего шестнадцать пунктов. Не беженкой она явится к своим, а помощницей.

До передовой было близко. Если пойти обычным, неторопливым шагом от центра по Кластерштрассе, минут через сорок уже будешь у русских. Но это, конечно, невозможно. К линии фронта и на километр не приблизиться. Всё оцеплено, перекрыто. Без особого пропуска никого не пустят. Можно, конечно, стащить у свежего раненого, но ведь там будет мужское имя. И потом — как проберешься через линию огня? Даже ночью, в темноте, запросто нарвешься на пулю или подорвешься на mine.

Но она пошла бы даже на этот риск, только бы оказаться на передовой, затаиться где-нибудь среди развалин. Авось повезет. Ведь она удачливая. И храбрая.

Последнее время Таня думала только о побеге. И не только думала.

В пасхальную субботу, в полпятого, после дежурства, у выхода из бункера ее поджидал ухажер Вульфи. Тощий переросток: вытянулся за метр восемьдесят, а веса килограммов пятьдесят пять, максимум пятьдесят шесть. (Таня часто взвешивала пациентов в процедурной и научилась определять на глаз.) Такой вот Вульфи — сутулые плечи, тонкая шея, собачьи глаза, которые при виде Тани зажглись влюбленным огнем.

— Добрый вечер, Хильди! Мы ведь пойдем в церковь святого Бонифация? Мы ведь договорились?

В знаменитой городской церкви с двумя колокольнями у парнишки дядя был церковным старостой, обещал пустить на службу через боковой вход. Таню, конечно, интересовало не пасхальное богослужение. Она хотела пораньше, пока еще не стемнело, подняться на самую верхотуру, чтобы оттуда поточнее прикинуть, как далеко русские. Из газет не поймешь, там пишут очень туманно, всё больше про героизм защитников, а с колокольни должно быть видно, докуда доходит полоса сплошных разрушений.

— Вы не передумали? — заполошился Вульфи. Он называл ее на «вы», шестнадцатилетнему обглодыщу Таня казалась солидной, взрослой женщиной. А она ему тыкала.

— Даже не знаю... Устала я. Но раз уж ты здесь — ладно, идем.

Мальчишка жутко обрадовался. Он был бы трогательный, если б не немец. И если бы не орел со свастикой на кепи, не крысиная шинель с красно-белой повязкой на рукаве.

Первый раз Таня увидела Вульфи неделю назад в госпитале, рыдающим над умершей матерью. Ей оторвало ногу осколком бомбы, кончилась во время операции. Долговязый гитлерюгендовец ревел, по-детски размазывал слезы. Таня дала ему стакан воды с валерьянкой. Не по собственной инициативе — велела старшая сестра. Чтоб не нервировал воплями окружающих. Вульфи уставился мокрыми глазами, сказал «большое вам спасибо», послушно выпил, и с того момента появлялся чуть не

каждый день — после работы топтался за проходной. Медсестры шутили, что он как осиротевший теленок, прилепившийся к чужой матке.

Таня не гнала немчика в шею, потому что он был частью ее плана.

Сегодня Вульффи гордо продемонстрировал второй ромб на погончике — его произвели в гитлерюгендовские шарфюреры. Таня поздравила, он поблагодарил и потом не затыкался ни на секунду. Рассказывал, что раньше пел у дяди в церковном хоре, какое это ни с чем не сравнимое, волшебное чувство — петь Баха в пустой церкви, где своды теряются во мраке, а откуда-то сочится свет и кажется, будто ты уже не на земле — на небе или даже в космосе.

Она почти не слушала эту дребедень. Дожидалась, когда разговор повернет в полезном направлении.

Людей на улице было много — предвечернее затишье. Почти все принаряженные, раскланиваются со знакомыми. Русские троекратно целовались бы, говорили «Христос воскрес», думала Таня. А у этих в ходу новое приветствие: «Бляйб юбриг», «Оставайся жив». Хрен вам. Столько лет вместо «здрасьте» говорили «хайль Гитлер», теперь получайте.

Церковь была уже близко, и Таня решила, что больше не будет ждать.

— Как учения? Скоро вас на фронт?

Вульффи приосанился.

— Самое позднее через неделю. Осталось только научиться стрельбе из пулемета «МГ 08-15». Боец должен уметь всё. А мы, Гитлерюгенд, особенно. На нас смотрит вся Германия.

— Само собой, — кивнула Таня.

Немцы от отчаяния совсем свихнулись. Поставили под ружье сопливых мальчишек. Набрали два батальона, натаскивают перед бойней. Ни черта не жалко, но ведь гадость же. Тетя-покойница по этому поводу говорила: кто соблазнит малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в пучине морской. Ничего, скоро потопят. Всех.

— А как же мы будем видеться? Ведь с передовой вас, поди, отпускать не будут?

— Рядовых — конечно, нет, — важно ответил Вульффи. — Нас строго предупредили: кто отлучится, будет считаться дезертиром и может быть расстрелян на месте. Но я теперь шарфюрер! Мне должны дать пропуск, чтоб я мог ходить в штаб батальона. А штаб почти в центре.

— Смогу я тебя навещать? — проникновенно глянула на него Таня.

Он весь засветился.

— А вы... пришли бы? Правда?

Наверное, вообразил себе, как обзавидуются его прыщавые приятели-онанисты. К Вульффи пришла настоящая взрослая девушка!

И укорила себя. Мальчик-то в сущности был славный. Но среди клопов, наверное, тоже попадаются славные, однако все они питаются кровью. И всех их нужно давить.

— Обязательно приду. Если дадут пропуск.

Он замигал, что-то соображая.

— ...Попробую поговорить с Паулем Редером, это наш гефольгшафтсфюрер. Очень хороший парень. У него бланки. И ротная печать. А вы правда придете?

Взгляд доверчивый, радостный. Таня полуотвернулась.

— Знаешь, говори мне «ты». Я медсестра, ты солдат. Оба делаем одно дело.

Вульффи тронул ее за локоть — и, понизив голос:

— Ой, смотри, Карл Зауэр! Тот самый! Панцер-Карл! Он из наших!

По противоположному тротуару вразвалку шел зысокий парень в гитлерюгендовской шинели, на каждом плече по панцерфаусту. Шинель была расстегнута, на кителе поблескивал новенький Железный крест.

— В каком смысле «панцер»?

— Ты что, газет не читаешь? Это же Зауэр! Охотник за русскими танками! Всегда сам по себе. Уже пять русских «железков» подбил. Еще одна — и получит Рыцарский крест. Представляешь?

Словно почувствовав, что про него говорят, высокий остановился, поставил на землю свои штуковины, стал закуривать, хотя членам Гитлерюгенда это строжайше воспрещалось.

— А как он попадает на передовую?

— Никто не знает. Первый танк Карл поджег в Габитце, второй — в другой стороне, около аэропорта. Сам, безо всякого приказа и разрешения. А потом ему уже гауляйтер лично специальный пропуск выписал. Охоться где хочешь.

План сходу перестроился.

— Познакомь меня с ним... Ты что, робеешь?

— Я? — Вульффи расправил плечи. — Да он меня знает. Мы вместе на сборах были. Пойдем.

Еще издали начал тянуть руку, крикнул громче, чем нужно:

— Привет, Карл. Я Вольфганг Миллер из второго батальона. Помнишь меня? Ну, Драхенбрунн, ноябрь. А это Хильди, моя... знакомая.

Горделиво кивнул на Таню.

— Привет. — Зауэр на парнишку едва посмотрел, зато Таню оглядел с интересом. Она смотрела на него так же. Этот ублюдок ей действительно был очень, очень интересен.

— Как сегодня поохотился? — почтительно спросил Вульффи.

— Никак. Все иваны попрыгались.

— Тоже отмечают Пасху?

— Шутишь? Они в Бога не верят. — Зауэр выпустил вверх струйку дыма, слегка улыбаясь Тане. — Говорят, подарочек нам готовят. Большой бум-бум по случаю праздника. Вот и затаились. Только зря на передок протаскался. Думаю вот прошвырнуться по набережной, пока не жажнули. — Приложил два пальца к козырьку кепи. — Фройляйн.

Хотел идти.

— А меня с собой возьмешь? — сказала Таня, глядя ему в глаза. — Я бы тоже погуляла вдоль Одера. Он в темноте такой красивый, когда отражаются сигнальные ракеты. Пока, Вульффи. Увидимся.

Небрежно махнула рукой потрясенному Вульфи.

Тот, сраженный предательством, пробормотал:

— ...Ага. Я зайду. Завтра.

А Зауэр победительно улыбнулся. Привык, что девки на него, героя, вешаются.

Покосившись на новую знакомую, сказал:

— Зайдем только сначала ко мне. Оставляю своих «поросятко», все-таки двенадцать кило.

Поднял на плечи панцерфаусты.

— Тяжелые! — по-девичьи поразилась Таня.

— Разве это тяжелые? Такой шестикилограммовой штучкой можно подорвать русский Т-34, а это 15 тонн. Знаешь сколько стоит такое чудовище? 182 тысячи рейхсмарок. А моя дудка обходится Рейху всего в восемь марок. Это называется «военная экономика».

— Откуда ты все знаешь? — восхитилась она, уверенная, что эту байку он рассказывает всем подряд.

Идти было близко. Должно быть, Панцер-Карл повстречался им рядом с домом.

— Вон мои окна, — показал Зауэр. — Сам гауляйтер Ханке разрешил мне жить не в казарме и выделил квартиру. Со всей обстановкой. Раньше адвокат жил. Идем, покажу.

Таня, конечно, знала, что последует дальше, и была готова.

Герой-охотник оставил свои железки в прихожей, повел показывать комнаты и в спальне, само собой, попробовал обнять.

— Не наводи свой панцерфауст, я не русский танк, — насмешливо сказала Таня. — И вообще членам Гитлерюгенда запрещается путаться с женщинами. Вам надо беречь силы для борьбы с врагами Рейха.

Уперлась ему ладонью в грудь, но оттолкнуть не оттолкнула.

— Зачем же ты со мной пошла? — набычился он.

— А надоело с сопляком болтать. Подумала, с тобой будет интересней.

Зауэр немного воспрял.

— Вот зря ты так. Этот твой Майер, или как его, конечно, щенок щенком. Но знаешь, как дерутся немецкие щенки? Наши ребята, кто уже сражается, всех прямо поражают. Вообще ничего не боятся. На смерть идут, как на танцы. Это мне сам гауляйтер сказал, лично.

Опять урод гауляйтером хвастается, подумала Таня, восхищенно качая головой.

А Зауэр решил, что нашел к ней верный подход, и загромыхал, как на митинге:

— Фюрер сказал: «Моя молодежь, готовься к тому, чтобы править миром!» И мы готовимся. Многие из нас погибнут, но оставшиеся будут подобны закаленной стали. Пусть все знают: новое поколение немцев достойно править миром!

Надо было с этим заканчивать.

— Куда ты сегодня ходил на охоту? — спросила Таня.

— На юг, на Штайнштрассе. Там сейчас самое пекло.

Пижонил. Только в романах и в кино употребляют такие слова — «самое пекло». Таня изобразила восхищение:

— Наверно, жутко страшно оказаться на линии огня. И жутко опасно. Как ты только не боишься?

— Зря рискуют только идиоты, — подмигнул Зауэр. — Если бы я перся под снаряды и пули, давно уже валялся бы где-нибудь в развалинах. Но я умный. У меня метод. Надежный и почти безопасный. Я, как черт, из-под земли высываюсь. Бум! — Он вскинул воображаемое оружие. — Иваны: «Что?! Где?! Откуда?!» А Панцер-Карла уже нету.

— Откуда же ты берешься?

— Сказано: из-под земли.

Он еще немножко поинтересничал и в конце концов объяснил.

— Между нами. Строго по секрету

Усадил рядом, на кровать. Стал шептать на ухо, хотя кто тут подслушал бы? Тане было противно чувствовать теплое дыхание на щеке, но терпела.

— Канализация, — сообщил Зауэр.

— А?

— Я проникаю, куда мне надо, по канализации. Ты не думай. Это только так называется. Дерьмо там не плавает. Такие подземные туннели прорыты под всем городом для стока дождевой и талой воды. У наших есть план коммуникаций, поэтому разведгруппы шуруют по русским тылам. А без плана там заблудишься, сгинешь. Иваны минировать минируют, но далеко не суются.

— И у тебя есть план канализации?

— Мне не надо. У меня папаша работал в «Бреслау Вассерверк», я с детства под землей как у себя дома.

— Но как же русские мины?

— Чепуха. Они опасны только для тупиц. В галереях всюду вот такой слой пыли. Если вижу, что натоптано — не суюсь, и все дела.

Он положил ей руку на колено, будто ненароком. Таня стерпела и это. Лишь бы не спугнуть.

— Например, сегодня на Штайнштрассе я как попал? На перекрестке Аугусташтрассе и Фихтештрассе — знаешь, где аптека — спустился в люк. Потом повернул в первый коридор налево, отсчитал пять колодцев — вот тебе и передовая.

— Пять колодцев? А дальше?

— Вылез бы из шестого — там уже русские. Не дай бог обсчитаться — попадешь к иванам в лапы. Вылезешь такой: «Здрасьте, очень приятно, я охотник за вашими танками».

Она хихикнула, и он сразу обнаглел. Обхватил за плечо, ткнулся губами в шею.

Но теперь, узнав главное, Таня миндаляничать с ним перестала. Отпихнула, поднялась.

— Это я сама решу.

— Что «это»?

— Когда с тобой обниматься. И стоит ли вообще. Пока вопрос открытый. А будешь лезть — закроется.

С подобными субъектами только так и нужно. Держать перед носом морковку на ниточке. И ни в коем

случае не травмировать их поганое самолюбие, иначе сразу охамеют и огрубеют.

По всему городу, в одном, другом, третьем месте, подряд, одна за другой завывали сирены. Даже странно. При обычной бомбежке их не включали.

Зауэр бросился к окну, распахнул его.

Снаружи уже стемнело. Везде, по всему небу метались лучи. Дальний рев моторов несся и спереди, и слева, и справа.

— А вот и пасхальный подарок Сталина! — нервно хохотнул Карл. — Дождались! Дуй в убежище. Я на крышу, полюбуюсь. В щель от иванов забиваться не стану.

— Я с тобой, — сказала она. Сама не знала почему. Очень уж странное было небо, всё в сполохах. И гудело, словно церковный орган, готовящийся заиграть.

Они взбежали по лестнице на чердак. Моторов было уже не слышно, их заглушал грохот разрывов. Бомбили и за рекой, в Клечкау, и на Моргенау, и в Хёфхене, и в Гандау. Только в центре пальба с земли была неистовой, чем бомбежка, а прожектора понатыканы так часто, словно густая колоннада какого-то храма огнепоклонников.

— «И в разъяренном океане, среди грозных волн и бурной тьмы, — шептала Таня, вертя головой, — и в аравийском урагане, и в дуновении чумы!»

Думала: «Сгинь, проклятый город! Сгинь, проклятая страна! Ты заслужила!»

А Зауэр вдруг заорал:

— Какое зрелище, а? Вот она, смерть! И на земле, и на небе! Гибель богов! Огненное горнило!

Он, конечно, был полный кретин. «Горнило». Застыл на самом краешке крыши, размахивал руками, Мефистофель хренов. Но Таня вдруг поняла, что они похожи. Во всем Бреслау только двое и радуются происходящему.

Мысль была неприятная. Таня передернулась.

А этот оглянулся, зубы оскалены.

— Ты не такая, как другие девчонки. Не трясешься. В тебе есть сила, я такие вещи чувую. В чем твоя сила, Хильде?

— В ненависти, — сквозь зубы ответила она.
Когда он отвернулся, ужасно захотелось подойти и спихнуть вниз. Спасти от смерти сколько-то русских танкистов. Кто потом разберет, после такой бомбежки, от чего свалился юный герой?

Не спихнула по двум причинам.

Дом всего четырехэтажный. Вдруг насмерть не расшибется и потом донесет?

И еще из благодарности. Теперь Таня знала, как доберется до своих.

ДРЕССИРОВКА



спасения, и ты, Стася, и ты, и ты... (звучит музыка)

« Не стесняйся, но лучше прости нас... »

« Давай, давай, давай, давай... (звучит музыка)



1987

1987

В дороге Рэм никак не мог пристроиться, всё пересаживался с места на место. Сидеть было ничего, нормально. На дне кузова — сено, нежестко. Можно опереться спиной о борт, и не тесно — в грузовике ехали человек пятнадцать, все в 359-ю. Хотя в разведку Рэм и не попал, так за этой дивизией и остался. В предписании значилось «для определения по штатной должности».

Но разговоры попутчиков были — хоть вой.

Сначала рядом оказался хохмач, травил байки из госпиталя. Веселье было такое:

— У нас в палате мужик был — ему осколком хрен аккуратно так срезало. Осталась кочерьжечка, с ноготь. Ну, то есть дула у пушки нету, а лафет с колесами на месте. Хотелка осталась, махалки нету. — Показал. — Вот такусенькая шишечка.

— Лучше бы с колесами оторвало, чтоб не мучиться, — комментировал под хохот сосед.

— Это ты зря, — с серьезным видом возражал юморист. — В хозяйстве всё сгодится. Жена полотенчику повесит.

Рэма замутило. Пересел. Оказался рядом с двумя немолодыми солдатами, которые, кажется, беседовали о чем-то нормальном.

— ...Главное, видно, что беженцы, — рассказывал один. — А старшина: «Огоны!» Я говорю: ты чего делаешь? Там же бабы, говорю. А он говорит: они наших баб жалели? И фигак из пулемета вдоль моста...

— Озверели все, да, — кивнул второй. — У нас до Коростылева ротный был, Шапиров, еврей. Не застал? Его под Белостком убило. Пленных фрицев не просто кончал, а в живот. И глядел потом... Тоже можно человека понять. Он сам из Минска, всю родню у него поубивали.

Но первому хотелось досказать про свое:

— ...Так без разбору всех и положил. Беженцы не беженцы, бабы не бабы. До войны как было? Человеческая жизнь — огого. Убил кого — самого к стенке. Ну, или в тюрьму. А теперь... Разохотились.

— Чужих еще куда ни шло. Так ведь и своих — как плюнуть, — поддакнул второй, вполголоса.

— То-то и оно...

От этих философов Рэму стало еще тошней. И так на душе было погано. Все мысли — об одном. Даже воевать не начал, а уже двух людей погубил. Немецкую девочку и Уткина. Всё из-за своего гонора. Выпендривался перед самим собой, железный стержень...

Перебрался от философов вперед. На лучших местах, укрытые от встречного ветра кабиной, и не на полу, а на мягких мешках, сидели трое: капитан из политотдела и два сержанта. Предлагали там вначале место и Рэму как офицеру, но он отказался. Чтоб не вести с капитаном дорожные разговоры. Еще в дивизию ехала женщина-военврач, но политотдельский галантно усадил ее к шоферу, в тепло.

На мешках по крайней мере разговор был степенный, без ужасов.

Говорили, что катить по асфальтовому шоссе одно удовольствие. Никакой тряски, и толкать не надо.

— У нас бы сейчас или в той же Польше сто метров проехал — вылезай, и раз-два-взяли, — сказал сержант-сапер. — Дома у них тут, опять же, огого. Даром что деревня, а будто в городе. Вы поглядите, товарищ капитан: здоровенные, каменные, чистенькие — картинка.

Капитан, должно быть, вспомнил, что он политработник, и солидно ответил:

— Так это для показухи. Чтоб дураки вроде тебя ехали по шоссе и нахваливали. Здесь одному кулачью можно строиться. «Гроссбауэры» они называются. А как живет простой люд, батраки и малоземельные, ты с дороги не увидишь.

— Вон оно чего, — подивился сапер и незаметно подмигнул Рэму.

С час ехали без остановок, но перед понтонным мостом встали. Движение впереди было попеременное,

и сейчас пропускали встречу. «Glatzer Neiße», прочитал Рэм на табличке название реки.

Под знаком, прямо на земле серой кучкой сидели пленные, человек двадцать. Увидев их, Рэм уже ни на что другое не смотрел.

Вот они какие, фашисты.

Обычные люди, очень усталые. Два типа лиц. Или испуганные, все время находящиеся в движении, переводящие взгляд с предмета на предмет. Или равнодушные, неподвижные, смотрящие словно внутрь себя. Представить, что эти оборванцы спалили и завалили трупами целый континент, было невозможно.

Солдаты-попутчики тоже стояли у борта и разглядывали немцев, но думали, кажется, про другое. Ефрейтор-шутник, который рассказывал про госпиталь, сказал:

— Свежак. С пылу с жару. Может, даже сегодняшние. А конвой — лопухи обозные. Поди не обшмонали толком. Товарищ капитан, а? Две минуты? Тыловым же всё достанется.

— Я сплю. — Политотделец откинулся назад, сдвинул козырек на глаза.

— Тихо, славяне. Капитана не будим! — весело отозвался ефрейтор.

Ловко соскочил вниз. За ним еще несколько человек. Что они собираются делать? — не понял Рэм.

Ефрейтор взял за шиворот пленного — из сонных, равнодушных.

— Ауфштейн! Шнель!

Заставил подняться, стал хлопать по карманам. Что-то достал, повертел, швырнул на землю, стал искать дальше. Немец безучастно глядел в сторону.

Остальные бойцы деловито обшаривали других фрицев, покрикивая на них и пиная тех, кто медленно шевелился.

Грабят! На глазах у всех, среди бела дня! А как же приказ двадцать пять ноль два?

Рэм высунулся из кузова в нерешительности. Трое конвойных, низкорослые мужички в обмотках, с допотопными трехлинейками, переглядывались между собой, но помалкивали. Старший, наверно, куда-то отлучился.

Я офицер, я не должен этого допускать, сказал себе Рэм. И отвернулся, сел. Есть старший по званию — капитан. Пусть он и не допускает.

Из кабины выглянула врачиха.

— Мальчики, ну ей-богу! Колонна двинулась! Поехали, поехали!

Солдаты полезли назад в кузов. Стали показывать трофеи: часы, зажигалку, еще что-то. Рэм последовал примеру капитана — сделал вид, что задремал. А скоро и в самом деле уснул, укачанный гладкой ездой.

Толкнули в плечо.

— Станция Вылезайка, — бодро сказал капитан и потянулся. — Бреслау нас встречает аплодисментами.

Наверно, он имел в виду грохот, доносившийся откуда-то спереди, не очень издалека.

Рэм тряхнул головой, чтобы прогнать сонную дурь. Артиллерийская канонада, вот что это!

— Уже передовая, да?

Он взялся рукой за борт, соскочил.

Увидел круглую кирпичную башню. Голые деревья. Какие-то крыши. Грязные, подтаявшие сугробы. Лужи.

— Какая передовая? — засмеялся капитан. — До передовой три километра. Тут штаб дивизии. Вон, видишь, водонапорную станцию? Там скажут, куда тебе. Давай, лейтенант, топай. Служи Советскому Союзу.

Отдав документы дежурному, Рэм вышел из штаба во двор, к гаражам, где тоже располагались подразделения. Было велено обождать, а внутри негде, да и накурено так, что не продохнешь. На воздухе лучше.

Можно было и присесть на ящики около входа, но пришлось бы постоянно вскакивать — мимо все время проходили старшие офицеры. Они здесь были не такие, как в штабе фронта. Все в заляпанных грязью сапогах, многие одеты не по форме. Кто-то в галошах, кто-то в меховой шапке, один франговатый майор даже со стеклом.

Приехали на немецком мотоцикле с коляской трое бойцов, тоже нетылового вида: автоматы не на груди, а за спиной, кверху прикладом, на поясе у каждого по кобуре да по ножу.

Кто-то крикнул от дверей:

— Здорово, разведка! Не с пустыми руками?

— С пустыми не ходим, — ответил старший, с сержантскими лычками.

Рэм похолодел. Это уткинские! Знали бы они...

Слава богу, скоро после этого выглянул писарь. Вернул документы, дал листок с машинописью. Там говорилось, что младший лейтенант Р.А.Клобуков направляется в распоряжение штаба 94 с.п. для дальнейшего прохождения службы.

Идти надо было километра полтора в ту сторону, откуда недавно слышалась пальба, сейчас, правда, утихшая. Маршрут такой: налево мимо кирхи, через двести метров направо и потом никуда не сворачивать до красного кирпичного сарая с провалившейся крышей. Там уже близко, покажут.

Шел он как-то нескончаемо долго. Обходил лужи, чавкал глиной, отскакивал от проезжающей мимо техники, чтоб не забрызгало. Было пасмурно, низкие облака сочились мелкой водяной пылью. Всё серое, грязное. Впереди опять забухало, еще и застрекотало. Идти туда ужасно не хотелось.

Вдруг он поймал себя на том, что сильно замедляет ход и что шаги сами собой стали короткими. Разозлился. Что я как тот офицер из «Севастопольских рассказов», который сначала добровольно пошел на войну, но по дороге затрусил и всё тянул, придумывал себе оправдания, только бы попозже попасть туда, где убивают.

После этого зашагал быстрее, и дальше всё происходило стремительно. Даже с ускорением.

В штабе полка Рэм пробыл минут пять. Помнач, занятый какими-то бумагами, неохотно от них оторвался, куда-то сходил, буркнул:

— Во второй батальон.

И снова уткнулся. Дорогу не объяснил, но дал провожатого.

Маленький, шустрый солдатик в широченной шинели и каске поверх ушанки, очень похожий на шахматную пешку, внизу широкую, сверху круглую, бойко зашлепал прямо по лужам, не обращая на них никакого внимания. Рэм еле за ним поспевал.

Штаб второго батальона находился в доме, от которого осталась половина. С одной стороны — груда кирпича, с другой — аккуратное крылечко. За дверь с нарисованным гномиком сразу комната.

Там перед трюмо сидел спиной к входу человек в бязевой нательной рубаше, занимался диковинным делом: подкручивал щипцами левый ус. Правый уже лихо торчал кончиком вверх.

Рэм назвался, доложил, что ему велено явиться к адъютанту батальона за назначением.

— Я адъютант.

Франт не оторвался от своего занятия, не обернулся. Кажется, даже в зеркало не посмотрел на вошедшего.

Крикнул:

— Валь! Тут комвзвода на пополнение. К кому его?

Оказывается, в глубине была еще одна дверь, а за нею, судя по железной кровати спинке, спальня. Над ажурным никелированным переплетом торчало дуло пулемета РПД.

— К Лысакову, его очередь, — ответила спальня тонким, будто женским голосом.

Командир батальона, или кто он там, даже не вышел взглянуть на нового офицера.

Адъютант велел:

— В третью роту дуй. Тут близко. Выйдешь и держись забора.

Минуты две провел Рэм в штабе батальона, никак не больше.

Всё это казалось ему очень странным, пока не вспомнил слова вагонного капитана. Что на фронте есть свои, кого берегут, а пришлому никто доброго слова не скажет и даже в глаза глядеть не будут. Потому что в случае чего на гиблое дело пошлют чужого.

Наверно в аду так же, если он есть, думал вконец скисший Рэм. Не раскаленные сковородки с чертями, а грязь, серость, полное одиночество, предчувствие беды, и гоняют с места на место, всё ближе к раскатам грома...

Ротный-три, старший лейтенант Лысаков, посмотреть посмотрел, но как-то чудно, будто сквозь. Был он лядящий, непробритый, в засаленном ватнике. И с замотанным горлом. Наверно простуженный.

Сидел в подвале разбомбленного дома, размешивал в кружке что-то горячее, вздыхал.

— Прямо из училища? Не воевал?

Голос сиплый, больной. Вздохнул.

— Третий взвод примешь. Они на краю деревни, в конюшне. Я как раз помкомвзвода оттуда вызвал. Пополнение вам подогнали, а то весь взвод семь человек. Сейчас Галда явится. Он мужик опытный. Слушай его. Поможет, подскажет.

Закашлялся, попил из кружки. Больше ничего не сказал, а Рэм не спрашивал. У него было ощущение, что от него теперь ничего не зависит. Что будет, то и будет.

— А вот и Галда, — сказал ротный. — Заходи, чего встал.

Рэм повернулся. Старший сержант с плоским, землистого цвета лицом, поджарый, но плечистый, скользнул по нему равнодушным взглядом и обратился к Лысакову:

— Вызывали, товарищ старший лейтенант?

— Во-первых, пополнение прибыло...

— Слыхал.

— А второе — вот новый командир. Знакомьтесь.

Сержант снова поглядел на Рэма широко расставленными, кошачьими глазами, смотреть в которые было неуютно. Подвигал желваками. Первый протянул руку и очень крепко, до боли сжал кисть.

— Галда.

— Клобуков... Будем служить вместе, — прибавил Рэм безо всякой необходимости, только чтобы на каменном лице сержанта мелькнула пусть не улыбка, но хоть какое-нибудь выражение. Оно и мелькнуло, но такое презрительное, что Рэм решил больше не любезничать.

Он первым поднялся во двор, сухо спросил:

— Где расположение взвода? Ведите.

— Сейчас ребят кликну. Приказано же: пополнение принимать. Вы тут побудьте.

Произнесено это было тоном приказа, и ответа Галда не ждал, просто повернулся и пошел. Рэм заколебался. Окликнуть? Одернуть? Показать сразу, кто здесь командир? И смолчал. Потому что мальчишке только-только из тыла орать на фронтовика с двумя «Славами» на груди нельзя. И потому что вспомнил жесткие, холодные глаза сержанта.

Ладно, пускай помкомвзвода поделится с товарищами первыми впечатлениями о новом командире. Вряд ли лестными. Ничего, еще будет время себя поставить.

— Клобуков! Ты, что ли? — крикнул кто-то. — А я услышал, в третий взводного прислали. Думаю, вдруг кто из наших? И точно!

От каменной тумбы, которая когда-то, наверное, была частью ворот, шел Петька, как его, Есауленко, из того же выпуска, только из другого потока. Последний раз виделись две недели назад, когда уезжали из Владимира. В училище они друг с другом почти не общались, а сейчас Рэм обрадовался ему, как родному.

Обнялись.

Петька попал сюда неделю назад и уже много чего знал.

— Не робей, — говорил он, — боев пока нету, мы на комплектовании. Потом еще будет учебная подготовка. Оботрешься. Тут, короче, так. В первом взводе собрали только ветеранов, и командир у них свой, старшина Рябов. У них своя жизнь. Я на втором взводе. Личсостав из остарбайтеров, это парни, которых в Германию работать угнали. Белорусы в основном, нашего с тобой возраста. Ни хрена не умеют, всего стараются. Но отделенные у меня фронтовики и помком мировой мужик. Делаю всё, как он говорит, и нормально. А ты, значит, в третий? Видал их уже?

— Сейчас посмотрю, — сказал Рэм, глядя на улицу. Там неторопливо, вразвалку, шли Галда и с ним еще шестеро. — Счастливо, Петь. Увидимся.

Ему хотелось сейчас отделаться от свидетеля, потому что знакомство с взводом вряд ли пройдет гладко.

Кажется, понимал это и Петька.

— Ага. Я пошел. — На прощание шепнул: — Ты это, со «стариками» особо не нарывайся.

Рэм смотрел на свое войско в растерянности. Более-менее по-уставному были одеты лишь Галда и немолодой узкоглазый ефрейтор. Остальные трое черт-те в чем. У двоих шинели коротко обрезаны, один вообще в каком-то кожухе и в штатских брюках. Да и у Галды, который расстегнул свой ватник, внизу оказался спортивный свитер с оленями.

— Тут все, кто остался в наличии после штурма, — сказал помощник. — Кроме Мустафина. Он в конюшне, при оружии. — И добавил, видя, что Рэм пялится на его оленей: — Утепляемся, чем можем.

Рэм поздоровался. «Старики» нестройно ответили. Каждый назвал себя, но с первого раза запомнилась только фамилия ефрейтора — Хамидулин.

— Пойдем за пополнением, — не столько спросил, сколько объявил Гада. — Поглядим, кого нам подогнали.

И пошел первым, очевидно, зная куда. Остальные за ним. Рэму пришлось догонять.

На краю растерзанной деревни или, может, пригорода, в рощице сидели на корточках люди в одинаковых шинелях и ушанках — сразу видно, только что полученных со склада. Оружия у них не было. Рэм издали посчитал. Девятнадцать человек. Увидели приближающуюся группу, стали подниматься.

Еще один, двадцатый, оказывается, стоял в стороне, отдельно. Этот выглядел по-другому: в полушубке, ремнях, с автоматом.

Подошел, откозырял.

— Принимайте, товарищ младший лейтенант. Вот тут подпишите. А это список. Разрешите идти? Мне назад, в штаб.

— Идите, сержант.

«Старики» тем временем рассматривали пополнение, которое выстроилось неровной шеренгой, но близко не подходили.

— Пленные, мать их... — процедил Гада, коротко оглянувшись, да сплюнул. — Навоюем... — и опять выматерился.

Бойцы в шеренге на первый взгляд были похожи, будто братья. Очень худые лица, с одинаково настороженным выражением, и ни одного усатого — а среди «стариков» чисто выбрит был только Хамидулин.

Рэм вспомнил, что рассказывал Филипп Панкратович.

— Из немецких лагерей? Наши?

— Были наши, да все вышли. Знаете что, товарищ командир, я с ними сам. Вы пока так постоитте.

— Хорошо, — кивнул Рэм. Он бы не знал, что сейчас надо сказать людям, пережившим такое. Наверно,

что-нибудь суровое, про искупление вины кровью. Или, наоборот, человеческое. Что самое плохое позади и что теперь впереди только победа.

С какой речью обратится к бывшим пленным Галда?

Галда прошелся вдоль притихшего строя. Негромко спросил:

— Старший есть?

Вперед шагнул длиннющий, будто телеграфный столб, ефрейтор. Лошадиное лицо, седоватые виски, из ворота шинели торчит длинная морщинистая шея с острым кадыком.

— Ефрейтор Шанин.

Вместо передних зубов у долговязого во рту чернела дыра, так что фамилия могла быть и «Санин».

Старший сержант подошел к нему.

— Как тебе лычку-то оставили?

— Не оставили. Поменяли. Сказали: получи вместо большой звезды маленькую лычку, и то скажи спасибо. Я майор. Бывший.

— Майор, твою мать, — скривился Галда. — Встать в строй!

Гаркнул на остальных:

— А ну, в две шеренги! Напра-во! Шагом марш!

— Куда вы их? — спросил Рэм, догнав помощника. —

Разве нам не в деревню?

— Вон в тот лесок. Сначала поучу маленько.

Пожалуй, это уже слишком, решил Рэм.

— Отставить! Я уважаю ваш фронтовой опыт, но приказывать буду я. Взвод, слушай мой команду! Стой! Маленькая колонна остановилась.

Старший сержант тихо сказал:

— Товарищ командир, на пару слов. — Обернулся к своим: — Веди, Хамидулин! Мы сейчас.

Взвод двинулся дальше. «Старики» шли сбоку, будто конвойные.

— Слушай, лейтенант, я эту шушеру знаю. — Серые глаза смотрели на Рэма в упор, не мигая. Выдерживать их взгляд было трудно. — Они порченые все. Их сначала надо обломать. Для того и нужен я, помкомвзвода. А ты потом командуй на здоровье.

— И как ты их собираешься обламывать? — спросил Рэм. Он никак не мог определиться, как ему держаться:

начальником или учеником. Ответил тоже на «ты», а правильно это или нет?

— Как собачью стаю. У нас на Таймыре знаешь как? Когда получаешь незнакомую упряжку, сначала определяешь жоака и лупишь палкой. Долго. Чтоб перестал рычать и завыл. Тогда остальные будут как шелковые. И с этими надо так же. Они всё одно пуганые. Должны командиров больше, чем фрицев бояться. Иначе ты их в атаку не подымеешь.

— Ты чего, правда будешь их бить?

— Одного забью до смерти, — спокойно ответил Галда. — Потому что человек не собака. Он не простит, в спину пальнет. Мне оно надо? Не бойсь, лейтенант. Никто не стуканет. Напишешь в рапорте, что на мне подорвался. Тут каждый день кто-нибудь подрывается. Я в покойника после гранату кину.

Рэм сначала не поверил. Но по лицу сержанта понял: так и сделает.

— Я этого не допущу!

Галда пренебрежительно чмокнул губами, чуть прищурился.

— Пойди-ка ты лучше погуляй, покури. Очень советую.

И Рэм не выдержал, опустил глаза. У него противно дрожали колени.

— Я третий год воюю, ты меня слушай. Тогда фрицев намолотим и сам живой будешь. — Сержант тронул его за плечо. И голос стал не таким жестким. — Война — не то, чего ты в кино видел и в газетах читал... Раньше, чем через полчаса, не приходи.

Сказал, что хотел, и неторопливо, уверенно пошел вслед за взводом. А Рэм застыл на месте. Но, когда солдаты скрылись за деревьями, дернулся, побежал.

Перед самой опушкой решимость опять его оставила. Он выругал себя, заставил идти дальше.

— Стой! В одну шеренгу становись! А ты, майор-ефрейтор, чего? Тебя не касается? — раздался голос Галды.

Стараясь не шуметь, Рэм двинулся через кусты. Что я крадусь, как ворюшка? — разозлился на себя, но опять не наступил на ветку, а обошел ее. Снег в лесу лежал грязно-белыми пятнами, меж которых блестела черная гнилая листва.

Впереди был просвет. Поляна. Рэм выглянул из-за дерева, кляня себя за трусость. Но и выйти пока было невозможно. Начнешь командовать — задрожит голос. И руки жутко тряслись. «Сейчас, сейчас», — шептал он, старался глубоко дышать.

Бойцы пополнения стояли к нему лицом, длинной шеренгой. Перед строем, сложив руки за спиной, пружинисто покачивался на широко расставленных ногах Галда. Рэму было видно, как он сжимает и разжимает пальцы в кожаной перчатке. Пятеро остальных «стариков» наблюдали сбоку.

— Значит, так, — громко объявил помкомвзвода. — Слушай сюда, давалки. Потому что вы — давалки. Бабы, когда их насилуют, есть которые лучше сдохнут, а есть которые ноги раздвигают. Вы могли сдохнуть с оружием в руках, а вместо этого лапки кверху, ноги враскоряку. Потому не ждите от честных бойцов к себе ни доверия, ни уважения. Пока не отмоетесь от грязи в бою. Ясно?

Молчание.

— Не слышу! — гаркнул сержант.

Строй недружно ответил:

— Ясно!

Галда повертел шеей туда, сюда.

— Не все ответили. Вот ты, ты, ты, ты, ты, ты и ты, три шага вперед!

Семеро, на кого он указал, в том числе ефрейтор Шанин, вышли.

Сержант приблизился к первому.

— Тебе ясно, что я сказал?

— Так точно, ясно, — мрачно отозвался чернявый, носатый солдат, глядя исподлобья.

— Что тебе ясно? Кто ты?

Когда ответа не последовало, Галда коротко ударил бойца в челюсть. Тот покачнулся, еле устоял.

— Кто ты, я спрашиваю?!

Держась за челюсть, тот глухо пробормотал:

— Давалка...

— Кто? Не слышу! — замахнулся Галда.

Вдруг кто-то громко сказал:

— А ну хорош!

Рэм, закоченев, смотрел на сержанта и чернявого, поэтому не сразу понял, что говорит Шанин.

Ефрейтор стоял вольно, глядел на Галду.

— Раз у нас сейчас разговор не по уставу, а попросту, иди-ка ты, старший сержант, ... — И ясно, коротко сказал, куда именно.

Галда обрадованно заулыбался — видно, понял, что нашел жоака. Оставил чернявого, неторопливо подошел к Шанину.

— О, майор говняный затыврал. Внимание! Приступаю к дрессировке.

Обернулся на своих, подмигнул им и на обратном повороте со всей силы врезал ефрейтору в переносицу. Тот опрокинулся наземь во весь свой чуть не двухметровый рост.

— Глядите, давалки, и запоминайте! — крикнул сержант.

Приподнявшегося Шанина он с размаху двинул сапогом в ухо. Чуть переместился, примерился — ударил по ребрам. И снова. И снова.

Забьет! Правда забьет до смерти!

Забыв о том, что может задрожать голос, Рэм выскочил из-за дерева.

— Прекратить! Немедленно прекратить!

Проклятый голос действительно сорвался. Пальцы шарили по кобуре, но она была новенькая, и кнопка не отстегивалась.

— А ну, подержите лейтенанта! — крикнул Галда, огаянувшись.

Рэма взяли с обеих сторон за плечи и запястья. Хамидулин тихо сказал:

— Товарищ командир, не надо, а? Галда всё одно по-своему сделает.

Держали крепко. Извиваться, вырываться было бы смешно и нелепо.

— Под... под...

«Под трибунал пойдете», — хотел сказать Рэм, но никак не мог выговорить эту не бог весть какую трудную фразу.

А потом и не понадобилось. Державшие его руки разжались.

Произошло это, когда сержант вновь ударил лежащего, а тот вдруг перехватил ступню, резко вывернул,

и Галда грохнулся на землю лицом вниз. Шанин навалился сверху, завернул руку назад.

— Ты утомился, дрессировщик?

— Убью, гнида! — прорычал сержант.

— Ну как хочешь.

Раздался тошнотворный треск — это Шанин переломил заломленную руку в локте. Галда завопил, получил удар кулаком в затылок, ткнулся носом в листву. Затих.

«Старики» — все, кроме Хамидулина — бросили Рэма и кинулись на Шанина. Но ефрейтор проворно поднялся, закричал: «Ко мне!» — и на выручку ему, смешавшись, бросилась вся шеренга.

Обе своры, большая и маленькая, замерли друг перед другом над неподвижным телом сержанта.

Тогда Рэм оттолкнул в сторону Хамидулина, справился наконец с чертовой кобурой, вынул скользкий от фабричной смазки пистолет и — не сразу, со второй попытки, потому что забыл про предохранитель, — выпалил в воздух.

— Взвоод! Встать в строй! Живо!!!

Все обернулись на него. Шанин махнул рукой, и пополнение стало строиться.

— Оглохли?! — рявкнул Рэм. — В строй, я сказал!

Неизвестно, послушались ли бы «старики», но на помощь пришел Хамидулин.

— Слыхали команду? В колонну по двое становись!

И сам порысил первым.

Мужик-то умный, подумал Рэм. Сообразил, что тех больше и сейчас ветеранам наваляют.

Удивительно было, что в такую минуту, сам себя не помня, он, оказывается, способен делать какие-то наблюдения.

Весь взвод смотрел на командира, ждал приказаний, а из Рэма будто выпустили воздух. Он опять растерялся. Что с Галдой-то делать? Не здесь же оставлять? И вообще, он живой или как?

Но проблема старшего сержанта решилась сама собой. Галда зашевелился, вскрикнул. Осторожно сел, придерживая сломанную руку. Еще медленнее поднялся. Наклонился за шапкой.

— Чего уставились? — рявкнул он на бойцов. — Всё, без меня воюйте.

И, ни на кого не глядя, пошел прочь через заросли.

Этот точно доживет, подумал Рэм. Но зависти не ощутил. Он сейчас был очень собой доволен. Можно даже сказать счастлив.

Но к вечеру первого фронтового дня настроение снова стало поганое.

Обустроился-то Рэм неплохо. Третий взвод квартировал в бывшей конюшне, разделенной на стойла — все равно как на отдельные купе. Бойцы там жили по двое, командиру полагался отдельный бокс с занавеской. Внутри стол, керосиновая лампа, настоящая койка. Остальные спали на сене, тоже не так плохо. И не холодно — у немцев конюшня была с двумя печками, в одном конце и в другом. Пахло, правда, конским потом и навозом, но тяжелый дух шибал в нос только при входе. Через малое время Рэм привык и перестал его замечать.

А кислые мысли накатили, когда прошло возбуждение и стало ясно, что гордиться особо нечем. Ждать хорошего тоже не приходится.

Фронтовая семья и боевое товарищество — журналистская брехня. Тут как в звериной стае. Кто сильнее, тот и сверху. Шанин оказался сильнее Галды, а он, Рэм, в тот момент оказался еще сильнее, потому что у него одного при себе было оружие. Но здесь, в казарме, а тем более на передовой, оно будет у всех. Одна часть взвода ненавидит другую, и обе ни в грош не ставят сопливого командира. Какие, к черту, немцы? Свои бы друг друга не переубивали. И что за авторитет может быть у командира, которого собственные подчиненные, будто пойманного шпаненка, хватили за руки?

Не с кем поговорить, не у кого спросить совета!

И тошно было, и себя жалко, а тут еще у «стариков» трофейный патефон заиграл-запел романс Неморино, который любил слушать отец, когда задумывался о чем-то грустном — с ним часто бывало.

Нечего раскисать, приказал себе Рэм, которому волшебный тенор сначала растравил душу, а потом

странным образом успокоил ее и укрепил. Может быть, Доницетти так же действовал и на отца?

Почитать, что ли, дальше из тетради? Дела все переделаны, распоряжения отданы, лживый рапорт про несчастный случай с помкомвзвода написан и отправлен ротному. А повернись иначе — терзался бы сейчас, сочинял другую брехню: как ефрейтор из пополнения подорвался на mine. Всё не так плохо, как могло бы быть.

Ободренный этой незамысловатой мыслью, Рэм достал записки безымянного педагога, открыл на завернутой страничке и вдруг заметил, что замшевая обложка немного отошла. Хотел поправить, сунул палец — задел что-то острое. Угол спрятанной внутри картонки или фотографии.

Так и есть, снимок.

Крупным планом девочка или очень молодая девушка. Подпирает рукой подбородок. На лоб свесилась челка. Смотрит прямо в камеру серьезным, требовательным взглядом.

Не красавица, но какое необыкновенное лицо! Как будто повидала всё на свете, всё про эту жизнь знает и понимает, но ничего не боится, ни от чего не прячется, а готова выдержать, выстоять и победить.

Вот так и нужно смотреть на мир, подумал Рэм. Как бы он тебя ни пугал, как бы ни щерил клыки.

Интересно, кто она? Какое отношение имеет к автору дневника и имеет ли? Может быть, это немка и снимок принадлежал эсэсовцу, которого не взял в плен Уткин? Жалко, коли так. Нет ли какой надписи?

Перевернул карточку — обмер. Сзади было написано по-русски: «Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоём предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем. Татьяна Ленская. 21/VII 1942».

Он потер глаза, подумав, что незаметно для себя уснул и видит сон. Но нет, это была не сон. И пушкинские строки, и пушкинское имя никуда не делись.

— Товарищ командир, разрешите? — раздался шепелявый голос.

— Входите, — отозвался Рэм, пряча фотографию в нагрудный карман.

Занавеска отодвинулась. Пригнувшись, чтоб не задеть веревку, вошел Санин (не Шанин — Рэм видел список).

— Не помешаю?

— Нет.

Рэм приподнялся, вспомнил, что он командир, и скорее сел обратно.

Посадить ефрейтора было некуда, а смотреть на него, долговязого, снизу вверх неудобно.

— Товарищ младший лейтенант, во-первых, хочу сказать вам спасибо. За то, что произошло в лесу...

— Я вам ничем не помог. Вы сами, — ответил Рэм, нахмурившись.

— За то, что вы попытались остановить сержанта. Это уже... много. — Санин переступал с ноги на ногу. — Видите ли, я таких людей знаю. Это страшные люди.

Стало неловко сидеть перед человеком, который минимум на двадцать лет старше. Рэм поднялся.

Вблизи лицо бывшего майора оказалось не угловато-грубым, а просто очень усталым. И, кажется, интеллигентным. У отца перед войной на кафедре работал Иммануил Петрович, он потом в ополчении пропал без вести, — Санин был на него похож. Из-за этого, а может быть, из-за того, что ефрейтор употребил прекрасное, из мирного времени выражение «видите ли», вдруг ужасно захотелось поговорить с ним нормально, без устава, по-человечески.

— Я думаю, Галда из-за меня взъярился. Что мальчишку безо всякого опыта над ним начальником поставили. Конечно, это несправедливо. Мало ли что у меня звездочка. Взводом должен бы командовать он...

— Регулярная армия не дураками создана. Младший комсостав не обучен читать карту, не обладает нужными тактическими знаниями, не составит толкового донесения. — Санин вроде как даже удивился, что нужно объяснять элементарные вещи. — В армии на сержантах держится дисциплина, а командуют офицеры. Конечно, хороший сержант бывает гораздо ценнее малоопытного офицера, но только Галда был плохим сержантом. Из тех, что ломают солдата. А солдата надо не сломать, его надо построить. Эх, не видал Галда, как ломают пленных

в немецком концлагере. Там у них целая методология. Сначала надо расплющить человека, превратить в дрожащую овцу, а потом уже гоняй стадо, как заблагорассудится. Поэтому лагерь на двадцать тысяч сильных, обученных военному делу мужчин у них могла стеречь рота резервистов.

— Как это — расплющить?

— Человека-то? Очень просто. Отними у него достоинство и делай с ним что хочешь. У нас эту истину плоховато понимают, потому что идея достоинства на Руси не очень укоренилась. Какое к лешему достоинство, если еще деда были крепостными рабами? Плющат, конечно, но без технологии, на голом инстинкте. Как Галда со своим идиотским «я — давалка». Вот у нас в Вольфенвальде, в сорок втором, был унтерштурмфюрер Кляйн. Мастер дрессировки.

Ефрейтор раздвинул губы — то ли скривился, то ли улыбнулся. По его лошадиной физиономии было не очень понятно. Рэм опустил глаза, чтобы не видеть дыру на месте отсутствующих зубов.

— Кляйн как делал? Встречал каждую колонну у ворот и пропускал по одному, будь там хоть тысяча человек. Не ленился. Пленный должен был встать на четвереньки и проползти мимо, а Кляйн бил каждого плеткой по задку. Кто отказывался вставать на четвереньки — сразу пристреливал. Представьте себе картину: очередь из ползущих людей и сбоку трупы. Называлось это у него по-научному «Kastration des Hengstes», выхолащивание жеребцов. Оставались только согласные быть меринами, а потенциально проблемный элемент устранялся сразу.

— Как же вы выжили? — спросил Рэм, болезненно морщась.

— А у меня иммунитет был. Получил прививку в тридцать седьмом, когда находился под арестом. — Санин снова оскалил щербатый рот, и стало понятно, что это все-таки улыбка. — Да, товарищ командир, у меня с везением не очень. Хотя как посмотреть — и тогда выпустили, и сейчас вот выкарабкался. Мне это в голову не приходило! Может, я вовсе не неудачник, а совсем наоборот?

Он, кажется, сам поразился неожиданному открытию и был не прочь порассуждать на эту тему еще, но Рэм, услышав про арест, конечно, сразу вспомнил про мать.

— А что было в тридцать седьмом?

— Человек со мной в камере сидел, интересный. Пожилой, из царских дипломатов. Научил одному секрету. Как сохранить достоинство, когда его хотят отобрать люди, которые могут сделать с тобой что угодно. Надо мучителей дегуманизировать. Он это так называл.

— То есть?

— Расчеловечить. Не считать их людьми. Вот овчарка лагерная — она же тебя унижить не может, если облает или даже укусит? Потому что она не человек, а собака, натасканная на злобу. Так же надо относиться и к этим. Они не люди, стыдиться их незачем. Поэтому я перед штурмфюрером преспокойно встал на четвереньки, да еще улыбнулся, когда он меня плеткой ожег. Потому что подумал: когда-нибудь я тебе, злобная собака, за это отплачу... Вот это время и наступило. Я на фронте, и у меня оружие.

Санин засмеялся.

— Но с тем эсэсовцем вы навряд ли встретитесь.

— А я не Кляйну тогда улыбнулся. Я и в лицо-то ему не смотрел. Какое у овчарки лицо? Я улыбнулся свастике на пряжке. А она тут, близехонько. — Ефрейтор кивнул на рокот, доносившийся со стороны Бреслау. — Я, лейтенант, очень сильно воевать хочу. И те шестеро, которых Галда совершенно правильно определил, выгнали из шеренги на расправу — такие же. Мы все — я, Качарава, Карцев, Абрамов, Шишов, Возняк, Терещенко — воевать хотим даже больше, чем вернуться домой живыми. Болван Галда не учел одного. Что мы теперь не «гефангене», а солдаты. И я должен был всем нашим это напомнить.

Рэм уже привык к виду голых десен и смотрел на широкую улыбку Санина, не отводя глаз.

— Зубы это вам немцы выпшибли?

— Нет, уже наши. В Оппельне, на фильтрации.

Вздогнув, Рэм спросил:

— Подполковник?

— Почему подполковник? Такое высокое начальство нашего брата не допрашивает. Лейтенантик какой-то.

У них там тоже метод, для скорости и отчетности. На первом же допросе вместо «здрасьте» сразу лупят со всей силы. Если видят, что слабак и долго выколачивать признательные не придется, впиваются всерьез. Им же показатели нужны — сколько предателей выявлено. А я зубы выплюнул, следовательно улыбнулся, говорю: «Немцы крепче били». Он ко мне интерес и потерял...

Рэм молчал, не зная, что сказать. Про это нужно будет думать. Много и трудно. Или не думать вообще.

— Я не только поблагодарить пришел, — сказал Саннин, не замечая Рэмова смятения. — Тут вот какое дело. Меня парнишка один тревожит. Такой щуплый, понурый, все носом хлюпает. Павлюченок фамилия.

— Я пока мало кого запомнил, — признался Рэм.

— Он деревенский, из Западной Белоруссии, совсем пацаненок. Его призвали прошлой осенью, сразу попал в плен. Пробыл недолго, даже до шталага не добрался, но сломанный вдребезги. Его по-хорошему лечить бы надо. Все время трясется. Чуть что — хнычет. Ну и, конечно, каждая сволочь его гоняет. В любом коллективе обязательно должен быть пария — закон стаи. Я таких по лагерям много повидал. Все плохо кончили. Как бы он, Павлюченок этот, руки на себя не наложил. Будет ЧП, ну и вообще...

Ефрейтор сделал паузу, будто чего-то ждал от начальника. Не дождавшись, пояснил:

— Вам как командиру вестовой положен. Взяли бы вы его. Он будет стараться. Парень деревенский, всё умеет.

— Хорошо, — кивнул Рэм, досадуя, что сам не сообразил. Он как-то забыл про вестового.

Утром пришел ротный, посмотреть на пополненный взвод. Кажется, остался доволен.

Потом, покашливая, наедине сказал Рэму:

— Всё бы ничего, но, видишь, не повезло тебе. Галда руку сломал. Кого на его место думаешь? Или не пригляделся еще? Тогда советую Хамидулина.

— Пригляделся, товарищ старший лейтенант, — ответил Рэм. — Прошу поставить на помкомвзвода ефрейтора Саннина.

БИСЕРНЫМ ПОЧЕРКОМ

10 апреля 1941

Сейчас буду писать долго и подробно - пока не успокоюсь. Начну с утреннего, морального. Чтобы взять себя в руки и собраться с мыслями.

Как обычно, пока дети завтракают мы завершили конспекти по итогам вчерашней работы (ИЗ). Вечером, за спорами, не успели изучить пластинчатое чужовище, над которым так самоотверженно трудились объект. Он сказал, что это бисекс, и, на первый взгляд, действительно немного по-доброму: в бесформенную лепёшку воткнуто горелое спички, изобразительные иголки (вероятно, Илья пошуровал на кухне, в пепельнице Фиря, которая беспрестанно курит). Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что у "ежики" почему-то три глаза (сувенирные горошины - вчера Фара варила горьковой суп) и шесть ног.

Мы внятером и сморщились над этим творением, внимательно его рассматривая.

- Он мой, он художник, - горячо сказал Каим. - Никаких сомнений! Нетта и дартное воображение, свободная фантазия, ревизия существующих правил через творчество. И посмотрите на смеюость лепки! Все признаки "К"

Я понимаю, из-за чего он так взволнован. Первые шесть страниц выдвигается, а Тольберг - единственной, кто перед следующим отходом остается без подпечаток. Ни одного "э-ного" "креативиста" в потоке пока не выявлено.

- Изек и пахот на маленького рыженького Флакрия, - согласилась Дора. - По маленькому уже в этом возрасте видно, что он будет художником.

Актриса есть актриса. Ей нужно, чтобы ее обожали, а нет - так ненавидели, одним словом, чтобы она

10 апреля 1941

Сейчас буду писать долго и подробно — пока не успокоюсь. Начну с утреннего, нормального. Чтобы взять себя в руки и собраться с мыслями.

Как обычно, пока дети завтракают, мы завершили консилиум по итогам вчерашней работы (Изя). Вечером, за спорами, не успели изучить пластилиновое чудовище, над которым так самозабвенно трудился объект. Он сказал, что это ежик, и на первый взгляд, действительно немного похоже: в бесформенную лепёху воткнуты горелые спички, изображающие иголки (вероятно, Изя пошуровал на кухне, в пепельнице Фиры, которая беспрестанно курит). Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что у «ежика» почему-то три глаза (сушеные горошины — вчера Фира варила гороховый суп) и шесть ног.

Мы впятером склонились над этим творением, внимательно его рассматривая.

— Он мой, он художник, — горячо сказал Хаим. — Никаких сомнений! Нестандартное воображение, свободная фантазия, ревизия существующих правил через творчество. И посмотрите на смелость лепки! Все признаки «К»!

Я понимаю, из-за чего он так взволновался. Первый семестр заканчивается, а Гольдберг — единственный, кто перед следующим этапом остается без подопечных. Ни одного явного «креативиста» в потоке пока не выявлено.

— Изек и похож на маленького рыженького Делакруа, — согласилась Дора. — По малышу уже в этом возрасте видно, что он будет художником.

Актриса есть актриса. Ей нужно, чтобы ее обожали, а нет — так ненавидели, одним словом, чтобы она

находилась в центре внимания. Поэтому она ведет сложную игру с каждым из мужчин — пожалуй, кроме меня, ибо быстро поняла, что это бесполезно. Со мной Дора откровенна и бесцеремонна, это мне нравится. Впрочем (только сейчас пришло в голову), может быть, это тоже тактика — интриганка чувствует, что со мной именно так и надо.

Одним словом, с актрисой много проблем, но это и не плохо. В коллективе обязательно должен быть возмутитель спокойствия. Меня мало интересуют взаимоотношения между взрослыми людьми, но вообще-то наблюдать за Дориными маневрами довольно занятно.

Бедного Хаима, который по ней сохнет, она ласкает, но к себе не допускает. Днем он смотрит на нее пылким взглядом, она отвечает лучистым. Однако на прошлой неделе, когда мне ночью не спалось и я решил выйти во двор, я видел, как в комнату Доры проскользнул Жокей. Очевидно, наша фамм-фаталь делит любовь на две ипостаси: платонически-возвышенную и земную.

Мейер возразил Хаиму, что шестиногого и трехглазого ежика для уверенной типизации «К» недостаточно, ибо прежде Изя в оригинальности и новаторстве никогда замечен не был. Гольдберг разразился тирадой о том, что во всяком художнике однажды просыпается творческий импульс — когда его «ангел целует в темя». Дора поддакивала.

Гирш Лейбовский молчал и сардонически улыбался. Я видел, что Хаима это бесит, а Дору развлекает. Внутри этой троицы искры так и летят. Боюсь, не слишком ли. Не хватало мне еще, чтобы педагогический коллектив переругался. Пожалуй, нужно будет потолковать с нашей Мэри Пикфорд тет-а-тет. Ее личная жизнь не мое дело, но только если это не создает помех для работы. Хуже всего, что в профессиональном смысле Изя ее совершенно не интересует. Мальчик определенно не «сердечник», к тому же у Доры для группы «С» уже есть три верных кандидата.

Я уже совсем было собрался сделать провокаторше тактичное замечание, но Мейер меня опередил.

— Послушайте, королева красоты, а обязательно пудрить нос во время консилиума? — раздраженно заметил Брикман.

Он Дору на дух не переносит, что и естественно: Мейер по своей натуре — «Голова», она — «Сердце».

— А можно без хамства?! — кинулся защищать даму Хаим.

Дора выглядела очень довольной: вокруг нее кипели страсти.

Мне пришлось вмешаться, вернув коллег к теме беседы. Я безэмоционально суммировал доводы обеих сторон и предложил оставить вопрос открытым, а для следующего сеанса наблюдений за Изей, через восемь дней, разработать специальные тесты на доминанту «К».

И тут Лейбовский, доселе не участвовавший в споре, сказал:

— Нет в Изе никакой креативности. Свою поделку он скопировал с картинки. Из книжки «Ежик-Шестиножек».

И победительно взглянул на Дору. Та восхищенно расширила глаза.

— Это не опровергает аргумент о смелости лепки, — пробормотал Хаим. Но было видно, что он сражен.

На этом утренний консилиум завершился, тем более что на лестнице уже посылались крики, топот. Дети закончили завтрак и неслись в класс.

Мы быстро заняли места у окон.

Сегодня в центре наблюдения Хася. До конца семестра остается полтора месяца, а с этой девочкой всё по-прежнему непонятно.

Все шелестели страницами в своих блокнотах, просматривая записи предыдущих консилиумов по данному объекту. Мы знали, что Хася никогда не бегает и обычно входит в игровую последней.

Первыми, как обычно, ворвались Яцек и Ривка. Главный шум всегда от них. Яцек-то постоянно такой, а вот для Ривки подобная активность — нечто новое. Она уже несколько дней хвостом следует за нашим цыганенком, во всем ему подражает. Придет время, разберемся, что это за новости, но сегодня мы занимаемся только Хасей.

Я с неудовольствием отметил, что хорошенькую Руту опять ведет за руку аниматорша. Надо будет сделать Зосе замечание. Нельзя допускать преференций! Это первое. И второе — нельзя мешать ребенку переходить

из состояния в состояние. Один из важнейших тестов по определению личностных параметров — наблюдение за тем, как объект входит в класс и ведет себя в новом пространстве.

Хася появилась, когда все остальные уже чем-то занялись. И повела себя всё тем же загадочным образом — ни на кого не глядя, направилась к своему кактусу.

В свое время я разобрал пани Марго за то, что на деньги, выданные для покупки домашних растений в классный зал, она купила не герани или какие-нибудь цветы, а четыре кактуса в горшках, скучные и к тому же колючие.

Я редко ругаю нашу превосходную кастеляншу, потому что она почти безупречна, и пани Марго расстроилась. Виновато потупившись, она сказала:

— Мои Геля и Янек любили кактусы...

На моей памяти она первый раз заговорила о своих погибших детях, у нее железный характер. Вместо того, чтобы выражать бессмысленные соболезнования, я сказал ей, что, пожалуй, она поступила правильно, потому что кактусы неприхотливы, а более нежные растения могут засохнуть, и это расстроит детей.

Но интерес к кактусам проявляет только Хася. В основном, к одному из них, второму справа. Может стоять перед ним и час, и два. Слегка поглаживает колючки, шевелит губами.

Я поручил Зосе выведать у девочки, что в этом кактусе особенного.

Хася объяснила, что «Доротка» ее любит. То есть она дружит с кактусом и даже дала ему (ей?) имя!

Гольдберг тогда очень оживился, объявив, что Хася — его «клиент», поскольку обладает причудливой фантазией и живет внутри собственного воображаемого мира, а это несомненный признак доминанты «К».

Но непохоже. Никакой мечтательности в Хасе нет. Когда Зося читает детям сказки, девочка слушает без интереса и плохо запоминает содержание.

Мы очень надеялись на нынешний сеанс, потому что у объекта сегодня день рождения. На самом деле никто из детей, кроме Болека Эльсберга, не знает, когда

родился. Мы назначили каждому праздничный день сами. Это очень важный и показательный тест: как поведет себя именинник в роли главной фигуры торжества, как будет реагировать на поздравления и подарки.

Другие дети перед таким важным событием уже накануне пребывают в возбуждении. Хася — нет. Как я уже сказал, в класс она вошла как ни в чем не бывало и потом повела себя самым будничным образом.

Но вот Зося громко сыграла туш и объявила, что Хасеньке сегодня исполняется целых шесть лет и что все ей приготовили подарки.

Мы так и впились в объект глазами: что она?

Повернулась. Послушно села на «трон» (я уже писал про то, какую функцию в тестах исполняет этот ярко-красный стульчик, на который просто так садиться нельзя). Ни малейших признаков оживления или радостного ожидания на сонном, как всегда, личике. Но смотрит внимательно.

Порядок поздравлений аниматор не назначает. Это тоже тест: кто захочет говорить первым.

Обычно это Яцек, но сегодня он вперед других не вылез, а лишь хитро щурился. Что-то задумал.

Выходит Марек (с ним мы давно определились, единоголасно — «Г»).

Говорит:

— Ты мне нравишься. Потому что ты тихая и никогда мне не мешаешь, не то что другие. Вот тебе подарок.

Дает листок бумаги, который полуразрезан на три части.

Объясняет:

— Это пайковая карточка. С отрывными талонами. Их три. Можешь меня три раза о чем-нибудь попросить. И я сделаю. — Подумав, добавляет: — Если это что-нибудь нетрудное.

Мейер одобрительно шепчет:

— Отличная идея. Оригинальная.

Обделенный судьбой Хаим сразу поворачивается ко мне:

— Может, это не интеллект, а креативность? Ведь это же надо было до такого думаться!

Мы все четверо собрались у окна, из которого было ближе всего до «трона». Я шепнула:

— Здесь самое примечательное — поразительная цепкость памяти. Ребенок почти полгода не видит никаких пайковых карточек с отрывными талонами, но не забыл про них.

— Хасенька, что надо сказать? — спрашивает в классе Зося.

— Спасибо, Марек, — без выражения говорит объект. Берет листок. Поцелует Марека или нет? Нет.

Я заметил, что есть дети, к кому Хася никогда не прикасается, а есть такие, кого она незаметно трогает, если даже просто проходит мимо. Не могу понять, что это значит.

Второй вышла Ривка. Косоглазие у нее почти исчезло. Очки и физиотерапия пани Малки делают свое дело.

— Ты моя подружка, — сказала она торжественно. — Ты как спящая принцесса из сказки. Я тебя нарисовала. Вот.

Зося берет у нее рисунок, показывает всем, а заодно и подносит к зеркалу, чтобы мы тоже посмотрели. Рисунок обыкновенный, девичий. Хаим удрученно вздыхает — креативностью тут не пахнет. С доброй, отзывчивой Ривкой нам давно ясно: «С», никаких сомнений. И скорее всего «С-1», хотя на седьмом году жизни, когда пробуждается критическое сознание, может проявиться и злость. Посмотрим.

Когда к рисунку подошла Рута, стало интересно.

— Это я принцесса! — крикнула она. — Не она!

Хася не возражала, ей было все равно. Рисунок отложила в сторону. Ривку не обняла, не поцеловала.

— Скажи, что принцесса — я! — наседала на нее Рута. Когда ей кажется, что ее чего-то лишают, она перестает быть похожа на ангелочка.

Чтоб успокоить ее, аниматорша говорит:

— Руточка, ты хотела подарить Хасеньке танец.

Начала аккомпанировать на пианино.

Ее любимица сразу забыла о рисунке и затанцевала что-то жеманное, будто маленькая балерина. Обожает,

когда ею любуются. Пластика у нее отменная, чувство ритма безупречное.

— Моя, — сказал Лейбовский. — «Тело». Смотрите, какая точность движений.

— «Т»? Не думаю, — с сомнением покачала головой Дора. — По-моему существенней, что она отобрала у именинницы звание принцессы.

— Не отвескайтесь, сегодня день Хаси, — напомнил я.

Хася впервые выглядела заинтересованной. Когда Рута закончила и грациозно поклонилась, виновница торжества подошла к ней и погладила по золотистым волосам.

Рута оттолкнула ее.

— Не трогай, у тебя пальцы грязные! Ты ими на завтраке в масленку лазила!

Мои коллеги заскрипели карандашами в блокнотах. Эта интересная ситуация потребует детального обсуждения на консилиуме.

Наверное, Дора насчет Руты права, подумал я. Девочка недобрая, не без коварства, любит создавать конфликты и потом с удовольствием наблюдает за их развитием. Не «Т», а «С»?

Но уже вышел следующий, Болек.

Важно, снисходительно прокартавил:

— Мой подавок такой. Буду с тобой игвать завтва и послезавтва. Научу тебя в шашки и в «Костюшко».

Это щедро. Обычно с Хасей никто не играет, а она не спрашивается. Про Болека все сначала думали, что он «головастик», но похоже, что «сердечник». Великодушия и отзывчивости больше, чем рассудительности.

— Спасибо Болек, — сказала Хася.

Непонятно было, рада или нет. Коллеги дружно записали, что дотрагиваться до этого мальчика Хася не стала.

Ну-ка, что Дина?

— Я тебе целую неделю не буду говорить, какая ты неряха, — гордо прогнусавила Дина. — А сегодня постираю тебе платье.

Дети в трезорнуме должны ухаживать за собой сами — это тоже один из тестов: как кто справляется с такой непростой для пятилетнего задачей. Со стиркой

никто, кроме Дины, сладить не может, и няня потом за ними перестирывает.

Дина, конечно, «Г» — сама рассудительность.

Настала очередь Изи. Он подарил дракона — вылепленного из красного пластилина и похожего издали на морковь.

— Надо будет потом рассмотреть эту работу, — шепчет Хаим, но без особенной надежды.

Кстати говоря, вопрос: что делать с Гольдбергом в следующем семестре, если группа «К» останется вакантной? Вот в чем беда маленького класса! Если б, как положено по теории, в потоке было 25 детей, обязательно подобрался бы кто-то с творческим потенциалом. У нас же, кажется, никого такого нет.

Последним преподнес свой подарок Яцек. Нарочно дождался финала, чтобы произвести больший эффект. Все, даже Хася, смотрели на нашего «цыганского барона» с ожиданием. Он в маленьком коллективе и шут, и лидер, и нарушитель конвенций.

С ним недавно произошла одна история, которую я в свое время по забывчивости не записал, а следовало.

В этом семестре мы, шацзухеры держимся от детей на дистанции, почти с ними не общаемся. Ну то есть они, конечно, видят нас в столовой, на лестнице, из двора через окно и так далее, но мы с ними не разговариваем, подчеркнуто не обращаем на них внимания. Ребенок в пять лет усваивает правила жизни как нечто данное, без критики. Раз так заведено, значит, таково устройство мира. В их маленькой вселенной мы — знакомые и привычные лица, не страшные, но бесполезные. На третий этаж и тем более ко мне в мезонин воспитанникам подниматься запрещено.

Каково же было мое изумление, когда однажды ночью сижу я за своей тетрадью, пишу, вдруг слышу — дверь легонько скрипнула. Подошел, открыл — на пороге Яцек, в ночной рубашке. В глазенках ни страха, ни вины, одно любопытство.

Спрашивает:

— Ты кто, колдун?

Я растерялся больше, чем он.

— Придет время — узнаешь, — говорю. — А сейчас марш спать, иначе...

Не придумал, чем ему пригрозить, да Яцек и не стал ждать — припустил со всех ног вниз по лестнице. После этого случая дверь детского этажа на ночь стали запирасть.

Пока другие дети поздравляли Хасю, Яцек вел себя необычно тихо — в сторонке, у стола, предназначенного для «бумажных» игр и занятий.

Оказывается, он вырезал и склеивал корону с вкривь и вкось торчащими зубцами.

— Я принц! — объявил Яцек, выйдя на середину и нацепив свое творение на голову. — Я пришел расколдовать спящую принцессу!

Подошел к Хасе. Все смотрели в предвкушении — ну-ка, что он такое замыслил?

— Экс-пекс-фекс!

Повернулся, нагнулся, стянул штаны и трусы, показал голый зад. Звонко расхохотался.

Что тут началось! Девочки завизжали, мальчишки заорали. Это возраст, когда дети начинают стесняться наготы, а всё запретное, неприличное вызывает у них любопытство. С их точки зрения, Яцек отмочил очень лихую и смелую штуку.

Встрепенулись и мы, шацзухеры. Я заметил, что каждый смотрит на реакцию тех детей, кого рассчитывает заполучить к себе в группу в следующем семестре.

— Этот мальчик — «С», даже не спорьте со мной! Я в его возрасте была такая же, пока не научилась прикидываться, — сказала Дора, причем обращаясь не ко всем, а к Хаиму. И смущенно потупилась.

Тот вспыхнул, у него очень живое воображение. А чертова кокетка искоса взглянула на Лейбовского, и тот улыбнулся, должно быть, вспомнив какие-то их интимности.

Занятые своими дурацкими взрослыми играми, они пропустили интересное: Хася быстро дотронулась пальцем до смуглой попки Яцека и отдернула руку. Мы с Мейером переглянулись, и он пожал плечами: не девочка, а сплошные загадки.

Тем временем Зося восстанавливала порядок среди своей расшатавшейся команды. Опыта аниматорше было не занимать.

— Разве принцы так делают? — спокойно сказала она. — Давайте посмотрим, кто у нас принцы и принцессы, а кто нет. Ну-ка, принцы — идите сюда, а принцессы — сюда. Будем учить принцевскую песню.

И все кинулись к пианино. Яцек со спущенными штанами остался в одиночестве.

— Эта выходка без последствий все равно не останется, — сказал я коллегам. — Очевидно, нам предстоит пережить моду на обнажение. Естественная в детском возрасте фаза, но я полагал, что она наступит позже, во втором или третьем семестрах. У меня разработано несколько показательных тестов, с которыми я вас вечером ознакомлю, чтобы...

Мне пришлось сделать паузу, потому что раздался дверной звонок, он у нас довольно громкий.

— ...Чтобы вы были во всеоружии, — закончил я, зная, что дверь откроет кто-нибудь из непедагогического персонала.

Через минуту вошла пани Марго, лицо у нее было напряженное.

— К вам пан Гарбер. Говорит, по срочному делу.

— Продолжайте работу, коллеги, — сказал я и вышел.

До сих пор я поминал Гарбера и «Двенадцатку» лишь мимоходом, поскольку это не имеет прямого отношения к педагогической работе. Но сегодня мне не спится, и я напишу подробнее. Коснусь и этой стороны нашего существования, иначе тому, кто когда-нибудь прочитает мои записки, будет трудно понять некоторые вещи.

Гетто представляет собой не только совершенно отдельный мир, но и является своеобразной пародией на государство. Высоко наверху, где-то на небеси, парит Высшая Сила, почти всегда невидимая, но всемогущая и вездесущая, периодически карающая смертных громами и молниями: это германская комендатура и Гестапо. Сверхчеловеков мы тут почти не видим, лишь иногда,

подобно крылатым архангелам, по гребню стены вдоль Холодной улицы, проходят немецкие патрули. На земле же всем заправляет помазанник божий Юденрат, исполняющий волю Господа. И если исполняет ее плохо — Бог помазанника карает. Всякий член Юденрата, подобно благочестивому монаху, верный раб божий.

Никакое государство не может существовать без аппарата насилия, и у нас он тоже есть: *Jüdischer Ordnungsdienst*, «Служба порядка», она же «еврейская полиция». Там собраны худшие человеческие экземпляры — те, кто согласен совершать гнусности за лишний паек или ради того, чтобы чувствовать себя менее несчастным на фоне еще более обездоленных. Руководит этой охранкой выкрест, бывший полковник польской полиции, про которого рассказывают ужасные вещи.

Но это власть официальная, а во всяком нездоровом и несвободном государстве неминуемо возникает параллельная структура, которая не слишком боится Бога, не признает установленных законов и помогает населению обходить многочисленные абсурдные запреты.

Четыреста тысяч человек живут в состоянии постоянного дефицита почти всего: еды, одежды, лекарств, защиты, необходимых для выживания документов. Выражаясь языком рыночным, на всё существует огромный спрос при очень скудном предложении. К тем, кто способен этот спрос удовлетворить, деньги текут рекой. А у кого деньги, у того и настоящая власть. В Америке подобную функцию выполняет мафия, в Гетто — «Двенадцатка». Это легально существующая организация, сидящая в доме 12 на улице Лешно. Официальное ее название «Группа борьбы со спекуляцией», но это как борьба кота со сметаной. Задумывалась «группа» как волонтерская, для добровольных помощников полиции, но очень скоро превратилась в истинный центр силы, у которого полиция и половина Юденрата на содержании.

«Двенадцатка» — мафия сугубо еврейского склада, вся построенная на коммерции. За плату она предоставляет любые товары, в том числе контрабандные и запрещенные, а также любые услуги: переправку людей

из Гетто во внешний мир, выдачу пропусков и освобождений от работы, всякого рода разрешений и лицензий. Такса известна, исполнение обязательств гарантировано — одним словом, потребители довольны. Без этих удобнейших господ жизнь здесь была бы еще худшим адом.

Однако это не означает, что «Двенадцатка» торгует и всё. Она держится не только на выгоде, но и на страхе. Если надо — убивает, и делает это очень ловко. Все ее боятся до дрожи, включая Юденрат и полицию. Немцы, конечно, знают про это, но «Двенадцатку» не трогают, потому что она им тоже удобна: сотрудничает с Гестапо, предоставляет информацию о внутренней жизни Гетто. Железное правило всякого тоталитарного режима гласит, что за надзирающими тоже нужны надзирающие. А еще поговаривают, что «Двенадцатка» делится своими нештучными прибылями с нужными сверхчеловечками, каковые, разумеется, есть и среди несгибаемых арийцев.

Самым страшным человеком в «Двенадцатке» слывет некто Гарбер, начальник ОДР, «Отдела дополнительных ресурсов». Это самые настоящие бандиты, которые вынюхивают, у кого есть припрятанные ценности, и отбирают их. В Гетто не так мало богачей, кто умудрился прихватить с собой из прежней жизни деньги или ювелирные изделия. На таких людей идет настоящая охота.

Нечего и говорить, что я со своими большими долларами и непривычкой к конспирации засветился почти сразу же.

В один из первых дней существования трезориума, когда пани Марго потребовалось закупить продукты длительного пользования, я поменял слишком крупную сумму, 200 долларов. На улице Павя есть такой Соломон, набожный талмудист, который всегда сидит у столика со свитками и читает вслуж священные книги, а заодно ведет бойкую торговлю валютой. Мне, дураку, следовало бы понимать, что такой субъект не может не сотрудничать с «Двенадцаткой». Впрочем, неважно. Рано или поздно я все равно привлек бы внимание ОДР.

И вот сижу я ночью на первом этаже, в классе, один, прикидываю, как получше расположить сектора: стол мягких рукоделий, стол технических конструкторов, стол бумажных занятий, полки для кукол, солдатиков, машинок. Трезориум давно спит.

Не было никакого звонка, не лязгнула отмычка, не заскрипела дверь. (Правда, когда я очень сосредоточен, я почти ничего не замечаю.)

Я услышал шорох, рассеянно обернулся — и околел.

У меня за спиной стояли трое невесть откуда появившихся мужчин. На руках повязки с красной звездой Давида, знак принадлежности к «Группе борьбы со спекуляцией».

Впереди приземистый, в старомодной шляпе-котелке. Слева от него двухметровый, широченный человек-гора, справа худенький, вертлявый человек-выюн. Но эти двое не имели значения, с первой секунды я понял, что смотреть нужно только на того, кто в центре.

— Я Гарбер, — сказал он сипло.

Лицо у Гарбера пугающее: грубой лепки, как у какого-нибудь грузчика или извозчика. На известного провокатора Азефа — вот на кого он похож. Фигура располневшего борца-тяжеловеса, длинные руки с огромными кистями. Глаза того типа, которые называются буравчиками, так в тебя и ввинчиваются.

Назвавшись, он ничего больше не сказал. Это его всегдашняя манера, приводящая непривычного человека в трепет.

— Очень приятно, моя фамилия Данцигер, — пролепетал я, и после этого мы молчали, не преувеличу, минуты две. Спросить «Чему обязан?» или «Как вы вошли?» я не посмел.

Кроме того, чутье подсказало мне, что не нужно проявлять суетливости. Поднявшись, я убрал за спину руки, чтоб не было видно, как они дрожат, и принялся рассматривать незваных гостей.

У здоровяка были сплюсненные уши и сломанный нос. Тощий (с каким-то серым, словно не до конца прорисованным лицом) скрипел по ногтю пилочкой.

Наконец главный спросил, очень вежливо:

— Известно ли пану Данцигеру, что в Гетто иметь валюту строжайше запрещено? Она должна быть сдана властям под угрозой сурового наказания.

— Известно, — сказал я, обо всем догадавшись, но еще не решив, как себя вести. Выбор у меня тут был невелик.

— Это ордер на обыск. — Гарбер небрежно помахал какой-то бумажкой. — Если мы найдем в доме доллары, вы будете арестованы, переданы германским властям и расстреляны. Если отдадите сами, это будет считаться добровольной явкой.

При грубости и силности голоса говорил он мягко, очень вежливо, что показалось мне особенно жутким.

Что они найдут доллары, я не боялся. Чемодан был спрятан вполне надежно.

— У меня была валюта, но она вся потрачена на обустройство приюта. Ничего не осталось, — сколь мог твердо сказал я.

Он кивнул, будто другого ответа не ждал.

— Мышь, приступай.

Серый убрал пилочку и плавным, почти балетным шагом заскользил по помещению, крутя головой и будто приноживаясь.

Остановился перед одним из зеркал, чем-то заинтересованный. Потрогал. Подозвал бугая, шепнул ему что-то. Человек-гора легко выдрал фальшивое зеркало из ниши, открылось окно в соседнюю комнату.

— Интере-есный у вас приют... — протянул Гарбер, просовывая туда голову. — Ищите здесь, ребята, а пан Данцигер пока отведет меня наверх.

На втором этаже я попросил шепотом:

— Пожалуйста, тише. Не разбудите малышей. Тут прятать негде. Дети наши бы. Они всюду суют свои носы.

Не отвечая, страшный человек заглянул сначала в Морскую спальню, потом в Лесную. Лунный луч лежал прямо на личике Руты, оно казалось совершенно ангельским.

— Маловато детей для приюта, — сказал мне Гарбер на лестнице. — Похоже на прикрытие. Чем вы тут на самом деле занимаетесь?

— Поиском сокровищ.

— Это хорошо, что вы шутите. — Бутристое лицо оскалилось улыбкой, в которой не было и признаков веселости. — Со мной редко шутят. Собственно, никогда.

— Я не шучу.

И я стал рассказывать про свою педагогическую теорию, но он, похоже, не слушал.

— Наверху что?

Я объяснил. Он постоял, глядя на меня спокойными, немигающими глазками. Что-то прикидывал. Потом решил.

— Вы не бойтесь, что я найду доллары. Значит, они не в доме, а в каком-то другом месте. Идемте-ка.

Крепко взял меня за локоть, повел вниз.

— Эй, ребята, кончайте искать. Приступаем к сердечной беседе.

Эти слова, видимо, были у них условленным сигналом, потому что в следующее мгновение серый подскочил ко мне сзади, взял за горло, что-то там сжал, и из меня будто вышла вся сила.

Еле переставляя ноги, я дал себя усадить. Мышь завернул мне руки за спинку стула.

Громила снял пиджак, похрустел суставами.

Гарбер стал спокойно объяснять:

— Сейчас Миллер (это не фамилия, а кличка — он растирает в муку лучше любой мельницы) будет ломать вам пальцы. Один за другим. Пока не скажете, где доллары.

И засунул в уши затычки.

Ужасная боль пронзила мой левый мизинец. Я прокусил губу до крови, чтобы не закричать, не разбудить детей.

Озадаченно посмотрев на меня, Гарбер велел:

— Еще.

Опять то же самое, теперь с безымянным пальцем. Только бы не завопить! Такое ночное пробуждение

станет для воспитанников ужасной травмой, которую потом придется залечивать.

— Еще!

В третий раз, как ни странно, боль была уже не такой острой. Должно быть, начала неметь кисть.

— Ну вы и субъект, пан Данцигер. — Гарбер вынул затычки. — Я смотрю, теория о поиске сокровищ вам дороже жизни.

Значит, все-таки кое-что из моих объяснений он услышал.

— Доллары у меня есть, — сказал я, с трудом ворочая языком. Из губы по подбородку стекала кровь. — Но я их не отдам, хоть запытайте до смерти. Это лишит меня смысла жизни.

— Ишь ты... Детей, значит, любите. А если мы сейчас какого-нибудь малютку — например, ту, с ангельским личиком, притащим да обработаем? Думаете, кишка тонка? Видели бы вы, какие дела приходится проворачивать.

— Не думаю, что тонка, — ответил я. — Это будет очень тяжелое для меня зрелище, но денег я все равно не отдам. Без них дети так или иначе погибнут.

Гарбер надолго замолчал, шевеля густыми бровями.

— Ну-ка, расскажите мне про вашу педагогику еще. Поподробнее. Отпусти его, Мышь.

Никогда еще я не излагал свою гипотезу в таком состоянии. У меня ломило в висках, на левой руке будто висела раскаленная гиря. Но я очень старался и скоро, увлекшись, забыл о боли.

— Вы полоумный шламазл, Данцигер, — сказал Гарбер минут через десять. — Надо бы прикончить вас, другим упрямам в острастку. Но без таких психов на свете скучно. Живите, черт с вами. Мышь, вызови «скорую помощь», пану надо загипсовать пальцы.

Как я уже писал, «Двенадцатку» в Гетто боятся, но это страх, не лишенный уважения. Потому что часть своих барышей эти бандиты тратят на робингудство: подкармливают голодающих, иногда кого-то спасают или укрывают. И у них действительно есть собственная

«скорая помощь», неплохо работающая. Конечно, делается это не из доброты, а по расчету. Без молчаливой поддержки населения темные дела под носом у немцев проворачивать было бы трудно.

— Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, — сказал далее Гарбер. — Возьму вас на абонемент. Платите всего 500 долларов в месяц, и за это мы гарантируем приюту полную защиту. От Юденрата, от полиции, от воров и всякой шпаны. Никто никогда вас не тронет. Соглашайтесь. Предложение выгодное.

Мне было понятно его великодушие: чем без смысла резать курицу, пусть лучше несет яйца.

— Сто, — сказал я.

Он засмеялся. Мы долго торговались и сошлись на двухстах пятидесяти. Кажется, своей торговлей я завоевал у Гарбера не меньше уважения, чем стойкостью под пыткой.

Сломанные пальцы срослись, а сделка оказалась для нас невероятной удачей. Мало того, что за все эти месяцы нас не потревожила ни одна инспекция или проверка, хотя этот род вымогательства в Гетто чрезвычайно распространен. Гарбер делает для нас намного, намного больше. При всякой проблеме — хоть водопровод прорвало, хоть крысы в подвале завелись, что угодно — я звоню Гарберу, и проблема моментально решается. Телефон, кстати говоря, тоже поставил он, это в Гетто несказанная роскошь. Кроме того, мне больше не нужно рисковать, сбывая доллары на черном рынке. Гарбер сам производит обмен, по льготному курсу.

Честно говоря, из обиралы он давно превратился в нашего благотворителя. Гарбер исправно берет свои две с половиной сотни, но его помощь и щедрые подарки многократно перекрывают плату.

Ему нравится бывать в трезориуме. Иногда он просто заходит ко мне поболтать. Гарбер — субъект весьма занятный. Его рассказы о собственной жизни невероятны, а суждения оригинальны. Представляю, что бы из него могло получиться, если бы в детстве он попал к хорошим педагогам...

Меня не занимает психологическое устройство взрослых людей, но над загадкой поведения этого — если называть вещи своими именами — убийцы и закоренелого злодея, я немало поломал голову. И вот какое могу предложить объяснение.

Гарбер — убежденный мизантроп. Его картина мира держится на том, что жизнь — сплошное Зло. Это оправдывает его в собственных глазах. А помощь трезориуму для него — что-то вроде личной слабости. Или лучика пускай бесполезной, но приятной надежды. Такое «а вдруг?». Как у Достоевского в романе «Подросток». Там художник собирается писать картину про самоубийцу, который по христианской вере должен быть обречен на вечные муки, и пускает навстречу ему с неба лучик — как надежду на то, что и этот непрощаемый грех, может быть, простится.

Ну, или я, как мне свойственно, теоретизирую и усложняю. Неважно. Важно то, с чем сегодня приходил Гарбер. Потому-то я так много о нем сейчас и пишу. Известие серьезное и тревожное.

— Работаете? — спросил он, когда я к нему вышел.

Я неплохо научился читать его грубое, вроде бы неподвижное лицо и сразу увидел: он чем-то сильно обеспокоен, но расспрашивать не стал. Захочет — скажет.

Сначала Гарбер отдал мне ампулы — «для вашей толстушки» (я ведь уже писал, что у Зоси обнаружен запущенный диабет, и если она неплохо себя чувствует, то лишь благодаря инсулину, совершенно невероятному дефициту, который где-то добывает наш добрый демон).

Я поблагодарил и осторожно сказал:

— Вы ведь пришли не только за этим?

Можно же было отправить и посыльного, у Гарбера полно всяких людей для мелких поручений.

— Тут вот такая штука... Там, — он ткнул пальцем в потолок, — появилась новая метла.

Я догадался, что «там» — это значит «в Гестапо» или «в Айнзацгруппе» (так называется подразделение СС, ведающее Гетто). Гарбер никогда не говорил мне, какое из немецких ведомств является его «куратором».

Для нас этой темы просто не существовало. Да мне и неинтересно.

— Теперь я имею дело с гауптштурмфюрером доктором Телеки.

Я выжидательно молчал, не понимая, зачем он мне это говорит. Ну и странно, конечно: гауптштурмфюрер — доктор? В смысле, врач или ученая степень?

— Завтра Телеки придет сюда, в трезориум.

— Что?!

У меня потемнело в глазах. Скакнуло давление.

— Клянусь, он не от меня о вас узнал, — быстро сказал Гарбер. — Я бы ни за что на свете, слово. Скорее всего «Десятка» наступала.

Недавно у «Двенадцатки» появилась конкурирующая организация, с той же улицы, но занимающая дом номер десять. Надзирающие за надзирающими, обычная практика тоталитарной машины. Там всегда должно быть несколько соперничающих секретных структур. Я слышал, что у Гарбера сейчас тяжелые времена. Каждое утро на улице находят трупы — то с красной повязкой «Двенадцатки», то с синей «Десятки». Многие втихомолку радуются: пусть-де перебьют друг друга.

— Вызвал меня сегодня к себе в Гестапо, — продолжил Гарбер, супя лоб. (Значит, все-таки его курирует Гестапо.) — Стал спрашивать. Тихий такой, интеллигентный, говорит вполголоса, через каждое слово «бите». Как очковая змея. Я думал, живым не выйду...

— Почему он придет сюда? Зачем?

— Понятия не имею. И не имел права вас предупреждать. Но будьте готовы... Не знаю, к чему.

А еще у Достоевского было про луковку, вдруг нехстати вспомнилось мне. Которую злодейка один раз в жизни подала нищенке и тем обрела шанс на спасение души. Мы для Гарбера — луковка.

— Спасибо, — искренне поблагодарил я его. — Чтобы приготовиться, мне нужно понимать, что он за человек. Он какой, этот Телеки? Вы ведь хорошо разбираетесь в людях. Назовите самое главное его качество, по вашему впечатлению. Одно.

Подумав, Гарбер сказал:

— Умный. Если в черном мундире и умный — это самое опасное, что только бывает на свете.

И меня охватила лютая паника. Я и сейчас весь трясусь. Меньше, чем вначале, когда сел записывать сегодняшние события, но мысли все равно путаются.

На наш тихий, мирный Остров Сокровищ нагрянет гестаповец, да такой, что его испугался сам Гарбер! Неужели всему конец? Неужели великий проект, на который потрачено столько душевных сил и времени, столько...

Гармон
Роберт

И в конце

— это слово

эта дуб

есть индо-азиатское

— (Слова) —

можно понимать, что он

Всё сразу пошло не так. Нет, не совсем сразу. Таня без проблем нашла на перекрестке люк Breslau Wasserwerk. Крышка была очень тяжелая, но поддела ее палкой, навалилась, сдвинула. Из серой уличной темноты спустилась в черную, подземную.

Думала, будет просто: на первой же развилке свернуть влево и потом только считать наверху колодцы. Но через несколько шагов Таня услышала сбоку какой-то шорох, посветила фонариком — а там большая стая крыс, сплошной массой. Когда видишь крысу в городе, она бросается наутек. Эти были неподвижны. Десятки, а может и сотни фосфоресцирующих точек. После той ночи в Гетто эти твари вызывали у Тани цепенящее омерзение, ассоциировались со смертью.

И сильная Таня дала слабину. С визгом, с гулким топотом кинулась бежать прочь. Бежала довольно долго, пока не опомнилась.

Потом, конечно, взяла себя в руки, обругала последними словами, остановилась. Но беду было уже не поправить. В панике не обратила внимания, миновала поворот или нет. Вернуться бы к началу, но как поймешь, что это именно тот колодец, через который спускалась? Да и неохота было туда возвращаться, к крысам.

Посветила туда-сюда. Кажется впереди, слева что-то чернеет. Так и есть, круглая дыра. Ответвление.

Поколебалась, но — была не была — свернула.

Исправно считала колодцы, однако уверенности, что движется в правильном направлении, не было. Все время водила лучом влево-вправо, вверх-вниз. Старалась производить побольше шума, чтобы распугать грызунов. Получалось гулко, еще и эхо подхватывало. Будто маршировал целый взвод.

Запах в подземелье был тяжелый, хуже, чем в госпитальном бункере. Там хоть вентиляция, а здесь смрад стоячей воды и, кажется, мертвечины. Зато талая вода уже почти вся сошла — зима выдалась малоснежная.

Пять колодцев Таня миновала за полчаса, но не остановилась. Чем дальше уйдешь за линию фронта, тем лучше. Чтоб уж наверняка.

Однако после девятого выхода пришлось идти обратно. Дорогу преградил завал. Может быть, кто-то наступил на мину. Или русские нарочно взорвали, чтобы немецкие разведчики не шастали.

Ладно, сказала себе Таня. Девятый колодец тоже годится. Он наверняка уже у наших.

Поднялась по скобам, но крышку поднять не сумела, хоть упиралась изо всех сил, плечами и затылком. Должно быть, люк придавило обломками.

То же вышло с восьмым колодцем. И с седьмым. Эта часть города вся лежала в руинах.

Накатила паника. Неужели придется возвращаться? Неужели всё было напрасно?

Но шестой железный круг заскрежетал, приподнялся. Таня сдвинула его чуть-чуть, сантиметров на десять. Замерла, прислушиваясь.

Видно в щель, конечно, ничего не было. Ночь. Но и звуков никаких не доносилось.

Спокойно, велела Таня колотящемуся сердцу. Дальше просто. Дождаться или рассвета, или голосов. Если заговорят по-русски — значит, всё хорошо. Но даже в этом случае до утра вылезать нельзя. А то наши в темноте, не разобравшись, подстрелят — будет, скажем так, обидно.

Устроилась под самым люком, чтобы видеть серую дугу, казавшуюся в черноте очень светлой.

Вынула из рюкзака тетин кашемировый плед, укуталась. Готовясь к путешествию, предвидела, что придется ждать.

Но понимала, что не уснет от волнения. Господи, скоро рассвет. Тьма рассеется. После стольких лет!

Быть среди своих. Где все говорят по-русски. Как мама. Как Пушкин. Там русский дух, там Русью пахнет!

Чтобы скоротать время, Таня стала декламировать вполголоса «Руслана и Людмилу». Больше занять себя было нечем, а музыка пушкинского стиха убаюкивала, будто мурлыканье вешнего кота у лукоморья, и не мешала думать о другом.

Поэму Таня знала наизусть. Не только ее — весь мамин томик, от корки до корки. Когда-то неделями, месяцами читала его, чтобы забыться и чтобы услышать мамин голос, вот и выучила.

Откинувшись к бетонной стене, смотрела в пространство, вспоминала одно, другое. Бормотала:

Но вот Людмила вновь одна.
Не зная, что начать, она
К окну решетчату подходит,
И взор ее печально бродит
В пространстве пасмурной дали.

Дошла до строк:

«Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров —
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала — и стала кушать.

Сделала перерыв, поужинала (или позавтракала?) галетами, выпила из фляги холодный кофе.

Так, с Пушкиным, время до утра и пролетело.

Когда щель начала светлеть, Таня вскарабкалась наверх и очень медленно, стараясь поменьше скрипеть, сдвинула крышку настолько, чтобы пролезла голова.

Тихо, промозгло. Сырой асфальт. Над ним не то туман, не то рассветная дымка. Сквозь нее близко, в нескольких метрах, темнеет нечто плотное, громоздкое.

Пришлось еще минут пять подождать, прежде чем пелена проредилась и стало видно: это пушка. Небольшая, с коротким стволом. Почему-то скособоченная. А, это у нее отвалилось колесо. На щите что-то написано белыми буквами.

Вглядываясь в клубящееся марево, Таня разобрала первую букву. «К». Потом «а». Третья — «п» или «п». Высунулась насколько могла, потому что от этого сейчас все зависело — русская буква или немецкая?

Щекам стало горячо, радостно скакнуло сердце. Русское «пэ», без сомнений! Прочлось и всё слово. Немецкое, но написанное по-нашему: «капут». Потом вся надпись целиком «Гитлеру капут!».

Да, да, да!

И чудо: юная княжна,
Вдохнув, открыла светлы очи!
Казалось, будто бы она
Дивилась столь долгой ночи.

Вот оно какое, счастье! Таня и забыла. А может, никогда не знала. Счастье — это когда вся наполняешься радужной, звенящей силой.

Тяжеленная железная крышка, которую раньше было еле сдвинуть, легко отъехала.

Таня вылезла из-под земли на белый свет, огляделась.

Она находилась во дворе, стиснутом между домами, верхняя часть которых пока еще не просматривалась. Справа был угол, из-за него послышался шорох. Кто-то шел.

Испугавшись, что это какой-нибудь часовой, который, не разобравшись, пальнет, Таня быстро крикнула по-русски:

— Не стреляйте! Я своя!

Лязгнул затвор. Из-за угла высунулось дуло, за ним небритая рожа в каске. Немецкий солдат...

Таня зажмурилась.

— Лейтенант! Погляди, кто тут.

Голову под подушку прячут только дети. От реальности все равно не спрячешься. Поэтому Таня тут же открыла глаза.

Теперь их было трое. Еще один солдат, в дубленой крестьянской безрукавке поверх шинели, и офицер со шкиперской бородкой, в пыльном морском кителе. Стояли, пилились.

Оставалось только надеяться, что они не расслышали русской фразы.

— Слава богу! — затараторила Таня по-немецки. — Я заблудилась в тумане. Испугалась, что попала к иванам.

— Еще сто метров и попала бы, — улыбнулся лейтенант. — Ты чья, сестричка? Фольксштурмовская? Твои сменились вчера. Теперь тут мы, героический полк за-сранца Райнкобера.

И засмеялся.

В крепости Бреслау все полки назывались по имени командиров, и про полковника Райнкобера Таня, конечно, слышала. Полк был сборный, всякой твари по паре: и вермахт, и фольксштурм, и эсэс.

Как хорошо, что она пустилась в путь, не сменив обычного наряда: на груди распятие, на рукаве красный крест.

— Да, я из госпиталя на Штригауэр-плац, прикомандирована к батальону фольксштурма. Я знаю, что наши ушли. Но я, дура, оставила где-то здесь сумку, без нее хоть не возвращайся. Там аптечка, шприц, инструменты — всё. Старшая диакониса голову оторвет.

— Монашка, а отчаянная, — сказал тот, что в безрукавке.

— Как это ты мимо нас прошмыгнула, а мы не заметили? — подивился офицер.

Таня думала, он потребует документы, и уже приготовилась ответить, что они тоже в сумке.

Но лейтенант документов не спросил.

— Ничего не попишешь, детка. Теперь застрянешь тут до следующей ночи. Русские нас подрезали

с флангов. Среди дня к своим не проберешься — секут пулеметами с двух сторон. Добро пожаловать на остров Мон-Сен-Мишель.

И опять засмеялся. Он, кажется, был весельчак.

Протянул руку.

— Мишель — это я, Михель Шредер, лейтенант Кригсмарине. Про остров Мон-Сен-Мишель слышала? Это во Франции, я там был в сороковом. Красотища! Монастырь на приливном островке.

— На каком? — спросила Таня, еще не до конца уверенная, что выкрутилась.

— Это когда до острова можно добраться только при низком море. Вот и у нас тут то же самое. Придется тебе ждать следующего отлива. Мы не против. Верно, ребята?

— Я — точно «за», — оскалился солдат в безрукавке. Он был совсем молодой. Из-за спины у него торчал приклад, по краю весь в аккуратных одинаковых зазубринах.

Тот, что увидел Таню первым — немолодой, беспокойно похрустывавший суставами длинных пальцев, — серьезно сказал:

— Медсестра нам пригодится. Не съешь сумку — у нас своя аптечка есть... А чего это ты крикнула? Мне показалось, по-русски. Чуть не пальнул.

— Ага, по-русски, — с невинным видом кивнула Таня. — Думала, они. «Ne strelyajte!» Это значит: «Не стреляйте!» Один остарбайтер научил, санитар из госпиталя.

— А-а, надо запомнить. Мало ли...

И никаких подозрений. Полезно все-таки быть юной девицей с ясными глазами.

— Ребята, хорош болтать, — сказал командир. — Давай, Претцель, прикручивай колесо, пока русские не проснулись.

Объяснил:

— Вечером иваны драпали отсюда — бросили полковую 76-миллиметровку. Видишь, колесо отскочило. Отличная пушка. Красотища! И ящик вон со снарядами. Претцель у нас — мастер золотые руки. Сейчас насадит болт — и укатим к себе. Давайте, парни, давайте!

Солдаты взялись за дело. Молодой поднял колесо, Претцель чем-то звякал.

— Ты, может, и буквы русские знаешь? — спросил моряк. — Чего у них тут намалевано?

— «Гитаер капут», — с удовольствием прочла Таня.

— Поскорей бы уж, — пробормотал мастер золотые руки, вытирая рукавом лоб.

За такое высказывание в тылу могли бы и расстрелять, а тут лейтенант лишь легонько дал солдату пинка.

— Не болтай, работай, пока туман не поднялся! А то как шарахнут из депо.

Прикрутили колесо быстро, за минуту. Потом солдаты навалились, укатили орудие за угол. Лейтенант крихтя нес снарядный ящик, приговаривал:

— Целых пять штук. Красотища!

Кажется, это было его любимое слово.

Гарнизон «острова Мон-Сен-Мишель» состоял человек из тридцати. Скоро Таня почти со всеми познакомилась.

Здесь, близ трамвайного депо и Еврейского кладбища, на пересечении городских магистралей, линия фронта стояла на месте уже вторую неделю. Вокруг были сплошные развалины. Русские напирали с юга, и на этой стороне Штайнштрассе у немцев оставался только клочок земли: два полуразрушенных трехэтажных дома и двор между ними. Гарнизон был разделен на две смены. Одна занимала дом, который был прямо на передовой и назывался «Фронт». Другая смена в это время отдыхала во втором доме — он назывался «Тыл». Сзади пролегла широкая улица с трамвайными путями. С трех сторон находились русские, но Тане объяснили, что впереди и слева густо заминировано, оттуда не сунутся. Нападения нужно ждать справа, со стороны депо — краснокирпичного здания на той стороне перекрестка. Оттуда, сбоку, простреливается весь двор. Если надо перебежать из дома в дом — то очень быстро. Тогда ничего, не успевают прицелиться.

Михель Шредер был подводник, родом из Бреслау. Приехал в отпуск, угодил в осаду. Он говорил, что

чувствует себя на Штайнштрассе, будто в плавании. Вот подлодка с отсеками, вот экипаж. Если судьба гикнуть-ся — так всем вместе.

Двое солдат, бывших во дворе, вроде как взяли Таню под свою опеку. «Мастера золотые руки» на самом деле звали Йени, «Претцель» было прозвищем: он, когда садился, переплетал свои длинные ноги кренделем. По профессии он был техник.

Молодого, в овчине, звали Кукук — Кукушка. Тоже кличка. Кажется, остальные считали, что этот парень малость куку. Он был снайпер, поэтому ходил не с автоматом, а с винтовкой, на ней оптический прицел, на прикладе засечки. Раньше Кукук изучал теологию в университете. Каким образом перешел от «не убий» к засечкам на прикладе — один бог, вернее, один черт знает. Глядя на улыбчивого убийцу, Таня думала: вот и вся Германия такая же. То у них Шуберт и причудницы-форели, то Гитлер и лагеря смерти.

Объявился и еще один попечитель, Францек, лесоруб из Верхней Силезии, говоривший на тамошнем смешном диалекте. Он, правда, редко раскрывал рот. Сам огромный, зверообразный, в рыжей щетине. Пялился на Таню мрачно, насуплено. Она даже забеспокоилась, стала думать нехорошее. Но он через какое-то время спросил: «Тебе сколько лет?». Она ответила, и дуболом вдруг заулыбался. «Нет, моей Магде только шестнадцать, ее на передовую не пошлют». Оказалось — беспокоится о дочке. Ее мобилизовали в военный госпиталь еще перед осадой, и с тех пор ни одной весточки.

Даже враг у Тани завелся. Санинструктор Лист, которого все звали «Лизкен». Лейтенант сказал ему: «Отдай сестренке сумку, возьми автомат. Из тебя медбрат, как из свиньи балерина». Лизкен и надулся — ему теперь после пересменки на Фронт идти.

Вообще Таня как-то моментально освоилась в островной жизни. Пан Директор сказал бы: «вросла в социум». Наверно из-за того, что у солдат на передовой жизнь короткая, как у бабочек-однодневок. И всё происходит быстро.

Пока русские не пошли в атаку, а только постреливали, делать было особенно нечего. Таня ходила по этажам, примеривалась, откуда ночью будет проще перебраться на другую сторону. Или сидела, слушала разговоры.

Поразительно, до чего тут вольно обо всем рассуждали. И офицера не стеснялись.

В «городе-крепости» на всех выступлениях и в газетах болтали о победе, о «секретном оружии фюрера», о том, что всех спасет армия генерала Шёрера, о грядущем «чуде под Берлином», когда большевиков разобьют и погонят обратно в Азию.

Здесь же на победу никто не надеялся. Только на то, что американцы возьмут Берлин раньше и подпишут мало-мальски приличный мир. Надо дать им время, а для этого необходимо как можно дольше держаться против иванов. К русским в плен никто не хотел. Загнешься в ихней Сибири от холода и голода.

Тут Францек разверз уста, говорит: «А я лесоруб, я не пропаду и в Сибири».

Лейтенант ему: «Не надейся. В плен они тебя не возьмут. Мы их тут положили видимо-невидимо. И сами пленных не берем, потому что куда их? Так что тайгу тебе не рубить. Тут сдохнешь. Потерпи малость. Нас и так от роты тридцать человек осталось».

Все приумолкли, а Таня иронически подумала: тридцать витязей прекрасных и с ними дядька их морской.

Около полудня, после особенно ожесточенной перестрелки, пришлось Тане перебраться на Фронт. Там ко-го-то ранили.

Францек сказал:

— С тобой пойду, — хотя их смене оставалось отдыхать еще час. Высунулся из-за угла. — Не отставай только. Нет, лучше дай руку. Упадешь, подхвачу, не бойся.

Рванул за собой. Из тени выбежали на свет, через несколько секунд опять оказались в тени. Таня ничего толком и не разглядела, только услышала, как сзади по щебенке что-то хлестко защелкало. Наверно дали очередь из трамвайного депо.

Напротив Фронта, по ту сторону узкой Менцельштрассе, в развалинах взорванной школы засели русские. Совсем близко. Поэтому у окон и амбразур все время дежурили пять человек: два пулеметных расчета и часовой на крыше.

Вот где остаться бы, прикидывала Таня, быстро бинтуя раненого. До своих отсюда полсотни шагов максимум.

Солдат был без сознания, пуля прошла через правое легкое, навывлет. Поскольку в госпиталь попадет нескоро, скорее всего не жилец. И черт с ним.

— Мне нужно все время быть с ним, не то умрет, — сказала она.

Ее, конечно, оставили. Францек еще и по затылку погладил своей лапичей. А скоро произошла пересменка, и вокруг опять оказались знакомые.

Кукук перестал болтать, чуть высунулся из-за подоконника, приложившись к биноклю. Оконные проемы были затянуты сеткой. Михель объяснил, что это защита от гранат — у русских имелись мастера, которые могли точным броском кинуть лимонку через улицу.

— А у нас есть штука получше, потому что мы — цивилизация, — похвастал лейтенант. — Гляди, Хяльде. Это катапульта.

Они с Претцелем установили на полу какую-то треногу с полосой резины, как на рогатке. Михель вложил ребристую гранату, натянул. Крикнул:

— Окно!

Солдат сдернул сетку, граната взлетела под острым углом вверх.

— На кого бог пошлет! — азартно крикнул моряк, приложил руку к уху.

Где-то далеко ударил взрыв.

— Метров на сто улетела. Прямо с неба на иванов, никаких мортир не надо! — засмеялся Михель. — Давай следующую!

А Кукук вдруг резко присел, отложил бинокль, потянул за ремень винтовку.

Прошептала:

— Он, точно он! Блеснуло между камней!

— Кто «он»? — спросила Таня.

— Русский снайпер. Они давно друг за другом охотятся, — ответил Францек. — Ты это, шла бы в заднюю комнату. А то отприкошетит...

И верно. Смотреть, как стреляют по нашим, было тяжело. Таня прошла коридором, среди битого кирпича, переломанной мебели, стреляных гильз, окровавленных бинтов в угловую комнату, выходящую на перекресток. В стене зияла дыра — наверно, от снаряда. В нее глядел дозорный — не затеют ли русские что-нибудь со стороны депо.

Посмотрела в пробойну и Таня.

Нет, с этой стороны нечего и пытаться. Широкое голое пространство, отовсюду простреливается. Ночью заденешь что-нибудь, и начнут палить на звук...

— Эй, — нервно сказал дозорный. — Чего-то они тут... — Оглянулся. Лицо напряженное. — Сестра, зови командира. Быстро!

Таня сбегала за лейтенантом, с ним и вернулась.

Из распахнутых ворот высунулось длинное дуло, за ним показалась зеленая броневая башня.

— Танк, — прошептала Таня.

Ротный поправил:

— Самоходка.

И заорал кому-то:

— Бауэр, не зевай там! Видишь?

— Вижу! — отозвались снизу.

Где-то на уровне земли, такое ощущение, что прямо под ногами, бухнул очень громкий выстрел. От железных ворот депо отлетела створка. Самоходка стала поворачивать ствол.

— Бауэр, скотина, живет! — закричал Михель. И Тане: — Уйди отсюда, уйди! Подальше, на тот конец дома!

Но она стояла, словно замороженная. Наблюдала, как орудийное дуло превращается в черную точку.

Внизу опять грохнуло. У русской самоходки от гусеницы полетели куски и клочки пламени. В следующий миг черная точка выплюнула огненный шар. Дом задрожал, Таню качнуло.

— Выше взял, кретин! — захохотал Михель. — Лупи беглым, Бауэр!

Трофейная пушка внизу пальнула еще трижды, потом замолчала. Из самоходки валил черный дым. Успел ли экипаж выбраться, было не видно.

На Менцельштрассе тоже стреляли, но не гулко, как здесь, а часто, мелко.

Кто-то там в комнате завопил. Лейтенант бросился на крик, а Таня осталась. Но через минуту ее позвали:

— Хильде! Хильде!

Побежала.

Несколько человек склонились на Кукуком. Тот сипел, изгибался. В левой глазнице зияла багровая дыра. Таня поразилась, как это он еще жив, но потом увидела, что пуля прошла наискось — выходное было в виске.

— Пустите, перевяжу!

— Достал русский снайпер нашего Кукука... — сказал лейтенант. — Чего он, кончается?

Таня быстро обработала жуткую на вид, но на самом деле не смертельную рану.

— Поживет еще... Ходить только пока не сможет. Тут еще и сильное сотрясение. Придется на руках нести. Вместе с тем уже двоих.

— Погоди, день еще длинный, — блеснул зубами Михель, но улыбка вышла кривая.

— Командир, сюда! — закричали теперь из угловой. — Все сюда! Атака!

— Первый расчет за мной, второй — остаетесь здесь, глядеть в оба! — приказал лейтенант.

Понесся, а за ним остальные, по коридору.

Таня посмотрела на раненых. Один без сознания, второй щупает руками толстую повязку на голове, всхлипывает.

Нет уж, лучше там.

В угловой комнате никто не стрелял. Все глядели в окна, лейтенант — в дыру. Посмотрела и Таня.

Из депо по рельсам выкатилась открытая платформа, обложенная мешками с песком или, может быть, с цементом. Над ними торчали вершущи касок. Передвижная баррикада медленно приближалась.

— Не стрелять! — приказал Михель. — Вот кретины. Спрятались! Лауниц, Завадски. Приготовить гранаты. Доедут до подбитого броневедомобиля — кидайте мячики к ним в корзинку. Это наши лучшие баскетболисты, — весело объяснил он Тане.

Но платформа остановилась на середине площади, немного не доехав до обугленного каркаса. Высунулись стволы автоматов. Взахлеб, сливаясь в единый заполошный треск, ударили очереди.

Лейтенант оттолкнул Таню от пробоины, сам тоже присел, но через каждые несколько секунд выглядывал наружу.

Комната наполнилась оглушительным щелканьем, яростным визгом. Лопнуло стекло на старинном посудном шкафе, внутри задребезжали тарелки. Посыпалась крошка с потолка.

— Аа...! — коротко вскрикнул сжавшийся под окном рябой солдат, имя которого Таня не запомнила. Схватился за плечо, завертелся на месте.

— Рикошеты! Чепуха! — крикнул Михель. — Перевяжи Гартманна.

На четвереньках она переползла к раненому. Кажется, перебита кость. Дрожащими руками стала накладывать проволочную шину. Рыжий больше не кричал, только мычал.

Стрельба не прекратилась, но визга и щелканья больше не было. Русские теперь обстреливали верхний этаж.

Михель выругался.

— А вот это уже хуже. Каюк нам, ребята...

Все поднялись с пола, высунулись.

Позади платформы с мешками неторопливо полз небольшой танк со странным узким дулом.

— Что это, лейтенант? — спросил кто-то.

— Огнемет. В штабе на инструктаже говорили. Броня у них хлипкая, да снарядов больше нет. Гранатой не возьмешь. А из панцерфауста пока прицелишься — с платформы подстрелят. Грамотно.

Таня про себя улыбнулась, гордая за соотечественников, что они так здорово воюют.

Претцель почесал щетину на подбородке:

— И знают ведь откуда-то, что у нас снаряды кончились.

Михель буркнул:

— Не будь идиотом. Это же их пушка. И снаряды тоже... Теперь ясно, зачем они самоходку выпускали. Чтоб мы на нее весь боезапас потратили.

— Что делать, командир?

— Драпать. Сейчас эта жестянка подтянется метров на сорок и начнет плеваться огнем во все окна подряд. Выжжет, как тараканов.

Он попятился от пробоины.

— Ребята, перебираемся в Тыл. Через двор по двое, рывком. Живо, живо!

Подошел к рябому. Тот сидел на полу, кусал губы, нянчил руку.

— Гартманн, бежать можешь?

Кивнул.

— Тогда ты первый. Марш-марш, быстрее!

Повернулся к Тане:

— От меня ни на шаг. Пойдем, на тех посмотрим.

Они вдвоем пошли по коридору в помещение, выходившее окнами на Менцельштрассе. Мимо бежали солдаты — к лестнице.

Лейтенант объяснил пулеметчикам ситуацию, велел брать «машинку» и сматываться. Покачал головой над солдатом с простреленным легким — тот был без сознания. Кукук лежал на спине, смотрел единственным глазом в потолок. Присев над ним на корточки, Михель сказал:

— Бежать можешь? Перенести тебя не получится. Срежут.

Снайпер покачал головой:

— Кружится всё.

— Тогда на. — лейтенант вынул из кобуры пистолет, вложил ему в руку. — Иначе сгоришь заживо.

— Мне нельзя, — ровным голосом ответил Кукук. — Я христианин.

После паузы Михель покосился на Таню.

— Подожди-ка в коридоре.

Она вышла, думая только об одном. Сейчас бы спрятаться где-нибудь, пересидеть. Но ведь сгоришь вместе с домом...

Сзади грохнуло. Потом еще раз.

Появился мрачный Михель, на ходу застегивая кобуру.

— Мы последние. Они уже пристрелялись, поэтому через двор дуй, как на стометровке. Ты в школе бегала стометровку?

— Нет, я училась в католической.

— Ну вот, а стала протестантской диаконисой, — рассеянно пробормотал лейтенант, глядя на какой-то провод, тянувшийся вдоль ступенек лестницы. — Ты давай первая. Я немножко задержусь. Проверю, нет ли где обрыва... Ни о чем не думай, просто шпарь во всю прыть.

Так она и сделала. Как в прошлый раз: тень — свет — тень. Только в обратном направлении.

В дверях ее подхватили на руки, обняли.

— Молодец, сестренка. Где ротный?

— Он сейчас.

Таня раздраженно высвободилась. Может, надо было бежать не через двор, а вправо? Теперь же, наверное, придется ждать темноты...

Пришлось.

Боя больше не было. Все смотрели, как пылает соседнее здание. Потом, когда там все выгорело и пожар закончился, ждали, не займут ли почерневший дом русские. лейтенант держал руку на коробочке, от которой тянулся провод. Оказывается, фронт был заминирован.

Таня ужасно волновалась, но наши не дураки, соваться не стали. Выбили немчуру из опорного пункта,

откусили от «города-крепости» еще один кусочек и тем пока удовлетворились.

Ночью, думала Таня. Ночью. Она уже отлично здесь ориентировалась и знала, как действовать.

Через окошко подвала выбраться во двор. Ползком вдоль пожарища. Потом на Менцельштрассе. А там уже наши. На мину бы только не наступить. Но Таня верила в свою везучесть.

Нашим она скажет: «Не тратьте зря людей. Эти немецкие солдаты сдадутся, если будут твердо знать, что вы их не убьете». А потом той же дорогой обратно. С запиской от русских или чем-то в этом роде. Ей, Тане, в роте поверят. Сложат оружие, останутся живы. И всем будет лучше. Пускай себе рубят сибирский лес.

Ей теперь не хотелось, чтобы гарнизон «острова Мон-Сен-Мишель» погиб. Особенно Михель Шредер.

Он был бы очень привлекательным со своей морской бородкой, непоказным бесстрашием, способностью не теряться в любых обстоятельствах. Если б не был немцем.

Ну и вообще — не ее тип.

Таня много думала о том, кого могла бы полюбить. И представляла себе его совершенно ясно, до мельчайших подробностей.

Внешне Он походил на Збигнева Красовского. Стройный, но крепкий. Пышноволосяный шатен. С резными чертами лица, высоким чистым лбом. С серьезными внимательными глазами. Но не дубина, как Збигнев, а умный, тонко чувствующий, всё понимающий без слов. Храбрый — но не по-звериному, как Панцер-Карл, а по-человечески. И очень, очень добрый, потому что злости у Тани хватит на двоих. Сильный, но ранимый, — чтобы нуждался в ее защите. Как бы она Его оберегала от любой беды! Никто никогда не причинил бы Ему вреда, пока она рядом. Ну и — это само собой — Он должен быть русский. Любящий литературу, начитанный. Услышал начало цитаты — и продолжил.

Она часто про Него мечтала, иногда даже с Ним разговаривала. Он, правда, больше слушал, как она рассказывала про свою жизнь. Но как слушал!

К концу дня Таня твердо решила, что сбежит, когда рота будет возвращаться в тыл. Боевое дежурство в городе-крепости было организовано так, что после суток на передовой бойцам полагались сутки отдыха.

Сначала сказала командиру, что лучше останется на месте, потому что опять заступят ее фольксштурмовцы. Чего зря таскаться взад-вперед? Но Шредер и слушать не захотел.

— На время пересменки здесь задержатся только пулеметные расчеты. А тебе после двух суток фронта подряд положено двое суток отпуска. И не спорь. Эту систему не дураки придумали. Когда человек долго на передовой, у него притупляется инстинкт самосохранения. От этого возрастают потери.

Велел все время быть рядом с ним. Очень боялся, что она окажется на каком-нибудь простреливаемом месте и попадет под пулю русского снайпера. Если Таня хотела отойти, Михель сразу вскидывался: «Куда?» Ей понадобилось по нужде — проводил во двор и ждал за дверью. Вот уж воистину:

В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит.

И все время учил, как выжить на войне. Главное, говорил, знать, когда двигаться, а когда нет. На передовой без необходимости перемещаться не надо. Забился в щель, прикинулся бульжником. Но если надо поменять позицию — делай это четко и быстро. Перебралась — снова: бух, и застыла. Нет тебя.

Ну и прочее подобное. Надоед ужасно.

Сбегу по дороге, обещала себе Таня.

Но черта с два. Когда перед полночью остатки роты тихо-тихо крались через широкую Штайнштрассе, Михель взял Таню за руку. Не отпускал, пока не оказались на батальонном командном пункте. А оттуда отправил в госпиталь с провожатым. Наверно, и сам бы пошел, да его к какому-то ротмистру Шмидту вызвали.

На прощанье щелкнул по носу.

— Счастливо, сестренка. Героическая ты девушка. Но больше на передовой мне не попадайся. Сразу отправляю в тыл. Нам такие живые нужны.

Назад в центр Таня плелась совершенно убитая. Наши были рядом, она их видела совсем близко — и такое ужасное невезение!

Не разучилась бы плакать — лила бы горькие слезы, а так только злобно скалилась и шмыгала носом.

ЛЮДИ ИЛИ ЖИВЫЕ?

1120

М.М.

11111

ЗАМ ПО СТРОЕВОЙ

Место для печати

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ваш

имя, фамилия, отчество

родился, дата и место

уроженец

ссылка, район, д/р/Ф и село

в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил героизм и мужество.

дата, район и село ст. пол.

подписан

подпись

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о награде (приказ) НКО СССР № _____

Командир части

Воинский комиссар

д. п.

ЛУ НКО 2214-02

— Товарищи офицеры, как вы знаете, ночью будет передислокация. Прошу слушать очень внимательно, особенно новеньким, которые из пополнения. Смотрим сюда, товарищи.

Комбат Репин взял сухую ветку, исполнявшую роль указки, повернулся к карте. В комнате, где Рэм получил от усатого адъютанта и невидимого Вали назначение в третью роту, собрались все офицеры батальона. Кто-то сидел на подоконнике, кто-то на полу, привалившись спиной к стене.

Время от времени по впалым щекам стоявшего перед картой капитана пробегала судорога, и тогда он на секунду-другую прерывался. Можно было бы подумать, что командир еле сдерживает раздражение, но Рэм, докторский сын, сразу определил по желтому цвету лица, что у комбата язва и сейчас, наверное, как раз приступ. Удивительно, сколько на передовой нездоровых людей, гораздо больше, чем в глубоком тылу, в том же Оппельне, подумал Рэм. У комроты Лысакова вон жесточайшая ангина, еле сипит. И во взводе чуть не половина простуженных. Но это всё вроде как не считается.

За столом сидело остальное батальонное начальство: замполит Левонтьев, адъютант со своими гусарскими усишками и какой-то старлей, откинувшийся на спинку стула и спустивший ушанку на самый нос. Было видно только нижнюю часть лица невероятной для фронтовых условий, прямо-таки глянцевой выбритости.

— Общая обстановка на нашем участке, стало быть, такая, — водил веткой по схеме Репин. — Город-крепость Бреслау полностью окружен нашей Шестой армией в середине прошлого месяца. Внутри, в кольце, предположительно до миллиона немцев, местных жителей и беженцев. Из них, по нашим разведанным, под ружье поставлено около 130 тысяч человек. Это вместе с фольксштурмом — выражаясь по-нашему,

с ополчением. В городе огромные запасы продовольствия и боеприпасов, потому что здесь были сосредоточены военные склады. Кроме того, каждую ночь работает «воздушный мост». Десятки самолетов доставляют необходимое и увозят раненых. Одним словом, крепкий орех. Зубы обломаешь...

Капитан поморщился — словно у него в самом деле сломался зуб. Справился с приступом боли, продолжил:

— Мы и обломали, когда попробовали взять Бреслау с хода. Которые из вас были — помнят.

— Хрен забудешь, — откликнулся комроты-два, начальник Петьки Есауленко. — У меня четверть людей осталась.

— Потому что поперли напролом, ура-ура, да на заминированные мосты, да на дзоты вдоль железнодорожной дамбы, — сказал замполит. — Мы чего не учили, товарищи? Что у многих фрицев тут дом. Семьи. Что отступать им некуда. Когда крысу загоняешь в угол, она дерется насмерть.

— А нечего было лезть, — раздался голос из угла. Рэму было не видно чей. — В узкие улицы, где всюду каменные коробки. Сколько народу положили. Расхерачить с воздуха подчистую, и баста. Не было бы никакого Бреслау. И мы б тут не увязли, а пошли бы на Берлин.

— Товарищи, товарищи! — Командир постучал веткой по стене. — Тихо! Приказов верховного командования мы обсуждать не будем. Так, лейтенант Зотов? Ну то-то. А выводы какие надо сделаны. Вот отсюда, с юга, с линии Опицштрассе — Лотарингерштрассе, сильно укрепленной противником, дивизию перемещают на западный участок, в район Оппенау. Вот сюда. Сдаем занимаемые позиции 181-й и 309-й, которые подкрепления не получили, и располагаемся между Шмидефельдом и Нойкирхом. Наш полк конкретно вот здесь. — Ветка-указка ткнулась в бумагу. — Бросок будет произведен в темное время суток. Батальон пока ставят во вторую линию. Будем готовиться к новому штурму.

Тут адъютант (его фамилия была Секацкий) подмигнул, по комнате прокатился смешок — Рэм не понял, почему Репин обернулся.

— Зря обрадовались. Готовиться будем всерьез. Теперь у нас почти штат. Отпуск закончился. Из состава

батальона выделяется сборная учебная рота. В нее включены взводы, где больше половины новобранцев. Будут учиться воевать в условиях уличных боев. По всей науке. Ответственный — зам по строевой части старший лейтенант Птушко. Эй, Валь! Спишь что ль? — обратился он к дремлющему старлею.

— За...закемарила малость, — ответил зам по строевой, сдвинул шапку на затылок и оказался молодой круглолицей женщиной.

Комбат гордо кивнул на нее:

— Знакомьтесь, кто еще не видал. Наша знаменитость. Валентина. Одна такая на всю армию: женщина — боевой офицер фронтовой пехоты. С сорок первого года воюет. Про нее сколько раз в газетах писали. Всё знает-умеет лучше любого мужика. И вас научит. Давай, Валя, тебе слово.

Репин прижал рукой верх живота, ссутулится, сел.

Женщина встала, сняла ушанку. Волосы оказались стриженными по-мужски, под полубокс. Подавила зевок, потеряла глаза.

— Извиняюсь, товарищи. Ночью ездила с квартирьерами, смотрела новые позиции... Коль, — обернулась она к комбату. — Давай отпустим «старичков». Зачем им зря время терять?

Капитан кивнул. Глаза у него были страдальчески зажмурены.

— Ага. Тогда так. — Она достала листок. — У меня тут записаны взводы, поступающие в мое распоряжение. — Прочла пять фамилий, в том числе Рэма, причем фамилию повторила: — ...Есауленко, Клобуков... Клобуков... — И еще раз, будто пытаясь что-то вспомнить: — Клобуков... Остальные свободны. Чего ученых учить? А кто со мной — пойдем на улицу. Там весна, солнышко.

Рэм и еще четверо вышли за удивительным замкомбата во двор. Сели на бревна. Валентина Птушко встала перед ними. Теперь — вблизи, при ярком свете — Рэм разглядел ее получше.

Наградные колодки в два ряда, четыре нашивки за ранения. Ого! Широкий обветренный лоб, небystрый взгляд, плотный подбородок. Не мужчина, но и не женщина. Наверно, такой была Василиса Кожина,

партизанская командирша, командовавшая мужиками в ту первую Отечественную.

Остальные взводные, такие же младшие лейтенанты, как Рэм, тоже смотрели на диковинного начальника, верней начальницу, и, похоже, ничего хорошего не ждали.

Старший лейтенант улыбнулась, и сразу стала похожа — нет, не на женщину, а скорее на простого, приветливого парня.

— Обычно на фронте офицерам, только что прибывшим из училища, говорят: «Всё, чему вас там учили, забудьте, на фронте это не пригодится». Я вам такого говорить не буду. На фронте вам всё пригодится: и тактика, и знание уставов, и строевая. Но потом, не в Брестлау. Вот я, как вы слышали, с сорок первого года воюю, а тут пришлось всему учиться практически с нуля. Курс наук у нас будет специфический. Только два предмета. Первый: как брать с боем городские постройки. И второй: как это делать с наименьшими потерями. Именно в такой последовательности, к сожалению.

Что было удивительно, говорила она, не пытаясь изображать мужчину, а совершенно по-женски. И речь была правильная, как у преподавателя.

Не Василиса Кожина, а скорее Комиссар из «Оптимистической трагедии», скорректировал первое впечатление Рэм. Но Птушко опять улыбнулась, как-то совсем не по-командирски, и он опять мысленно поправился. Комиссарша была жесткая, потому что хотела что-то доказать революционным матросам, а эта уже давно всем всё доказала, поэтому ничего из себя не изображает.

— Когда я под Москвой попала в ополчение, санитаркой, нас ничему не учили, времени не было, — продолжила инструкторша. — Только винтовку заряжать да на спуск жать. И сразу кинули на фронт, затыкать дыру. Там, в дыре, весь наш батальон и лег. Почти что без толку. Фрица мы задержали максимум на полчаса. А тут у нас будет по-другому. Я нашла отличное поле для учебного полигона. Боеприпасов для стрельб навалом. Погода тоже неплохая. Единственно — неизвестно, сколько времени до штурма. Поэтому наша с вами задача успеть как можно больше. Учиться будем все время. Бойцам — шесть часов на сон, и в течение дня три часовых перерыва. У вас,

командиров, и того не будет. Нужно твердо понять одно: чем больше успеем, тем лучше будем воевать, а значит, быстрее закончим и меньше народу похороним. Напоминайте об этом вашим бойцам сто раз в день. На лишнее ни минуты тратить не будем. Окапываться, строем ходить, песни орать — это всё не для нас.

Слушали ее очень внимательно, еще лучше, чем комбата. А Рэм поймал себя на том, что чувствует себя будто в школе, на уроке, причем не на какой-нибудь тоскливой биологии, а на физике, которую так потрясающе вел Лев Львович, их классный.

— Учеба будет разбита на три этапа. Это как школа трех ступеней. Начальная — четыре дня. Занятия будут вестись поотделенно: как правильно ползать, перебежать, быстро заменить-зарядить диск, исправить заклин, перебежать-укрыться. И, конечно, первая медпомощь при ранении: товарищу и себе. Научим бойцов накладывать жгут, делать из подручного материала шину, а еще со склада прислали американские шприцы с противостолбнячной сывороткой. Это очень здорово, много жизней спасет.

Рэм поднял руку, но Птушко угадала вопрос.

— Как будут организованы поотделенные занятия? Очень просто. В каждом взводе есть ветераны. Они всё это умеют, покажут. Я тоже буду приглядывать. За день обойду всех, и не один раз. А через четыре дня устрою экзамен. Лично проверю готовность и каждого отделения, и каждого бойца. С этим ясно?

— Более-менее, — солидно сказал Петька.

— Хорошо. Потом будет школа второй ступени. Считайте — семилетка, потому что рассчитана она на семь дней. Действие взводом в условиях уличного боя. Действие в составе штурмовой группы, в танковом десанте и прочее. Будем штурмовать развалины и уцелевшие дома в освобожденной части города. Ну а если у нас после этого еще останется время — поучимся в старших классах. Тут пойдут всякие специальные хитрости и тонкости — наука, которую мы постигли в Бреслау и за которую дорого заплатили. Вот так. Вопросы есть?

Рыжий парень, кажется, из второй роты, игриво поинтересовался:

— Товарищ старший лейтенант, а про институт вы нам расскажете?

— Мы сейчас не в строю, а просто разговариваем, — ответила она, дружелюбно на него поглядев. — Поэтому зови меня «Валя» и на «ты». На институт у нас времени точно не будет. Десятилетку бы пройти — уже много.

— Ну а если было бы время? — не унимался рыжий.

— Тогда поучились бы «смежке». Научили бы каждого бойца быть и пулеметчиком, и минометчиком, и связистом, и даже наводчиком «сорокапятки». Тогда были бы наши солдаты не хуже фрицев.

— А так — хуже? — обиделся Петька.

— Конечно, хуже, — спокойно сказала Валя. — Немцы своих новобранцев знаешь как натаскивают? Минимум три месяца боевой подготовки. Потому и потери у них меньше, чем у нас.

— Зато в рукопашной наш всегда фрица порвет, — буркнул Есауленко.

— Ой, забыла! — Валя хлопнула себя по лбу. — Молодец, что напомнил. К восемнадцати ноль-ноль от каждого взвода пришлите по три человека. На инструктаж по рукопашке. В городе она все время нужна. Покажу несколько приемов, чтоб научили остальных. Присылайте не бугаев, а шустрых. Сила тут особенная не требуется, только сообразительность и реакция. Еще вопросы?

Вопросов не было.

— Тогда пять минут покурите, перемойте мне косточки — и по взводам, — засмеялась она. Взглянула на часы, слишком большие для тонкого запястья. — В одиннадцать приступайте к занятиям. Поотделенно. Перерыв на обед в четырнадцать. Ночью передислокация, поэтому завтра дадим личному составу поспать до девяти. В дальнейшем занятия начинать с восьми утра. Пока. Увидимся.

— Валя, а с нами покурить? — сказал рыжий, но уже не так бойко, как раньше. Известие о том, что старший лейтенант Птушко еще и инструктор по рукопашному бою, на всех произвело впечатление.

— Я медичка. Не курю. Для легких вредно.

— А воевать не вредно? — подал голос до сих пор молчавший взводный из первой роты. Он все время смотрел на Валентину исподлобья, ни разу не улыбнулся.

— Если на фронте убьют или покалечат — тут ничего не напишешь. А за просто так свое здоровье губить?

И пошла.

— Бой-баба, — шепнул Есауленко.

Мрачный сплюнул табачную крошку:

— Вообще не баба.

А Рэм курить и трепаться не стал. Отправился к взводу.

Все-таки очень ему повезло с помощником. Санин еще вчера, будто заранее знал про учебу, предложил раскидать людей так, чтобы в каждом отделении были фронтовики и «несломанные». В отделенные предложил Хамидулина, Носова и Ходжаева, дагестанца, все трое из «стариков». Рэм обратил внимание, что бывший майор ведет себя с ними по-разному. С рассудительным Хамидулиным он был разговорчив, со звероватым сибиряком Носовым немногословен, к дерганому, будто искрящемуся злостью Ходжаеву обращался исключительно по уставу. При этом не отдавал приказы, а будто советовался. Когда Рэм спросил — почему, Санин ответил, что каждый из отделенных чем-то хорош, а чем-то плох. Как вообще все люди. Главная задача командира — пустить бойца по течению, а не против.

— А я думал, после той истории «старики» будут вас ненавидеть, — признался Рэм.

— Они меня и ненавидят. — Ефрейтор спокойно пожал плечами. — Но опасаться надо только Хамидулина. Если после первого боя меня найдут с дыркой в спине — знайте, что это дело рук тихого Мухамета Насрулловича. Поэтому я буду глядеть не только на фрицев, но и на него.

Да, вот это настоящий офицер, с восхищением подумал Рэм. Ему бы полком командовать, а не взводом.

И сейчас, послушав про «начальную школу», Санин тоже нашел самое простое решение.

— Соберите «стариков», поставьте задачу. Пусть потолкуют между собой. Мы с вами даже слушать не станем.

Так Рэм и поступил. Вызвал к себе в стойло всех шестерых. Объяснил ситуацию, а в заключение сказал:

— Чему и как учить бойцов, вы лучше меня знаете. Я сам у вас учиться буду.

Отошел, чтоб не мешать. И потом они с Саниным тоже не вмешивались, только наблюдали.

Отделения занимались по-разному. Хамидулинские всё больше ползали, ходжаевские перебежали и падали, носовские возились с автоматами. Санин сказал: пускай, не вмешиваемся.

А к 18.00 Рэм прибыл к батальонному КП с двумя бойцами, отобранными в инструкторы рукопашного боя. Один был из «стариков», разговорчивый заика Сейранян. Второй из пленных, бывший цирковой акробат Возняк.

— Любопытно будет посмотреть, как баба меня драться поучит, — сказал по дороге Возняк. — Вот просто любопытно.

У него было странно неподвижное лицо. Когда говорил, губы почти не двигались. Санин рассказал, что Возняк пробовал бежать из плена, был пойман, избит прикладами и что-то нарушилось с лицевым нервом.

— Сам ты б-баба! — забрызгал слюной Сейранян. — Валька один раз вот такого ф-фрица, семь на восемь, одна п-пригнала. Не п-пикнул! Двоих на месте п-положила, а т-третьего п-пригнала! Не веришь? К-корреспондент потом приезжал, в г-газете напечатали!

Немного опоздали. Прибывшие из взводов стояли в кружок. Посередине — старший лейтенант Птушко.

— Сам пришел? — удивилась она Рэму. — А кто проводит занятия?

— Отделенные. Я им не нужен. А вот рукопашному поучусь. Во-первых, я боксер. А во-вторых, интересно.

— Ну, если все в сборе, начинаем. — Птушко вынула из висевшего на поясе чехла саперную лопатку. — Когда начались уличные бои, большинство сняли вот эти лопатки как лишний груз, потому что в городе окапываться не приходится. И совершили большую ошибку. Эта штука, если уметь с ней обращаться, сильно лучше ножа и тем более приклада. Физическая сила практически не требуется. Только быстрота и точность. Самый короткий, простой удар — вот так, по предплечью или по кисти. — Лопатка сверкнула в воздухе и вернулась в прежнюю позицию. — И всё, рука обездвижена.

Хочешь — добивай, хочешь — в плен бери. Хороший удар вот такой, скользящий, по лбу или переносице, чтобы ослепить. Опять-таки, никакой силы. Рраз — и всё. Рраз. Рраз. Если противник бьет прикладом в голову — быстро присел, и сбоку по коленному суставу. Вот так.

Двигалась она легко, удары наносила безо всякого усилия, будто помахивая.

Распрямилась, с улыбкой посмотрела на Возняка.

— Вижу на лице бойца презрение и скепсис.

— Это у меня лицо такое, — ответил тот. И фыркнул на чудное слово: — «Скепсис». Товарищ старший лейтенант, давайте я вас прикладом, а вы защищайтесь лопаткой.

— Давай. Я вот даже ее в чехол спрячу. Бей без скидки. Как в бою.

— Голову же проломлю.

— Ну и хорошо. В госпитале отдохну. Бей.

Возняк подбросил автомат, ловко перехватил за дуло, полусогнул колени, подобрался. Быстро, без предупреждения ткнул прикладом прямо Валентине в лицо, но она качнулась в сторону, выхватила лопатку и рубанула сбоку. Штык замер в сантиметре от возняковской шеи.

— В рукопашной схватке лопатка всегда выигрывает. Потому что она легче винтовки или автомата, а радиус больше, чем у ножа, — объяснила Птушко. — Кто хочет с ножом попробовать? Вот ты, с финкой на ремне, выходи.

И так же быстро, в один прием, чуть не отсекала чубатому, блатоватому ефрейтору вытянутую руку.

— Чего война, сука, с бабами делает, а? — тихо сказал кто-то за спиной у Рэма. — Посмотреть бы, какая она раньше была.

— Какой была, больше не будет, — ответил другой.

— С лопаткой потом поработаем, — сказала Валентина. — А сейчас предположим, ты не успел ее достать. Или ее вышибли. Голые руки — тоже оружие. Тем более ноги. Они длиннее и сильнее. Давай, боксер. — Она поманила Рэма. — Покажи, что ты умеешь.

Он вышел, принял стойку. Прикинул: противник маневренный, двигается быстро. Значит, надо не атаковать, а держать оборону. Бить на отходе. И не забывать про ноги.

Подождав нападения и не дождавшись, Валентина пошла на Рэма мелкими, эластичными шажками. Он слегка попятился, но не назад, а забирая в сторону, как бы по дуге. Смотрел ей прямо в глаза, как учил тренер: движение противника угадывается за долю секунды. Прыжок и удар сапогом сбоку Рэма врасплох не застал. Он увернулся, да еще успел проводить ногу толчком, так что Валентина не удержалась, покатила по земле. Сразу же вскочила, развернулась. Стряхнула со лба челку, засмеялась.

— Если лопатки нет, а в противники достался такой вот боксер, есть другой прием. Безотказный...

Бойцы внимательно слушали, и Рэм напряженнее всех.

— ...Поворачивайся и уматывай, пока цел.

Когда все оторжались, Валентина сказала:

— Ладно. Теперь разбираем лопатки. Приступаем к отработке приемов.

После часовой тренировки, намахавшись осточертевшим саперным инструментом, Рэм сидел на бревнах, утирал вспотевший лоб. Рядом опустилась Птушко.

— Клобуков... Редкая фамилия. У нас преподаватель такой был в институте, вел анестезиологию. Правда, с четвертого курса, я не дошла.

— Это же мой отец! — вскинулся Рэм.

Оказалось, она тоже москвичка, из Подсосенского переулка, где-то за Покровкой. Рэм того района совсем не знал.

— Кончится война — вернусь в мед, — говорила Валя. — Но не на лечебный, как раньше, а на хирургию. Поступала — дурочка была, крови боялась. А теперь из меня хороший хирург должен получиться. Я один раз прямо в окопе ампутацию делала, представляешь? Ножом. Иначе человек в пять минут умер бы. — Вздохнула. — Он, правда, все равно умер...

— У меня мать была хирургом.

Поговорили про Москву. Рэм думал: вон как на войне помогает родная столица, уже который раз. С Уткиным, правда, хреново закончилось... Но Валя еще и отца знает. Хотя бы по имени.

Вдруг возникло чувство, впервые за эти дни, что, может быть, как-нибудь всё образуется. И, может быть, даже хорошо закончится.

Валентина поднялась.

— Кончай перекур! Бери палки-копалки. Работаем!

В последующие дни он видел ее много раз. Появлялась Валя всегда неожиданно. Бывало, что ее не сразу и замечали. Но прерывать занятия было не велено. Без необходимости старший лейтенант не вмешивалась, только если надо что-то поправить или показать. Никого не ругала, голоса не повышала. Но даже когда она просто смотрела, люди подтягивались, а отделенные переставали материться.

За глаза ее называли «мамкой», хоть большинство солдат были старше, а некоторым она годилась в дочери.

И, конечно, много про нее разговаривали. «Старики» сказали, что две недели назад, когда батальон еще был на передовой, Валентина одна по канализационной трубе пробралась в подвал дома, где засели фрицы, и вышибла их оттуда гранатами. Спорили, что ей за это дадут — как минимум «Знамя».

Но поболтать с Валею о Москве больше не получилось. Инструктаж по рукопашке состоял всего из двух уроков. Десять простых приемов, которые действительно мог освоить любой солдат, даже физически хилый. Валентина повторяла, что главное — добиться автоматизма. Чтобы даже в помутнении рассудка, когда от страха ничего не соображаешь и не видишь, руки-ноги сами делали, что от них требуется. Теперь Рэм занимался с отделениями сам. Только лопатки пока не велел затачивать, а то порубятся.

Несколько раз, когда Валентина приходила посмотреть на учения, он ловил на себе ее взгляд и тогда казалось, что она смотрит не так, как на других. Пару раз он даже повернулся. Но Валя просто кивнула и подмигнула, по-товарищески.

Ничего тут нет и не может быть, одергивал себя Рэм. Во-первых, я для нее щенок. Во-вторых, вокруг столько орлов. А в-третьих, она вообще не по этой части.

Когда «старики» рассказывали про легендарную командиршу, конечно, обсуждали и ее женскую жизнь.

Но никто, даже Хамидулин, который в полку с сорок третьего года, ни про какие Валины романы ничего не слышал. Все сходились на том, что если в ней чего женское и было, то давно высохло.

И все же что-то между нею и Рэмом пробегало. Или мерещилось? Вечно я что-нибудь выдумаю, ругал себя он.

Загадка разъяснилась на второй неделе учений, когда взвод уже добрался до середины «семилетки».

Отрабатывали действия в составе штурмовой группы. Это три пушки ОБ-25, одно саперное отделение, одно пулеметное и пехота, штурмующие отдельно стоящее здание. Артиллерия подавляет огневые точки, саперы под прикрытием пулеметно-автоматного огня разминируют подходы, потом в окна летят гранаты и бутылки с зажигательной смесью и лишь после этого пехота атакует. При слаженной работе потери личного состава минимальные.

В тот день отрабатывали гранатометание. Сначала болванками, потом боевыми Ф-1. К концу дня у всех стало получаться неплохо — кроме Павлюченка.

Вестовой у Рэма, с одной стороны, был образцовый. Ходил по пятам, как собачонка. Котелок с кухни приносил, бережно завернутый в ушанку, чтобы каша не остыла. В стойле поддерживал идеальный порядок, сапоги у Рэма всегда сверкали, на кителе каждый день свежий воротничок — немислимое для фронта щегольство. С парнишкой Рэм обращался терпеливо, даже ласково. Думал не без удовлетворения: на свете есть люди, которым хочется слабых давить, и есть люди, кому хочется их защищать, — так я из вторых.

Но солдат из Павлюченка был никакой. На стрельбах он падал, не открывая глаз, и, кажется, боялся собственного автомата. Отправлять вестового с поручениями к отделенным было бесполезно. Всё перепутает, а станешь ругать — слезы в глазах.

Рэм это терпел, пока чертов недоделок не осрамил его перед Валентиной. Пришла она вечером проверять, как бойцы из позиции лежа бросают учебную гранату в окно дома. Павлюченок свою даже до другой стороны переулка не докинул. Валя отвела Рэма в сторону, и тихо, с укоризной: я, мол, твой взвод другим в пример ставлю,

а у тебя сегодня хуже всех. В бою настоящей гранатой этот твой орел своих угробит.

Ну Рэм и сорвался. Наорал на Павлюченка:

— Мне не денщик нужен! Сапоги я сам чистить умею! Мне нужен боевой товарищ, который в случае чего меня со спины прикроет, а ты нас обоих подорвешь к чертовой бабушке!

Потащил трясущегося парнишку за локоть, вывел на пустырь. Поставил сумку с боевыми гранатами. Разжал усики на одной, сунул в руку.

— Кидай насколько можешь. Паршиво бросишь — нам обоим кирдык.

Павлюченок с ужасом посмотрел на лимонку, взмахнул, как курица лапой, и отшвырнул метров на пять. Рэм еле успел схватить придурка за ворот и вместе с ним нырнуть в кювет. Иначе было бы два труп.

Встал — руки дрожат, зуб на зуб не попадает. Злоба осталась только на себя.

Пробурчал, не глядя на Павлюченка:

— Эх ты, вояка... Иди, сдай гранаты отделенному.

Тот:

— Разрешите, я еще спробую.

И слезы в глазах.

— Спробовал уже. Сказано: отнеси сумку ефрейтору.

Рэм ушел, не оборачиваясь. Клял себя: нашел метод обучения, педагог хренов!

Через четверть часа, когда учились на ходу спрыгивать с танка, где-то недалеко жажнул взрыв. Рэм не придал значения — учения шли по всему кварталу. А потом прибежали, говорят: «Товарищ командир, Павлюченок подорвался. Выдернул чеку, а гранату, идиот, себе под ноги уронил».

Решил, значит, все-таки «еще спробовать»...

Отправился Рэм докладывать о ЧП. Шел, яростно шмыгал носом, люто себя ненавидел. Еще воевать не начал, а уже три жизни на совести. Немецкая девчонка, бесшабашный разведчик и затюканный мальчишка.

Что-то примерно такое он Валентине, запинаясь, и проговорил. Совсем, в общем, лицо потерял.

Она расстроилась, но не так чтобы ужасно. Говорит:

— Шестой случай за неделю в полку. Да, жалко мальчишку. Всех жалко, но больше всего таких...

Рэм ждал, она скажет «молоденьких», но она сказала «кто зазря гибнет, ни за что».

Отвела на КП, дала бланк похоронки.

— Заполни. Комбат потом подпишет, печать поставит. А еще письмо напиши. Посмотри по документам, кто там у него есть. Само собой, без подробностей. «Смертью храбрых в боях за Родину», и всё...

Потом вдруг говорит:

— Вон оно что! Я к тебе приглядываюсь, приглядываюсь, кого-то ты мне напоминаешь... А сейчас, когда ты такой кислый, сообразила. Ты на моего Леньку похож. Лицом — нет, поэтому я никак и не могла понять. Но опустил голову, вздохнул — вылитый. Один в один... Ну и вообще, ты какой-то... — Она не сразу подобрала слова. — ...Какой-то из той жизни.

— Кто это Ленька?

— Парень мой. Довоенный. Ну как — парень? — Валя грустно усмехнулась. — Целовались только. Нам сколько лет-то было... Погиб он под Москвой.

Так загадка ее странных взглядов и разъяснилась.

— Поэтому ты все эти годы ни с кем... — он тоже запнулся.

— Не крутила любовь? Нет, это не из-за Леньки. Я его, честно говоря, давно уже не вспоминала. Ведь столько всего было. А Ленька... Будто не про меня это, про какую-то другую Валю Птушко. Я и ее-то плохо помню. — Она снова усмехнулась, но теперь безо всякой печали. — Я больше не девушка. Я солдат. И вы мне все как братишки. Знаешь, я осенью попала в большой госпиталь, в женскую палату. Смотрю на своих соседок, слушаю, думаю: елки, чего я тут делаю? Ни разговор поддержать, ничего. Половины просто не понимаю. Порченная я, Клобуков, — заключила Валя. — Не знаю, может, закончится война и что-то вернется. Но вряд ли.

И после этого разговора Рэму с ней стало проще. Валя Птушко — солдат. А девушка — это совсем другое, это лицо с фотокарточки, которую он теперь часто разглядывал, если никого не было рядом. Шептал: «Татьяна. Ленская. Ленская. Татьяна... А мы с тобой вдвоем предполагаем жить...» Будто музыка из иного мира.

Похоронку на Павлюченка он в тот вечер так и не заполнил. Потому что сначала решил составить письмо матери Янине Ивановне, в Гомельскую область — и не смог. Отложил на потом.

Что ж я после боя буду делать, с тоской думал Рэм. У Сонькина из третьего отделения пятеро детей. И что писать? «Ваш муж и отец...» А Гуревич, который все время «моя мама то, моя мама сё», над ним бойцы смеются. Господи, а зануда Штыркин! Без конца ноет, что ему умирать никак нельзя, потому что у него жена совсем дура безмозглая и без него пропадет...

И ведь наверно много кого убьет. С таким-то командиром. Господи, хоть бы учения продолжались подольше! И мысленно поправил сам себя: не чтобы другие гибли вместо нас, а чтобы мы воевали лучше. Даже почти поверил, что подумалось искренне.

Может, Бог и услышал моление — взвод благополучно завершил курс «семилетки» и приступил к освоению более сложных дисциплин.

Учились атаковать с дымовой завесой, когда ничего не видно и ориентация только по свисткам командира.

Учились под прикрытием огня прорываться с этажа на этаж.

Или вот преотличная штука: самодельный огнемет, изобретение какого-то фронтового Кулибина. В ствол противотанкового ружья вставляешь горлышком бутылку с зажигательной смесью и пуляешь холостым. В каждом отделении нашелся хороший стрелок, способный с полутораста, а то и двухсот метров попасть в окно.

Понемногу становимся похожи на армию, довольно говорил Санин.

Но в «старших классах» учебная рота провела всего два дня. 15 апреля утром офицеров батальона срочно вызвали на КП.

Новостей было две. Обе сообщила Валентина.

Сначала, что командование временно принимает она, потому что у капитана Репина прободение язвы, его срочно увезли в госпиталь. И сразу после этого, когда все еще не наахались, сказала:

— Сегодня ждем приказ о наступлении. Я вечером со связистами отправляюсь на передовую, на наш боевой участок — подготовить КП. Изучу фронт атаки и прикину, как расположить подразделения. Учеба наша закончена. Будем доучиваться в бою.

Стало тихо.

С командирами пяти недоучившихся взводов Валя попрощалась за руку, каждому что-то сказала. Рэму — последнему, когда другие уже ушли.

— Слушай, я всё хотела спросить. Ты какого года рождения?

— Двадцать седьмого. Января месяца, — добавил он. Она расстроилась.

— Да-а? Я-то двадцать третьего...

Он тоже удивился. Не старше?

Валентина посмотрела на него снизу вверх, и Рэм впервые сообразил, что она совсем невысокая.

— Я почему-то часто про тебя думаю. — Она выглядела озадаченной. — Из-за Ленки, наверно. Начинаю думать про него, вспоминать. А потом вижу тебя. Такая штука... Не знаю, что с этим делать. Ладно. Потом разберемся. После наступления. Ты, главное, живой останься.

— Ты тоже, — пробормотал он, совершенно растерявшись и, пожалуй, испугавшись.

Валя рассмеялась:

— Мне что сделается? У меня глаза на затылке.

И очень серьезно стала объяснять:

— Ты вот что уясни. Чтобы в бою выжить, самое главное — обзор. Чем он у тебя шире, тем больше шансов. Кто неопытный, да еще на нерве, видит перед собой пространство вот такусеньким сектором. Почти как слепой. А я вижу на все 360 градусов. Потому и жива. Верти башкой во все стороны. Постоянно. И еще важное. — Она положила ему руку на погон, слегка притянула. — Запомни, когда в бой пойдешь. Психовать ни в коем случае нельзя — наделаешь глупостей. Но еще хуже спокойствие, замороженность. Это часто накатывает, такая нервная реакция. Встрякивайся. Не теряешь контроля, но внутренне — как струна. Помни про это, и все будет нормально. Лады?

— Лады.

Она пожала ему руку.

— Давай. До завтра.

К себе в конюшню Рэм возвращался в совершенном разброде чувств. И думал не о бое — завтрашнем или самом позднее послезавтрашнем, а о невозможной ситуации с Вале́й.

Такая по-девичьи робеть не станет. Решит для себя — и вперед. Но это... Это совсем невозможно. Сама же говорила: я не девушка, я солдат, вы для меня как братишки. Не будешь же с братишкой...

Но ведь явно судьба! Сплошные совпадения. Во-первых, она из Москвы. Во-вторых, знала отца. В-третьих, он напомнил ей парня, которого она любила. И в бой им идти вместе. Всё один к одному. Оттолкнуть ее? Немыслимо. Что же делать?

В разгар всех этих душевных метаний вдруг раздался голос, поразивший Рэма своим спокойствием. Голос сказал: «Если вы оба доживете до такого разговора, это уже счастье. А там как получится. Она с тобой проста, и ты будь прост. Скажешь, как есть — поймет. Рыдать не станет».

И Рэм переключился мыслями на важное: как подготовиться к передислокации, чтоб ничего не забыть и не упустить.

Ночью ему приснилась Валя. Вместо лица — некое мерцающее сияние, но гимнастерка с планками и нашивками ее, и голос тоже. Голос протяжно произнес-пропел: «А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь — как раз помрем...» Потом сквозь радужное облако проступили черты, и это оказалась не Валя, а лицо с фотокарточки. Рэм облегченно рассмеялся, подался вперед, коснулся облака губами, и оно рассыпалось искрами. Это был очень хороший сон.

Разбудил Рэма связной из батальона. Сказал, что пришел приказ о наступлении. И что убили старшего лейтенанта Птушко.

Без шинели и шапки, с портупеей в руке Рэм побежал на КП. Там было много народу. Все говорили: «Как убили? Точно убили? Может, ранена?» Подходили новые.

Сержант-связной, вернувшийся с передовой, всем повторял одно и то же:

— ...Ей ротный говорит: «Не высовывайся, у них снайпер». Она говорит: «Жену свою поучи». Главное, отошла уже от окна — и прямо в затылок. На месте. Вот тут пуля вышла, между глазами.

Адъютант Секацкий без остановки свирепо ругался, вытирал кулаком слезы, а они выступали снова. У Рэма тоже всё заволокло пленкой. Вокруг крихтели, сопели, всхлипывали.

— Ладно! — заорал Секацкий после особенно длинной матерной тирады. — Кончай панихиду! Кончится бой — проводим всех заодно... Товарищи офицеры, получено боевое задание. — Хлюпнул носом. Разозлился. — Тихо, вашу мать! Зачитываю боевое предписание. Задача батальона — занять квартал 97 с последующим выходом к железнодорожным путям и автомагистрали Франк-фуртерштрассе, ведущей к центру Бреслау. Фронт атаки батальона по Баренштрассе. Протяженность 250 метров. Это три жилых дома на противоположной стороне улицы. Каждой роте по одному дому.

— Три дома? Только-то? — спросил один из ротных.

— «Только-то»... Там плотность обороны — хуже, чем была на кирпичном заводе, в феврале. Часть, которую мы сменяем, неделю на этой поганой Баренштрассе проторчала. И никак. Поэтому тактика меняется. — Адъютант перевернул машинописную страницу. — ...Ага. В общем, так. Наша задача — вызвать огонь противника на себя, отвлечь внимание от десантно-штурмовой группы. Она прорывается через перекресток, в тыл к немцам. Оттягивает часть сил на себя, и тогда уже наш черед атаковать. Ясно? Сегодня днем готовимся. Получаем сухой паек на три дня, боеприпасы, прочее. Вечером выдвигаемся. Утром — в бой.

— А в десантно-штурмовой группе кто? — настороженно спросил комроты-один.

— Не мы, не переживай. Она приданная, — мрачно улыбнулся Секацкий. У него даже усики сейчас были не лихие, а обвисшие. — Три танка и сводный взвод штрафников. Им, кто уцелеет, обещана реабилитация. Они придут прямо на позиции. Вечером. Всё, выполняйте!

Про смертников из десантно-штурмовой говорили и днем, и во время переброски, и потом, когда подразделения заняли свои места, а офицеров вызвали на новый КП, расположенный в двухстах метрах от передовой. Знание того, что твое положение еще не самое опасное, на людей действует успокоительно, предположил Рэм. На него — нет, не действовало. Завтра меня или убьют, или как-нибудь ужасно ранят, все время думал он, гнал от себя эту мысль, а она возвращалась, будто настырный ночной комар.

Надо смотреть на это иначе. Завтра — экзамен, к которому ты готовился всю жизнь. И то, сдашь ли ты его, напрямую не связано с тем, уцелеешь ты или нет. Но представил себя в гробу, под нарядной табличкой «Он сдал экзамен на отлично!» — и нервно хихикнул.

— Ты чего? — шепнул Петька. — Он про товарища Сталина, а ты...

Замполит как раз заканчивал речь про последний рывок и про то, как Верховный прислал личную телеграмму командарму.

Снаружи зарычали мощные двигатели, загрохотали гусеницы.

— Десант прибыл, — сказал Секацкий. — Даже на десять минут раньше. Сейчас двадцать два пятьдесят. Пойдем, встретим?

Все вышли на освещенный луной пустырь, по которому, круша кучи колотого кирпича, медленно ползли три «тридцатьчетверки». Рэму показалось, что танки нагружены какими-то тюками, но машины подъехали ближе, и стало видно, что броню плотно облепили люди.

Один спрыгнул, пошел к встречающим. Голова у него сверху была плоская, и Рэм не сразу сообразил: человек в кубанке.

— Батальон Птушко? — крикнул он издали. — Где командир?

— Батальон Птушко, — ответил Секацкий и повторил: — Батальон Птушко. Я командир.

— Ага, тогда мы, кря, хорошо заехали, — довольно откликнулся человек в кубанке знакомым голосом. — Десантно-штурмовая группа прибыла в ваше распоряжение. Командир младший лейтенант Уткин.

Рэм помертвел.

А воскресший покойник был уже в пяти шагах. Махнул своим, чтоб разгрузались. Козырнул Секацкому. Рэм стоял прямо за плечом у комбата. Хотел отпрыгнуть в тень, но заставил себя оставаться на месте, а то что потом, так и прятаться?

— С задачей ознакомлены? — спросил Секацкий, пожимая Жорке руку.

— Так точно. Вроде ясно, но надо полазить, присмотреться. Ночь светлая, времени до рассвета много. Ребят только пристройте куда-нибудь, пусть отдохнут.

— Само собой. Старшина покажет, где поставить машины и где...

Глаза Уткина остановились на Рэме, и лицо будто перекосила судорога.

— Вы знакомы, что ли? — удивился комбат, оборачиваясь.

— Разрешите обратиться к младшему лейтенанту? — спросил Уткин и заулыбался Рэму ненавидящей улыбкой. — Здорово, сволочь. Не ждал меня на этом свете увидеть? Вышак ты мне красиво нарисовал, только исполнение отсрочили. Согласно примечанию два к двадцать восьмой статье УК РСФСР. Кровью смою. Не впервой.

— Да чё у вас такое? — забеспокоился Секацкий. — Какой вышак?

— Он знает чего, гнида, — всё улыбался Жорка.

Вот ведь странно. Рэму бы сейчас испугаться, а он испытывал невероятное, огромное облегчение. Будто танк с души съехал.

И ответил он Уткину легко, громко:

— Сам ты сволочь и гнида. Правильно с тебя звездочки сняли. Но я рад, что ты живой.

И Жорка словно потух. Улыбка исчезла, и глаза уже не горели бешенством.

— До завтра живой, а там видно будет, — пробурчал. — Ты мне только потом на глаза не попадайся. Не доводи до греха.

И отвернулся, утратив к Рэму интерес.

— Эй, жестянки! Пыли, куда старшина покажет!

БИСЕРНЫМ ПОЧЕРКОМ

6 ноября 1941

Почти полночь. Я очень взволнован. Сегодня был большой день: мы проводили аттестацию по итогам этого семестра. Кроме того, было несколько разговоров, содержание которых я должен записать.

Наши с Большого Совета, в котором по традиции участвуют все девять сотрудников. Собрались мы в половине девятого после того как уложили детей. Они теперь имеют дисциплины сами, Зоя и Лили перестали читать им сказки на ночь.

Я еще раз, уже официально, объявил о распределении обязанностей на Третий семестр и в том, что завтра придут рабочие, которые поставят в аудитории перегородки. Будет четыре отсека, по одному для каждого преподавателя. Середина останется общим пространством.

Мейер будет работать с "заповестниками" Марком и Дикой.

Дора с "сердечниками": Гавкой, Толковым и Рубой.

Алекс переходит от Доры к Тирну, поскольку мы пришли к выводу, что он все таки "М", а не "С".

Лили и Тирн перейдут к Юно, поскольку все же есть вероятность, что он

"С". Лили сложнее всего. Она по-прежнему остается "неопределеннейшей". С ней работают все, поочередно. Продолжаем разбираться в этой сложнейшей ситуации.

Проблема в том, что Гольдберг опять полагается недозагружен. Кроме "половинки" Юли он ведет художественный кружок, раз в неделю занимается с каждым ребенком индивидуально, но этого конечно, недостаточно. Из-за этого Лили хандрит и капризничает. Если бы не Дора, с ним было бы совсем трудно.

Ах да, я все же написал про перемены в отношениях внутри коллектива, а эта "предисказание"

6 ноября 1941

Почти полночь. Я очень взволнован. Сегодня был большой день: мы проводили аттестацию по итогам Второго семестра. Кроме того, было несколько разговоров, содержание которых я должен записать.

Начну с Большого Совета, в котором по традиции участвуют все девять сотрудников. Собрались мы в половине десятого, после того как уложили детей. Они теперь умеют засыпать сами, Зося и Хаим перестали читать им сказки на ночь.

Я еще раз, уже официально, объявил о распределении обязанностей на Третий семестр и о том, что завтра придут рабочие, которые поставят в аудитории перегородки. Будет четыре отсека, по одному для каждого преподавателя. Середина останется общим пространством.

Мейер будет работать с «головастиками»: Марекон и Диной.

Дора с «сердечниками»: Ривкой, Болеком и Рутей.

Яцек переходит от Доры к Гиршу, поскольку мы пришли к выводу, что он все-таки «Т», а не «С».

Хаим и Гирш поделают Изю, поскольку всё же есть вероятность, что он «К».

С Хасей сложнее всего. Она по-прежнему остается «неопределившейся». С ней работают все, поочередно. Продолжаем разбираться в этом сложном случае.

Проблема в том, что Гольдберг опять получается недогружен. Кроме «половинки» Иззи он ведет художественный кружок, раз в неделю занимаясь с каждым ребенком индивидуально, но этого, конечно, недостаточно. Из-за этого Хаим хандрит и капризничает. Если бы не Дора, с ним было бы совсем трудно.

Ах да, я же не написал про перемену в отношениях внутри коллектива, а эта «передислокация» сказывается

на ходе наших консилиумов. Господи, как же они утомительны со своими глупостями! Почему им недостаточно заниматься поиском сокровищ? Разве может быть что-то более захватывающее?

Великую новость я узнал недели три назад, следующим образом. Ко мне в кабинет явился Хаим и закатил скандал. Он откуда-то узнал, что получает жалование втрое меньше Брикмана.

Я объяснил, что плачу каждому по потребностям. У Хаима они минимальные, только покупать папиросы, да изредка обновлять гардероб, на это вполне достаточно 2000 злотых. Мейер же должен содержать в городе жену, которая привыкла к определенному уровню жизни. Я не стал говорить, что Дора и Гирш получают по пять тысяч, поскольку для них важно хорошо одеваться, а наша актриса еще и не может жить без французской косметики.

И тут Хаим с торжествующим видом говорит: «Теперь мои потребности возрастут. У нас с Дорой любовь. Я хочу дарить ей дорогие подарки!» И я понял, откуда дует ветер и кто наболтал ему про высокое жалование Мейера.

С тех пор на консилиумах два эти голубка, Хаим с Дорой, обычно выступают единым фронтом, что иногда сильно раздражает.

Возвращаюсь к существенному.

Мы согласовали аттестацию каждого ребенка. Подробности — в кондуите, здесь я запишу лишь самое основное. Кстати говоря, впервые дети фигурируют в кондуите с фамилиями. Это идея Доры: использовать название драгоценных камней. В аллегорическом смысле получится, что мы подвергаем природные самоцветы огранке, дабы они засверкали волшебным блеском. Мейер сказал, что это пошлость, но мне идея понравилась, я поставил ее на голосование, и Брикман остался в одиночестве. Болек Эльсберг, раз уж он помнит свою настоящую фамилию, ее сохранил и закатил по этому поводу жуткий рев. Тоже хочет быть драгоценным камнем. Проблема в том, что таковых уже не осталось, все распределены. Может быть, сделать его «Золотым»? Нет, это денежная единица. Ладно, что-нибудь придумаем.

Итак, коротко.

Боек Эльсберг: «С» (все-таки не «Г»). С явной предрасположенностью к С-I («позитив») и почти наверняка к С-IA («генератор»), хотя посмотрим. Добрый, отзывчивый, несколько занудный в своей тяге учить других уму-разуму.

Ривка Диамант: тоже «С» и несомненно «позитив». Но безо всяких лидерских признаков. Не ведущая, а ведомая. Послушная девочка, все делает по правилам. С ней легко.

Рута Шмарагд: наша третья «Сердечница», но явно тяготеет к С-II («негатив»). С этой придется повозиться. Рано почувствовала свою силу, заключающуюся во внешней привлекательности, и уже сейчас, на седьмом году жизни, пробует коготки.

Дина Аметист: «Г», без вариантов. Маленькая резонерша и перфекционистка, все пытается рационализировать. Посмотрим, есть ли здесь потенциал изобретательства. Пока непохоже.

Марек Шафир: «Г». Маленький казуист и демагог — хорошие задатки для развития Логоса. Узнав, что он теперь сапфир, прочел остальным детям целую лекцию о том, насколько этот камень ценнее всех прочих. Было много рёва.

Изя Рубин: «Т» (что вероятнее) или «К» (на что надеется Хаим). Любит делать руками что-нибудь с его точки зрения красивое и при этом нефункциональное. Пока стремления создать нечто самобытное не проявляет, но будем наблюдать.

Яцек Топаз: «Т» или «С». Чего в этом мальчишке больше — телесной ловкости или азарта непоседливости? Покажет только время. Мнения шацзухеров разделились два против двух. Я от оценки воздержался.

Яцека мы обсуждали довольно долго — вот в какой связи.

Я стал говорить, что этот непростой ребенок выполняет в нашем трезориуме исключительно важную функцию. У нас есть одна серьезная проблема: узость круга людей, с которыми общаются воспитанники. Эта стабильность

и предсказуемость прекрасна в пятилетнем возрасте, но в шесть лет маленький человек уже освоился в своем хабитате и готов к испытанию новыми отношениями. А мир трезориума не расширяется, мы превращаемся в семью, и это плохо. Ведь человеку предстоит жить не среди братьев и сестер, но среди чужих, незнакомых, а стало быть непредсказуемых людей.

Здесь Гольдберг прервал меня самым бестактным манером.

— Вы действительно считаете, что им предстоит жить? — спросил он, глядя на меня со странным выражением лица. — Напомню, пан Директор, если вы забыли. Мы находимся в Гетто. Отсюда одна дорога...

Сдерживаясь, я ответил:

— Во-первых, я считаю, что меня не следует сбивать с мысли. Во-вторых, разве не все люди живут на этом свете, как в огромном Гетто, твердо зная, что каждого однажды депортируют на тот свет — одних раньше, других позже? Что же — существовать одним ожиданием неизбежного? Нечего ложиться в гроб раньше смерти.

А потом, к сожалению, все-таки не совладал с собой, сорвался:

— Мы, кажется, раз и навсегда договорились не вести подобных разговоров! Наш закон «Делай что должно, и будь что будет!».

Не мог же я рассказать то, о чем моим сотрудникам пока знать не следует.

Хаим смутился, попросил извинения, и я продолжил:

— Так вот. Яцек исполняет в нашем коллективе роль непредсказуемого фактора. Никогда не знаешь, что сорванец выкинет. Он будоражит детей, не дает им впасть в комфортную, блаженную рутину. И в этом качестве он для нас бесценен.

Тут встряла Дора, которая раздражает меня своими женскими играми. Они для нее дороже истины.

— Значит, Хаим прав, когда говорит, что Яцек — «креативник», — объявила она, погладив своего нового избранника по руке.

Немедленно вскинулся прежний любовник Гирш:

— Это никакой не креатив! Яцек — природный предатель, ключ в этом! Ему необходимо поражать окружающих, то есть нарушать, *предавать* их ожидания.

— Вы так говорите это, будто быть по природе предателем плохо, — укорил его я.

— А разве нет?

— В зависимости от ситуации. Как всё на свете. Например, для шестилетних детей полезно знать, что в мире есть и предательство.

Лейбовский имел в виду недавний эпизод. Яцек подружился с доверчивым Изеком и стал с ним играть в «слепого»: завязал глаза, велел черпать ложкой кашу из тарелки и в результате накормил жирной мухой. Бедного Изю вырвало. Но был и другой случай, когда наш цыганенок проявил себя настоящим героем. Дети гуляли во дворике, и там откуда-то появилась крыса, которая начала метаться между стен. Аниматорша в панике бросила малышкой, взбежала на крылечко. Девочки от ужаса завизжали. А Яцек попытался набросить на крысу свою куртку, был укушен, и потом, когда ему делали болезненные уколы, только скалил зубы. Позёр, конечно, но ведь храбрец.

— А по-моему он маленький поганец, Яцек этот, — сказала пани Фира, наша повариха, которая на консилиумах никогда не раскрывает рта.

Причина ее внезапной активности мне понятна. Расставшись с Дорой, Гирш Лейбовский вскоре нашел пристанище в комнате Фиры — и не прогадал. Во всяком случае физиономия у него округлилась и лоснит-ся. Должно быть, возлюбленная кормит его чем-нибудь особенным.

Я плохо понимаю взрослых людей. Вернее, мне бывает трудно уразуметь мотивы их, на мой взгляд, очень странных поступков.

Ладно пани Фира, но Мейер Брикман, человек логики и незаурядного ума. Недавно я принес ему новый месячный пропуск на выход в город, а Брикман отказался. Спасибо, говорит, больше не нужно. А весь год каждый субботний вечер бегал ночевать к жене.

— Что случилось? — поразился я. — Неужели Грета вас бросила?

(Да, знаю, мне иногда отказывает деликатность.)

— Нет, — сухо ответил он. — Но я решил, что хватит отрезать хвост по частям. Ей нужно научиться жить без меня. Мы ведь отсюда никогда не выйдем.

Отвернулся и ушел, прямой, как палка. Мне очень хотелось его окликнуть и сказать, что он ошибается, но, как и сегодня во время разговора с Хаимом, я промолчал.

Отдельно напишу о Хасе Гранат, которую мы обсуждали еще дольше, чем Яцека.

С этой девочкой по-прежнему нет ясности. Она словно проскальзывает через ячейки сети, в которую мы ловим наших воспитанников.

Среди детей она на положении парии. Они с ней не играют и почти не разговаривают, но Хасю, кажется, это нисколько не заботит. Она играет сама с собой в какие-то странные игры: нарезала белых кружочков и раскладывает их по белому же листу бумаги. Спросишь, что это — не отвечает, а только застенчиво улыбается. Светило детской психиатрии профессор Розенблатт, которого привел Гарбер, уверенно сказал, что никаких отклонений у Хаси нет. Все реакции нормальные, а некоторые даже сильно опережают возраст.

Я стал перечитывать Хасин «Дневник наблюдений» (как я уже писал, таковой у нас есть для каждого ребенка). С самого начала, тест за тестом. Их накопились уже сотни.

Первый раз войдя в класс, где она еще никого не знала, Хася сразу направилась в угол и повернулась ко всем спиной. Робости при этом не проявляла.

На тесте, когда ребенка приводят первым, а потом запускают остальных, не обрадовалась, но и не расстроилась. Просто зевнула.

Противоположный тест: ее запустили последней, когда все уже в сборе и чем-то занимаются. Ни к кому не присоединилась, сразу пошла к подоконнику.

И так далее, и так далее, сеанс за сеансом.

Спрос на Хасю был только, когда дети играли в больницу. Она была идеальным пациентом. Никто, кроме нее, не мог так долго без движения лежать на месте.

Сегодня Мейер предположил:

— А что если эта личность настолько ослаблена, что ее почти нет? Это не ребенок, а какая-то вода. Утекает туда, где ниже уровень, и застывает лужицей. Душевная анемия?

— Нет, там что-то есть. Что-то совершенно особенное, — сказал я. — Вы обратили внимание, что ее любимый кактус, который она все время гладит, вырос крупнее остальных? А про таракана помните?

— Какого таракана? — спросила пани Малка, которая не читает кондуит.

— На подоконнике был таракан, и Хася делала над ним какие-то пассы руками. Поведет ладошкой вправо — насекомое движется вправо. Поведет влево — влево.

— Может быть, совпадение?

— Может быть. Но такое ощущение, что она чувствует живые существа каким-то особенным образом. И умеет, как бы выразиться, налаживать с ними контакт.

Должно быть, у меня был сконфуженный вид, когда я это проговорил.

— Да она ваша любимица! — выпалила вдруг смиренная Зося. — Меня ругаете, что я равнодушна к Руте, а сами всё с вашей Хасей носитесь!

Я был возмущен.

— Ничего подобного! Просто так называемые «тусклые дети», свет которых трудно уловим, всегда таят в себе сюрпризы. Чем глубже залегает нефть, тем сильнее ударит фонтан, если до него добуриться. Уверяю вас, я не испытываю к Хасе никаких чувств, кроме профессионального интереса.

— А я пану Директору верю, — присоединилась к бунту пани Марго. Хотя она говорила про меня, но смотрела на других. — Он понятия не имеет, что такое любовь. Да и откуда ему? Жены у него никогда не было, деток тоже.

Я знаю, за что она на меня взъелась. В прошлом месяце попросила отпустить ее в церковь, поставить свечку в двухлетнюю годовщину гибели ее детей (пани Марго христианка), а я отказал. Потому что для этого

надо ехать через весь город, и в церкви может произойти инцидент. Женщину с еврейской повязкой и явной семитской внешностью какие-нибудь дегенераты могут сдать в полицию. Евреям запрещено осквернять своим присутствием христианские храмы.

Я жалею пани Марго, поэтому ответил терпеливо:

— Педагогу вредно любить детей. Это мешает, сбивает с прицела. Да, я не испытываю к воспитанникам любви в вашем понимании — когда выделяешь какое-то дорогое существо и оно заслоняет тебе всех остальных. Мне наши дети дороги в равной степени. Я люблю их всех одинаково, а это все равно что никого не любить. И правильно. Шацзухеру необходима холодная ясность ума, неподверженность эмоциям. Любить надо не объект исследования, а дело, которым ты занимаешься и которому посвятил свою жизнь.

И здесь Хаим задал вопрос, в ответ на который мне пришлось произнести целую лекцию, содержание которой я сейчас коротко перескажу, потому что это был экспромт, а тема важная и требующая дальнейшего осмысления.

Он спросил:

— Можно ли воспитать нравственного человека без любви? Разве не любовь — основа морали? Помните, что писал Лев Толстой о педагогике: «Главная и единственная забота людей, занятых вопросами образования, прежде всего в том, чтобы выработать соответственное нашему времени нравственное учение, построенное на любви и доброте, и поставить его во главе образования». (Не поручусь за точность приведенной цитаты, но смысла ее таков.)

Глубокое заблуждение, ответил я. Нравственность нельзя преподавать. Многие века учителя и священнослужители пытались это делать. Не работает! Нравственности нельзя научить по учебнику, по Библии или по Талмуду. Человек должен прийти к этой сумме убеждений сам, иначе она останется для него абстракцией. Главная задача воспитания заключается совершенно в другом: научить ребенка *быть взрослым*. Это и есть суть нравственности.

Люди умиляются на детей: какие они трогательные, забавные, неловкие, наивные. Эта снисходительность на подсознательном уровне объясняется очень простой причиной: маленький человек слаб и не представляет опасности. Точно так же все умиляется на пушистого тигренка с его смешными зубками и коготками, но никто не умиляется на тигра. Как только ребенок дорастает до возраста, в котором он может представлять хоть минимальную опасность (например, пульнуть из рогатки), умиляться им сразу перестают. Меня еще на педагогическом факультете учили, что в детском саду к малышу нужно относиться, как к щенку. Он хорошенький, славненький, хочется его гладить и баловать, но делать этого ни в коем случае нельзя — нужно его дрессировать, иначе получишь глупую и кусачую собаку.

Педагог должен относиться к ребенку как к заготовке будущей личности, как к *недочеловеку*.

Ведь что такое природная нравственность ребенка, с которой он является на свет? Если оценивать ее по нормальным социальным меркам, маленький человек — настоящий монстр. Он предельно и бесстыдно эгоистичен, глуп, неряшлив, лишен всякой эмпатии и так далее и так далее. Представьте себе на минуту тридцатилетнего или сорокалетнего человека, который из любопытства отрывает крылья у стрекозы, или требует немедленно дать ему всё, что он захочет, или лупит кого-то лопатой в песочнице.

Я полностью разделяю точку зрения, впервые сформулированную еще в античности: Зло — это детскость, а Добро — взрослость. Детскость — это заикленность только на своих желаниях и потребностях, вечное «дай», полная асоциальность и абсолютная безответственность, то есть точный портрет архетипического злодея. В то же время настоящая взрослость — это добровольное самоограничение и ответственность, жертвенность и альтруизм, терпимость и способность к пониманию, умение прогнозировать последствия своих поступков.

Правильное воспитание — это когда изначальное нравственное чудовище постепенно делается лучше. То есть *взрослеет*.

Человек рождается на свет маленьким чудовищем. Преодоление природной инфантильности — вот задача педагога.

И то же самое, разумеется, относится к человечеству в целом. Сейчас, в двадцатом веке, оно ведет себя как глупый и жестокий ребенок. И пока у общества не появятся мудрые, знающие свое дело воспитатели, наш биологический вид не научится вести себя прилично. Откуда они возьмутся, такие воспитатели? Да из трезорнумов, где правильно возвращают маленьких людей. Ведь человек, который нашел свое призвание в жизни, обретает все основные черты нравственности. Он никому не завидует, ему нет нужды покушаться на чужое, он не томится бесцельностью бытия, он знает, что его ценят и уважают, а главное — он *занят делом*. И государственным управлением тоже будут заниматься те, у кого есть к этому талант, а не всякие горлодеры и проходимцы.

Здесь Мейер спросил меня вот о чем:

— А нет ли опасности, что ребенок, в котором мы так форсированно пестуем его неповторимость, вырастет крайним эгоцентристом, свято верующим в свою исключительность? Не придем ли мы в результате к обществу, состоящему из асоциальных индивидов?

— Нет, — ответил я. — Потому что в социуме, состоящем из исключительных личностей, все нуждаются друг в друге. Там нет никчемных людей, партий. Социальность будущего — это не вожди и масса, не овчарки и овечьё стадо, не вампиры и жертвы, а конфедерация граждан. Они не будут равны друг другу по масштабу своей общественной полезности, поскольку дарования бывают разного калибра, но каждый будет занимать свое собственное, а не чужое место. Это как в Швейцарии. Там ведь есть большие кантоны, например, Цюрихский, и есть какой-нибудь Аппенцель, в сто раз меньший. Но права и самобытность у них равные. И если отнять у Швейцарии крошечный Аппенцель, страна обеднеет.

Я не уверен, что говорил про это с достаточной степенью убедительности, а тема важная. Буду искать новые аргументы, поскольку эта дискуссия наверняка продолжится.

чилось вчера вечером. На консилиуме опять обсуждали Хасю Гранат: что ее любимый кактус вдруг покрылся красивыми цветками и как это подействовало на девочку.

Брикман пошел вниз, за кактусом, чтобы мы лучше рассмотрели это ботаническое чудо. Увидел, что горшка на подоконнике нет. Подумал, что Хася взяла его с собой в спальню. Поднялся проверить. Увидел, что кровать пуста. В уборной тоже никого. Встревоженный, вернулся к нам. Мы обошли весь дом сверху донизу.

Посоветовавшись, решились на крайнюю меру — разбудили детей. Будто это опять такая ночная игра. (Я описывал тест, когда ребенка будят среди ночи для проверки реакции и поведения в нестандартной ситуации.)

Дина Аметист, единственная, с кем Хася более или менее общается, вспомнила, как та вчера сказала: «Когда Доротка проснется, поведу ее гулять».

Хасино пальто на вешалке не оказалось.

Мы бросились вниз и обнаружили, что засов двери, которая ведет на улицу, открыт. С тех пор, как Яцек убегал и его потом разыскивали люди Гарбера, мы нарочно сделали засов очень тугим, шестилетнему ребенку не сдвинуть, но на полу лежала кочерга. Должно быть, Хася воспользовалась ею как рычагом. Кто мог ожидать от ребенка такой сообразительности?

Тут все запаниковали. Кто-то выскочил на улицу, принялся истошно кричать «Хася! Хася!». Дети перепугались, заплакали.

Я кинулся в кабинет, звонить Гарберу. Он сказал... Нет, сначала его не было на месте. Сходя с ума от тревоги, я названивал минут сорок, прежде чем он взял трубку. Только что вернулся откуда-то.

— Успокойтесь, — сказал Гарбер. — Сейчас отправлю ребят на поиски. Маленькая девочка с цветущим кактусом в руке? Пара пустяков. Не найдут в темноте — найдут утром. Раз она тепло одета, не замерзнет.

Я немного успокоился, но, конечно, не сомкнул глаз. Никто из взрослых не спал. Пришлось повозиться, чтобы снова уложить взбудораженных детей.

Так. Что было потом?

До утра я ждал у аппарата. Гарбер позвонил в начале десятого. По голосу я сразу понял: не нашли. Стрельнуло в сердце.

— Никто ее не видел? — спросил я.

— Видели. Ночью, около Десятого лаза.

Я переспросил. Он объяснил, что в Гетто есть несколько лазов, через которые переправляют товары и при необходимости людей. Десятый — возле Францисканской улицы, где на одном участке вместо каменной стены железная решетка. Один прут там сдвигается, и может пролезть ребенок. На Гарбера работает целая команда мальчишек, которые по ночам доставляют контрабанду. Один сказал, что ночью видел «малявку с цветочным горшком».

— Непонятно, откуда кроха узнала про лаз. Это секретное место, — сказал Гарбер.

Я объяснил, что Хася особенная, что она видит больше, чем обычные люди.

Он вздохнул.

— В общем, ушла ваша девочка на ту сторону. Там я ее уже не найду. Можно, конечно, потолковать с городской полицией, есть у меня один человек...

Я разъединился, не дослушав. Если вся надежда только на полицию, у меня имеется рычаг помощнее.

Позвонил доктору. Дома нет, по рабочему номеру тоже. Должно быть, едет на службу. Он поздно ложится и поздно встает. Живет по собственному графику.

Я вдруг сообразил, что по телефону подобных разговоров вести не следует.

И сорвался, поехал.

Сейчас я сижу в приемной, жду доктора. Чтобы не метаться, достал тетрадь и пишу. Про что бы еще написать?

Про дорогу сюда.

Конечно, тяжелое испытание — идти утром по улицам Гетто в холодное время года. Санитарная служба еще не

успела убрать всех бездомных, кто замерз насмерть. Ночью было минус два градуса. Одна картина так и стоит перед глазами. Сидящий покойник привалился спиной к стене. Вокруг стайка хохочущих мальчишек. Они пририсовали ему сажей усы и очки. Должно быть, такие же сорванцы работают на Гарбера. Бедные, потерянные сокровища...

Но примечательны не ужасы нашего проклятого города в городе, они-то как раз естественны. Поразительно другое: что люди умудряются обживать и обустраиваться даже в аду. На стенах афиши, приглашающие на концерты, на поэтические вечера, даже на детский спектакль. Я мимоходом подумал, не позвать ли актеров на гастроль в трезориум. Вряд ли это обойдется дороже 20 долларов.

Гетто разделено надвое Хлодной улицей, которая осталась «арийской». Евреи ходят через нее по специально сооруженному мостику — от одной стены к другой.

Сверху я посмотрел вниз, на обычную городскую улицу. Там машины, трамвай, пешеходы. Кое-кто из них тоже смотрел на нас, подняв головы. Мне вдруг вспомнился питерский зоопарк. Там был точно такой же мостик над вольерой с белыми медведями. Кто тут зрители, а кто звери — мы или поляки?

Все. В маленькой клетке евреи, в клетке побольше — поляки, которых заперли немцы, но и немцы тоже подопытные животные. Кто-то наблюдает за всем нашим матрешечным зверинцем. Бог, инопланетная цивилизация. Кто-то.

Я был готов думать о чем угодно, только бы на время отвлечься от страшных мыслей.

В очереди перед проходной я поймал себя на том, что мне приятно смотреть на грубые рожи полицаев, и не сразу понял почему.

А просто я очень давно не попадал за пределы Гетто и соскучился по нееврейским лицам. Белобрысый литовец, украинец с носом картошкой, свинорылый польский капрал — на этих вообще-то малосимпатичных лицах отдыхал взгляд. Надеюсь, это не проявление антисемитизма.

Про что еще написать?

Ах да. Разговоры в очереди. Как всегда в Гетто приглушенные, вполголоса.

Говорили о том, что немцы идут к Москве, Сталин бежал. Война скоро закончится.

А ведь на русских в Гетто очень надеялись. Когда в августе немецкое продвижение затормозилось, все ужасно воодушевились и сразу полюбили большевиков. Резко упали цены на черном рынке. Но с октября, когда наступление возобновилось, снова поползли вверх. Это ничего. Курс доллара растет еще быстрее, и я становлюсь только богаче.

Господи, где же он? Половина первого!

Напишу про доктора. Он и так занимает много места в моих записках, но вот о чем я еще не писал.

Почему трезориуму покровительствует бандит Гарбер, мне ясно. Однако Телеки — человек совсем, совсем иного сорта. Помню, в какой ужас он меня вогнал весной, когда пришел на нас посмотреть. Странная заботливость этого гестаповского начальника долго казалась мне каким-то изощренным коварством, которое очень плохо для нас кончится. Потом я стал считать это причудой человека, упивающегося возможностью кого-то карать, а кого-то благодетельствовать.

Но всё оказалось много интересней и сложнее.

Вероятно, доктор — самый умный из известных мне людей. Его интеллект свободен от каких-либо конвенций, а горизонт аналитического обзора поражает масштабностью.

У него есть собственная теория человечества, которую он мне изложил, когда мы познакомились ближе.

Когда же это было?

А, в конце сентября, когда я последний раз выходил в город. Доктор изредка приглашает меня встретиться в кафе. С интересом выпрашивает о делах трезориума и много говорит сам. Ему, конечно, очень одиноко в окружении «коричневых тираннозавров и грызунов» — так он характеризует своих геноссен. Телеки родом из Вены, по образованию антрополог,

в национал-социализм пришел, следуя своим убеждениям. Правда, назвать их ортодоксально фашистскими трудно.

Во время той нашей беседы он наконец разоткровенничался. Попробую пересказать суть.

По мнению Телеки, все беды происходят оттого, что людей на Земле слишком много. Перепроизводство человеческого материала приводит к демпингу. Невозможно ценить каждую личность, если их на планете два с лишним миллиарда. Да, всякий человек нуждается в уважении и внимании, но чтобы это стало возможным, население земного шара должно многократно сократиться. И раз уж это необходимо, будет логичным произвести селекцию лучших. Доктор считает «арийскую теорию» чушью. В частности, он очень высокого мнения о евреях. Но говорит, что, в сущности, даже не так важно, кто именно останется. Важно, чтобы людей стало минимум в сто раз меньше. Представьте себе хоть этот вот город, занимающий точно такую же территорию, но живет здесь не миллион, а десять тысяч, говорил он. Никакой скученности, давки, антисанитарии. Всюду зелень, газоны. Каждый дом окружен садом.

Массовые убийства, кровь, страдания — это родовые муки нового человечества. Забудьте о прежней морали и гуманизме. Это сладкие сказочки, под прикрытием которых девяносто процентов людей живут и умирают в скотстве.

И мы находимся только в начале этого сурового пути. Пока погибли всего лишь миллионы, а нужно избавиться от сотен миллионов и даже от миллиардов. Помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании»? «Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю».

В этом и состоит жестокая, но необходимая миссия фашистского движения. Мы проредим чашу, чтобы оставшимся стало привольно дышать. Германия сделает это на западе, Япония — в Китае и Азии. Мы — как Великая Чума, опустошившая мир в четырнадцатом столетии, но зато расчистившая дорогу Возрождению.

«Я знаю, что мыши, разнесшие по свету эту заразу, тоже погибли, — говорил доктор тихим голосом, с горящими глазами. — И внутренне я готов к тому, чтобы стать всего лишь перегибом для будущих счастливых поколений. Но ваш эксперимент вселяет в меня надежду. Я думал, Землю ждут темные века, очередной тысячелетний провал, как после падения Рима, однако оказывается, что в наши страшные времена можно не только мечтать, но и приступить к созданию нового человечества. Вы великий человек, герр Данцигер (он не знает моего настоящего имени). У вас есть готовое решение и даже аптекарски выверенный рецепт. Вы и ваш трезориум — самое важное, что сейчас происходит на Земле. Росток нового человечества и нового общества — вот что такое ваш трезориум. Да, да, тысячу раз да! Каждый ребенок, к которому так относятся и которого так воспитывают, — великая драгоценность! Мы будем вас оберегать. Гарбер внутри Гетто, я снаружи. Вы — пророк новейшего завета, а я буду вашим ангелом-хранителем. Или дьяволом-хранителем, если угодно».

Подавленный его страстью, обескураженный, я попробовал снизить пафос. Я сказал: «Раз у нас остров сокровищ, дорогой герр Телеки, давайте я лучше буду считать вас сквайром Трелони, попечителем экспедиции». Он засмеялся: «Хорошо. А вы будете доктор Ливси».

Он отвел меня к себе в кабинет и оформил секретным агентом Гестапо по кличке «Ливси». Теперь у меня есть универсальный пропуск и жетон с номером, при виде которого всякий полицейский должен брать под козырек и оказывать мне содействие.

Сейчас внизу, на проходной, я воспользовался этим «сезамом» и вот сижу в приемной, дожидаясь...

15.40.

Пишу уже в трезориуме. Доктор появился без пяти два. Внимательно меня выслушал, обещал сделать всё возможное.

Я жду известий у телефона. О плохом стараюсь не думать.

Только бы ее нашли. Только бы с ней было все в порядке. Никогда ни о чем так не просил — не знаю кого, Бога или судьбу.

18.35.

Не могу писать. Трясутся руки. Но нужно. Иначе закричу или стану биться головой. Все сбегутся, дети испугаются.

Лучше выплеснуть на бумагу.

Телеки позвонил только что. Маленькую девочку с кактусом в руках рано утром задержал патруль близ вокзала. Комендантский час еще не закончился. Спросили, кто она и откуда. Девочка сказала: «Я Хася, а это Доротка» Имя еврейское, внешность тоже. Если бы это произошло около Гетто, отвели бы туда. Но ближе был вокзал. А там стоял спецсостав, отправлявшийся в лагерь, и девочку поместили в вагон.

Я спросил, что такое «спецсостав» и как Хасю оттуда вернуть.

Про спецсостав он не объяснил и сказал, что поезд уже отбыл. Теперь Хасю не вернешь.

Я закричал, что сам поеду в лагерь, пусть только скажет, где это.

Телеки сказал, что это совершенно невозможно и что он ничего не может сделать — не его юрисдикция. Из лагеря не возвращаются.

«В каком смысле?» — воскликнул я.

Не возвращаются и всё, ответил он с тяжелым вздохом.

«Мне очень жаль, дружище. Я скорблю вместе с вами, — сказал еще доктор. — Но теперь сделать уже ничего нельзя, поверьте. У вас остается еще семь сокровищ, работайте с ними».

И повесил трубку.

Я пытаюсь себе представить, что больше никогда не увижу Хасю. Что я, что мы, что человечество так и не разгадает загадку этой девочки, и у меня

15 ноября 1941

Я еще не встаю, но, кажется, могу писать. У меня был инфаркт, и если я не умер, то лишь потому, что не могу бросить начатое дело. Телеки прав. У меня еще семь сокровищ. Надо двигаться дальше. Коллеги начали семестр без меня. Врач говорит, что через два дня я смогу сидеть, а значит работать. И первое, что я должен сделать...

**И КАЖДЫЙ ЧАС УНОСИТ
ЧАСТИЧКУ БЫТИЯ**



— ...И каждый час, который длится наша героическая оборона, отнимает у врага частицу отпущенного ему времени! — грохотал крайслайтер Бозе, вздымая к потолку свою партийную фуражку.

Тоже еще Пушкин выискался, подумала Таня. «И каждый час уносит частичку бытия». Она подавила зевок. На собрании многие клевали носом. Некоторые даже дремали, прикрыв глаза рукой. После десятичасового дежурства еще сиди и слушай это камлание.

— ...Потому что времени у Зверя остается мало. Теперь, когда издох Рузвельт, эта марионетка еврейского капитала, здоровые силы западного мира опомнятся и скажут себе: «Что мы творим? Мы уничтожаем Германию, которая всегда была форпостом европейской цивилизации против Азиатской Степи!» Да-да, они наконец поймут: воюя с Германией, они сами роют свою могилу. Два с половиной месяца, семьдесят с лишним дней наш город-крепость сковывает целую большевистскую армию! И благодаря нашей германской рачительности, несмотря на блокаду, мы не голодаем! Это русские в своем Ленинграде жрали человечину и дохли на улицах, а у нас на складах полно продовольствия! Работает ночной воздушный мост! Мне поручено сообщить вам, что в холодильниках Бреслау имеется 150 тысяч замороженных кроличьих тушек, 5 миллионов куриных яиц, 300 тысяч коробок порошкового молока...

Бозе, партийный секретарь района, в котором располагался госпиталь, был «альтер кэмпфер», то есть нацист с большим стажем. Раз в неделю всех сотрудников обязательно сгоняли на его «информации». Идиот обожал звук своего голоса, всегда балаболил минимум полчаса. Сегодня, правда, он пришел с каким-то губастым мужичонкой. Судя по коричневому кителю и повязке — из штаба гауляйтера Ханке. Сидел сбоку, на стуле, кивал,

но уже начинал проявлять признаки нетерпения — по-сматривал на часы. Вся надежда была на этого коричневого. Может, поторопит зануду?

В актовом зале были одни женщины: врачихи, медсестры, санитарки. Мужчин мобилизовали во фронтовые лазареты. Все устали, всем хочется домой, но покорно сидят, саушают галиматью.

Загнанные клячи, каждая под грузом своего несчастья. С утра до вечера одно и то же нытье: кто-то овдовел, у кого-то муж пропал без вести, другие трясутся за детей.

Овцы! Только и умеют, что блеять. Ах, моего ягненочка забрал серый волк. Не нация господ, а нация овец. Стадо! Их гонят на убой, а они только ме-е-е, ме-е-е.

А ведь раньше, во времена Гетто, Таня была уверена, что овцы — это евреи, немцы — волки. Жила меж ними одинокой лисицей, которая обдурит и тех и других. Всех переживет и уцелеет.

От скуки стала вспоминать ту лихую пору. Любила думать про опасное, но привольное время, когда училась быть сильной. И научилась.

После первого удачного «экса» (слово из маминого русского лексикона) Таня выработала систему, по которой безбедно просуществовала и остаток зимы, и весну, и всё лето богатого на страшные события сорок первого года.

Где-то там, за Стеной, всё громыхало и рушилось. Мир корчился в конвульсиях, от его лихорадочных судорог жителей Гетто кидало то в жар, то в холод. 22 июня все наполнились надеждой, что Гитлер, подобно Наполеону, свернет себе в России шею. Потом, по мере сокрушительного немецкого наступления, воцарилось уныние: нет, силу этого Навуходоносора никто не сломит, надеяться не на что. Подумайте, они взяли Киев! Боже, они уже около Ленинграда!

А Тане было на всё это плевать. Среди зайчишек, волков и медведей лисица жила припеваючи. Раз в неделю выходила на охоту, потом днями валялась на кровати, читала книжки. Сначала только Пушкина — не хотелось брать в руки книг ни на польском, ни на бр-р-р немецком.

Но со временем оказалось, что в Гетто можно добыть и русские книжки. Среди евреев, депортированных из Украины и Белоруссии, было полно русскоязычных. И мама, потащившая с собой в дорогу домашнюю библиотеку, не исключение. Евреи же — народ Книги. На толкучках Толстой, Достоевский, Гоголь, Лесков валялись связками, отдавались почти даром. Так что днем скучать не приходилось. Гулять Таня выходила по ночам, во время комендантского часа. Чтобы не видеть людей. Ступала бесшумно, глаза сощурены, ушки на макушке — не идет ли патруль. Отличное было ощущение. Кровь пульсировала, жизнь звенела в каждой клеточке тела.

А кончатся запасы — отправлялась за поживой.

У нее выработались приемы, определились хорошие охотничьи тропы. Их было шесть: четыре торговые улицы и две толкучки. Чтобы не примелькаться, обрабатывала их поочередно. Со временем достигла настоящего мастерства. Брала трофей не вслепую, абы что, как в первый раз, а приглядывала заранее — чтоб некрупное, но ценное. Знаменитые музыкальные пальцы делали молниеносное движение. Цап-царап, и идет себе дальше как ни в чем не бывало скромная, интеллигентная девочка. Кто на такую подумает?

Кормильцами у нее были шесть сборщиков «Двенадцатки». Каждому она дала любовное прозвище. Няню весной прикончили свои же — он, оказывается, надувал собственное начальство, слишком много прикарманивал. Вместо него на участок поставили огненноволосого Орангутанга. Еще были вертялый Вьон, Сломанный Нос, Мечта Антисемита, Истерик, Кровосос и Сомнамбула. Этого последнего Таня особенно отличала, потому что, в соответствии с кличкой, он был снулый, неповоротливый. Обкрадывать его было легче легкого.

Но по злой иронии судьбы именно на Сомнамбуле Таня и западилась.

Это произошло глубокой осенью, когда снова настали холода. Дни были темные, пасмурные, настроение в Гетто такое же. Со дня на день ждали, что немцы возьмут Москву. А Тане ранние сумерки и морозящий дождик были к стати — при хреновой видимости воровать проще.

Пристроилась она за Сомнамбулой, выжидала правильный момент. Сборщик вперевалочку шел от точки к точке. Подолгу застывал у газетных тумб. Здоровенный такой битюг, крест-накрест две холщовые сумы для мзды.

Наконец правильный момент настал. Сомнамбула получил свое со спекулянта Шубы, специалиста по контрабанде категории «люкс».

Когда увалень устоялся на доску с объявлениями, Таня сунула руку в правую сумку, куда минуту назад опустилась коробочка французских духов, — и вдруг запястье перехватили железные пальцы. Было так больно, что Таня охнула.

— Попалась! Я тебя еще на прошлой неделе приметил, когда конверт с двумя тыщами пропал! Гляжу, опять крутится. Всё, сучка, кранты тебе.

Свободной левой рукой, в кармане, Таня раскрыла бритву. Всегда ее при себе носила. Пару раз во время ночных променадов отбилась-отмахалась от уличной шпаны. Выхватила и сейчас, полоснула лезвием по ладони. Сомнамбула заорал, но клешню свою не разжал. Как двинет дубинкой по голове. На время Таня отключилась. Пришла в себя от боли. Ее волокли по мостовой, за шиворот. Силища у Сомнамбулы была бычья.

Затащил ее в какой-то сарай, приподнял, швырнул об стену. В глазах от удара снова потемнело.

— Я тебя мордовать не стану, — сказал сборщик, заматывая платком руку. — Тут избить мало будет. Я пойду пану Гарберу скажу. Он лучше меня придумает, как тебя кончить. Чтoб другим наука. У «Двенадцатки» воровать, а?

Вышел, загредел снаружи засовом.

Оставшись одна, Таня, конечно, кинулась искать окошко, щель — что угодно.

Ничего. Свет проникал сверху, из-под крыши. Туда не залезешь.

Огляделась. У «Двенадцатки» тут, похоже, был склад для всяких габаритных вещей. Посверкивала лаком мебель, бликовала искорками рама большущей картины, чуть покачивалась на сквозняке, звякала радужными подвесками хрустальная люстра на подставке.

В углу — целая шеренга музыкальных инструментов: рояли, виолончели с контрабасами и, генералом над этим нарядным войском, золотистая арфа.

Таню охватило давно забытое чувство — панический страх.

Будут мучить. Потом убьют. И кинут крысам...

Но выручила злость. Она была горячее, острее, сильнее страха.

Я лисица, сказала себе Таня. Меня так просто не возьмешь. Я что-нибудь придумаю. А не придумаю — перед смертью передую у них в курятнике всех кур.

И стала прикидывать: люстру — вдребезги, картину разодрать, мебель красного дерева перецарапать, вот и гвоздь валяется подходящий. Будете помнить Таню Ленскую, гады.

Но остановилась над «Блютнером», откинула черную крышку, погладила клавиши. Точь-в-точь как дома, в Лигнице. В Катовице пианино не повезли, так оно и осталось в прежней, детской жизни.

Как они с мамой в четыре руки разучивали прокофьевскую музыкальную сказку «Петя и волк»... Мама где-то раздобыла партитуру. Говорила: «Послушай, какая прелесть! Жива русская музыка, жива!» Переложила для фортепиано — получилось отлично. Какая это была легкая, светлая мелодия! Зазвучит — и жизнь кажется веселой игрой, шуткой, серый волк нестрашен, и всё хорошо закончится.

Таня не удержалась — наклонилась, тронула клавиши. С непривычки пальцы были немножко деревянные, но скоро ожили, сами всё вспомнили. Прикрыв глаза, Таня закачалась на волнах радостного, смешливого счастья. «На свете нет ничего, чего стоило бы бояться. Всё образуется, всё устроится!» — уверяла Таню музыка. Таня мысленно отвечала: «Само, конечно, не устроится, но я что-нибудь придумаю. А бояться я не буду. Еще минуту поиграю — и обязательно придумаю».

Уже и начало что-то вырисовываться, само собой. Если на пианино поставить вон то ампирное кресло, а сверху что-нибудь еще, стул или ящик, не получится ли дотянуться до светового оконца?

Она думала, что Сомнамбула приведет своего поганого Гарбера еще не скоро — до улицы Лешно, где штаб «Двенадцатки», ходу минимум четверть часа и обратно столько же.

Акустика в сарае была отменная, не хуже, чем в концертном зале. Музыка заполнила собою всё пространство, и Таня не услышала, а почувствовала — спиной, шеей, что она не одна.

Обернулась.

Перед распахнутой дверью стояли двое: Сомнамбула и человек-груша, заслонивший собою весь проем.

Груша оказалась с руками — противоестественно длинными. Они неторопливо выпростались из карманов, несколько раз хлопнули в ладоши. Звук был гулкий, сочный. Таня церемонно поклонилась, прикидывая: если дунуть со всех ног, да сделать зигзаг, не получится ли проскочить к двери?

— Пстой-ка у входа, — сказал человек хрипловатым голосом.

Сам подошел ближе.

Рожа у него была жуткая — прямо Квазимодо. Нос кривой, уши какие-то сплюсненные, надбровные дуги, как у питекантропа. Таня изо всех сил попробовала его не испугаться.

«Пан Гарбер», правда, ничего страшного пока не делал, только с любопытством ее разглядывал.

— Дурак ты, — сказал он Сомнамбуле. — Не хватало еще, чтоб кому-то пришло в голову, будто у «Двенадцатки» можно воровать. И сборщика бритвой полосовать. Да еще девчонке. Сразу другие лихачи найдутся. Тут отчаянных много... Тебя как звать, пианистка? — обратился он уже к Тане.

Она молчала. Сомнамбула квелый. В принципе можно попытаться проскочить. Что ей терять? Но потом ведь все равно поймают. От них в Гетто не спрячешься.

Не дождавшись ответа, Гарбер чему-то усмехнулся.

— Что же мне с тобой делать, интересная пианистка? Всяких зверушек я повидал, но такую... В общем, гляди. Выбор следующий. Или мы тебя по-тихому прикончим

и в Вислу кинем. Или отведу тебя в одно место, где будешь сыта и с крышей над головой.

— В бордель? — быстро спросила Таня. Она слышала, что у «Двенадцатки» есть и публичный дом. Конечно, лучше туда, чем в Вислу. По крайней мере можно удрать.

Квазимодо рассмеялся:

— Нет, в детский сад. Воспитательницей. Там как раз вакансия. Покажу тебя пану Директору. Думаю, он оценит.

Таня решила, что бандюга шутит. А оказалось — правда.

Так она попала в трезориум, будто вырвалась из преисподней на каникулы. И больше полугода прожила на том зачарованном острове, словно отделенном от остального мира океанскими просторами.

Однако каникулы потому и каникулы, что однажды они заканчиваются. Приходится возвращаться обратно.

Закончилась и жизнь в трезориуме. Это произошло в июле сорок второго. Неожиданно.

Тане сказали, чтобы заглянула к пану Директору. Ничего такого не подозревая, она вошла — и едва его узнала. Всегда энергичный, говорливый, он сидел за своим аккуратным столом обмякший, словно куль. Красивые белые руки лежали на зеленом сукне. Обычно они находились в движении — потирали одна другую, пощелкивали пальцами. А тут будто сцепились и застыли. Как у покойника на груди.

Он оцепенело пялился на толстую замшевую тетрадку. Кажется, не услышал, что Таня вошла. Очень это было странно. И тревожно.

Она кашлянула.

Пан Директор вскинулся.

— А, ты...

И сразу, безо всяких предисловий, сказал — вяло, безжизненно:

— Всё кончено. Больше ничего не будет.

У Тани екнуло в груди. Умом она понимала, что этот блаженный оазис вечно существовать не может, но очень уж привыкла к здешней выдуманной жизни.

— Трезориум закрывают?

— Всё Гетто закрывают. Начинают ликвидацию. — Голос у пана Директора был тусклым, взгляд тоже. — Завтра появится приказ генерал-губернатора. Будут увозить поездами, по шесть тысяч человек в день. Оставят только некоторое количество молодых и физически крепких. Для работ. А детей увезут.

— Куда?

— Туда, откуда не возвращаются.

Таня на миг зажмурилась. Конечно, она знала, что однажды закончится этим. Все знали. Но обманывали себя. То разносился слух, что американские евреи собрали для выкупа единоплеменников сто миллионов долларов, то вдруг начинали говорить, что население Гетто перевезут на остров Мадагаскар, и все кидались листать энциклопедии. Даже воспитанники знали, что всех ждет. Таня слышала, как светловолосая Рута, разозлившись, кричит: «Вас всех убьют! По вам видно, что вы евреи! А я светленькая, меня отдадут в арийскую семью, на воспитание!»

Таня не овца и не ребенок. Она-то не сомневалась, что в конце концов все попадут в Трешлинку. Туда, куда составы отправляются полными, а возвращаются пустыми. Что там происходит, никто толком не знал. Но никто из депортированных никогда не давал о себе вестей, даже самым близким.

Пан Директор дернулся, стал что-то сбивчиво говорить — про важные записи, про какой-то жетон, но оглушенная новостью Таня не слушала.

Мысли металась.

Нет, овцой на убой я не отправлюсь, не дождетесь. Спекулянты как-то проникают на ту сторону — значит, есть лазы через Стену. Но что делать в Городе, если даже выберешься? Ни знакомых, ни документов, ни крыши над головой. Все равно. Лучше сдохнуть под открытым небом, чем овечья судьба. Лисица нигде не пропадет.

Пан Директор протягивал ей что-то.

— Держи, что же ты?

На ладони у него был жестяной кружляш с номером.

— Что это?

— Ты меня не слушала? Это жетон агента Гестапо. По нему тебя выпустят из Гетто. Если потом на улице остановит польский патруль, покажешь — сразу отстанут. Если патруль немецкий — скажешь: «Я иду в Гестапо к гауптштурмфюреру Телеки». Повтори.

Она повторила.

— Я ему позвонил. Он тебя ждет. Передашь тетрадь. А он сделает тебе документы. Понадобится только фотография. Возьми эту. Она слишком большая, но Телеки сказал, что у них там есть какая-то хитрая копирующая машина с уменьшением.

По-прежнему ничего не понимая, Таня механически взяла снимок. Эта была карточка с доски, где висели портреты всех сотрудников и воспитанников. Перед выпускным праздником, в июне, приходил фотограф и всех по отдельности запечатлел. Таню заставил картинно подпереть подбородок и тарашиться в объектив. Еще и челку на лоб свесил. Получилось по-дурацки.

— Уясни главное. Надо во что бы то ни стало спасти мои записи. — Пан Директор положил руку на тетрадку. — Там собран материал огромной важности. Если он сохранится, значит, всё было не зря. Всё это: трезориум, дети, мы. Понимаешь?

Таня помотала головой.

— Господи, просто отдай доктору Телеки тетрадь. Он-то всё понимает. И сделает, что нужно.

— А почему вы сами ему не отдадите? — спросила Таня. — Почему посылаете меня? Если здесь есть что-то ценное, так это вы.

Хотела добавить: я-то и без вашего Гестапо сбегу, но промолчала. С документами, да еще настоящими, конечно, будет совсем другая жизнь.

У пана Директора забегали глаза, на щеках выступили красные пятна. Таким растерянным его она тоже никогда не видела. И не предполагала, что этот уверенный человек способен теряться.

— Я думал, что смогу, но... я не смогу, — пробормотал пан Директор. — Глупо, но... Я лучше останусь.

— Так пошлите кого-нибудь из педагогов, кто хорошо изучил ваш метод, — сказала Таня. Эти слова дались ей нелегко.

— Ты единственная, у кого нееврейская внешность. А кроме того ты единственная, кто... сможет. У тебя железная воля к жизни. Если будет хоть малейший шанс, ты в него вцепишься мертвой хваткой и выживешь.

Она отлично поняла, что он имеет в виду. «Ты единственная из нас, кто сможет бросить детей».

Что ж. Пан Директор был прав. Если выбор: погибнуть вместе со всеми или выжить, колебаться нечего.

Таня ни с кем не попрощалась. Сунула то, что поместилось в сумку: смену одежды, немного еды и маминого Пушкина.

Шла прочь — не думала ни о чем таком, что могло бы ее ослабить. Глядела только вперед и вверх, на полосу синего неба между крышами, выше лиц встречаемых пешеходов. Меж нею и ними пролегла невидимая, но непреодолимая пропасть. Она выживет, они — нет.

Снова и снова шептала короткое пушкинское стихотворение «Пора, мой друг, пора». Про то, как усталый раб замыслил побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Чистых нег...

Гауптштурмфюрер доктор Телеки был похож на крысу. Остроносый, с пакостными усишками, колючие глазки через пенсне. Ее прямо затрясло от отвращения. Хотя, может быть, дело в черном мундире. Таню при виде черепа на фуражке и зигзагов на петлице всегда начинало мутить.

Он сам вышел к ней на проходную, вежливо поздоровался, повел длинным коридором мимо кожаных дверей. На табличках не названия, а обозначения: «А1», «А2», «А3», «А4». Потом пошла буква «В». Это, значит, и было Гестапо, самое страшное место в Городе. Наверно, Ад, если он есть, на самом деле такой же, думала Таня. Пыльная, скучная канцелярия и одинаковые двери с табличками. Каждая буква с цифрой — обозначение муки для определенного сорта грешников. И ничего личного.

Телеки завел ее в дверь с табличкой «В4». Кабинет как кабинет. Шкаф с папками, картотечный ящик, казенная мебель. Если б не портрет Главной Крысы на стене, не на чем остановиться глазу.

Сели друг напротив друга. Вблизи стало видно, что глаза у доктора не колючие, а расстроенные.

— Я ему предлагал, — сказал Телеки со вздохом. — Уговаривал. Взывал к разуму. А он мне: «Не могу. Как в романе Стивенсона, останусь скелетом, который стережет зарытое сокровище. Карта к нему — мой дневник. Сберегите ее, дорогой эсквайр. И после войны возвращайтесь с экспедицией». Эх, какая потеря для человечества...

И пригорюнился.

Таня ничего из этого бреда не поняла. Стивенсона она не читала, это для мальчишек. И вообще она всегда читала только русские книги.

— Где дневник? — спросил гауптштурмфюрер, повздыхав.

Взял тетрадь. Расстроился:

— По-русски? Почему по-русски? — Но сам себе сказал, задумчиво: — А может быть, это и лучше. С учетом послевоенной ситуации. — Полистал. — Отлично. Почерк разборчивый. Закончится война — мне это переведут.

Отложил тетрадь.

— Теперь займемся вами, фройляйн. Я обещал моему Ливси. Фотокарточку принесли?

— Только вот такую.

— Ничего, я ее уменьшу до стандартного размера на фототелеграфическом аппарате. Сам сделаю. Никому из сотрудников такое не поручишь. Посидите...

Ушел и отсутствовал целый час. Все это время Таня читала дневник пана Директора.

Многое было для нее внове. О чем-то она вообще не догадывалась. Общее впечатление было такое: умный человек, а ничего про жизнь и людей не понимает. Выдумал схему и собрался подогнать под нее мир, превратить заросший диким бурьяном пустырь в аккуратный газон с цветочками. Понятно — он ведь, оказывается, немец. Гёте бы своего послушался, что ли. «*Graß, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum*». «Серы теории, любезнейший дружок, но зелена ветвь жизни золотая». Золотая — но зелена. И смысла тут не ищи, не то свихнешься.

Таня уже начала беспокоиться, что это крыса так долго пропала. Но тут Телеки наконец вернулся. С полным набором готовых документов.

— Итак, фройляйн. Теперь вас зовут Хильдегард Фукс. Удостоверение, талоны, пропуск на переезд в Рейх, билет до Бреслау. Герр Директор говорил, у вас там родственница?

— Тетка, — кивнула Таня, пораженная тем, что пан Директор это запомнил. Когда-то давно она ему про себя рассказывала, но по его рассеянному лицу была уверена: пропускает мимо ушей. Он всегда витал мыслями где-то в облаках, если разговор был не о педагогике.

— Вот и отправляйтесь туда. Немецкий у вас натуральный, внешность не вызывающая подозрений...

Он держал документы в руке, но не отдавал, хоть Таня к ним уже потянулась. Глазки задумчиво щурились.

— Но взамен мне от вас кое-что понадобится. Он говорил, вы русская?

— Да, — ответила Таня, насторожившись.

— Берите листок бумаги и пишите свидетельство, что я помогал евреям Гетто. По-русски.

— Зачем?! — поразилась она.

— Войну Германия и ее союзники проиграют. Это стало ясно еще в декабре. Мы хотели взять Москву и не взяли. Японцы рассчитывали напугать жирную Америку, а она не испугалась. Дальнейшее — вопрос времени. Думаю, через год американцы с англичанами высадятся в Европе. Потом еще годик мы кое-как продержимся — и всё. Мой прогноз, что в сорок четвертом война закончится. Мировое еврейство, то есть союз крупного капитала с большевизмом, победят и возьмут реванш. Хозяевами мира так или иначе станут евреи. И свидетельства о том, что я им помогал, мне очень пригодятся.

— Да кто я такая? Никто!

— Вы — ассистентка великого Данцигера, имя которого после войны будет знать весь мир. У меня уже целая подборка таких письменных подтверждений, и все — люди неслучайные. Эти свидетельства спасут меня. В общем пишите... Нет, лучше не на листке, а на обороте вашей фотокарточки. С живым лицом будет достоверней.

Он отдал назад снимок, продиктовал:

— «Я, такая-то такая-то, свидетельствую и подтверждаю, что доктор Герхард Телеки, рискуя своей карьерой, свободой и даже жизнью, помог мне бежать из Гетто». Число, подпись.

Таня сама не понимала, почему ее так взбесила эта предусмотрительность. Спастись он хочет! Еще, поди, собственный трезориум откроет, будет детей воспитывать по методу пана Директора. Если же Рейх станет побеждать — Телеки выкинет все эти бумажки и преспокойно продолжит истреблять «мировое еврейство». Шиш тебе, крыса. Тони вместе с кораблем.

Прикусив губу, чтоб не ухмыльнуться, она написала по-русски первое пришедшее в голову — строку из стихотворения, которое нашептывала по дороге, не глядя в лица встречных.

Представила себе картинку — как герр гауптштурмфюрер торжественно вручает «свидетельство» советскому солдату. И лицо солдата.

— Вот, прошу.

Он взял, похлопал глазами.

— А число и подпись?

Она подписала. Телеки с довольным видом спрятал карточку под переплет замшевой тетради.

— Пусть хранится здесь. Дневник — тоже свидетельство. Что ж, сейчас выпишу пропуск на выход и отправляйтесь в Бреслау. Постарайтесь уцелеть. Вы мне после войны пригодитесь.

Сунул руку — пришлось пожать.

На улице Таня первым делом выбросила в урну Пушкина. В сумке Хильдегард Фукс ему не место — не дай бог какой-нибудь обыск в поезде, а у немецкой медхен русская книга.

Опять выжила!

Всё, что могло этому помешать, оставлено позади. Но не забыто. Никогда не будет забыто.

Она подставила лицо июльскому солнышку и вдохнула теплый, пыльный, бензиновый воздух жизни.

Так же, подняв лицо к потолку, закрыв глаза и блаженно улыбаясь, сидела она сейчас. Встрепенулась, когда вокруг все захлопали.

Это закончил свою речь крайсляйтер. Вместо него перед залом встал губастый.

— А теперь, после вдохновенной речи товарища Бозе, который исчерпывающе обрисовал ситуацию в мире, на фронтах и в городе-крепости, позвольте прочитать вам приказ господина гауляйтера. Не сомневаюсь, что вы как патриотки Германии и настоящие арийки встретите эту новость с энтузиазмом.

Преамбула не сулила ничего хорошего. На лицах присутствующих появилось одинаковое настороженное выражение. Приготовилась к какой-нибудь очередной пакости и Таня.

Но такого она не ожидала.

Приказом от сегодняшнего числа, 16 апреля 1945 года, гауляйтер Ханке объявлял мобилизацию в Вермахт всех женщин в возрасте от 16 до 35 лет. Они должны заменить военнотружущих мужчин, которые работают в штабах, канцеляриях и прочих тыловых учреждениях — те поголовно отправятся на передовую.

Для «помощниц Вермахта» обязательны ношение военной формы и соблюдение устава. Они пройдут ускоренный курс строевой и боевой подготовки, примут присягу. Когда понадобится — сами возьмут в руки оружие.

Зал потрясенно молчал.

— Исполнение приказа с завтрашнего дня, — сказал коричневый, отложив бумагу. — Вы как работницы госпиталя останетесь на своих рабочих местах, но придется переодеться, подтянуться, перейти на казарменное положение. Добро пожаловать в строй защитников Отечества, дорогие подруги! Да здравствует Гитлер! Да здравствует победа!

Все заскрипели стульями, встали, вяло вскинули руки. Таня тоже — но левой сложила за спиной кукиш.

Уйду нынче же.

Новый план был до конца еще не проработан, риск велик, но Таня знала, что крысиную форму не наденет и в казарме жить не станет.

Когда взойдет солнце, Таня будет уже у своих. Или день наступит без нее.

ДВА СВИСТКА



Ночью выдвинулись на исходные для атаки. Был приказ взять рацион на одни сутки и самое необходимое. Но педагогическую тетрадку Рэм в мешке оставил. Думал, все равно хрен уснешь, так хоть отвлекусь, чтоб время до рассвета пролетело быстрее.

Роте достались развалины дома на западной стороне довольно широкой улицы Bären-Strasse. Кажется, это значило «Медвежья улица». Название Рэм прочел на табличке, приколоченной к куску обвалившейся стены. Участок, выделенный взводу, был шириной не больше тридцати метров, так что бойцы расположились плечо к плечу.

Здание, назначенное для штурма, было напротив: угловой шестиэтажный дом — одной стороной на перекресток, по которому завтра пойдут в прорыв штрафники. Метров сорок до дома. Бегом десять секунд. Предыдущий батальон не сумел преодолеть эту пустяковую дистанцию за целую неделю. В лунном свете объект было очень хорошо видно, и Рэм долго вглядывался, прикидывал.

На первом этаже, судя по витринам, какой-то магазин. На инструктаже ротный сказал, что все проемы там глухо заложены кирпичной кладкой, оставлены только амбразуры. На торце — дверь подъезда, но изнутри она наверняка тоже заложена. Наверху на пяти уровнях — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, умножить на пять — сорок окон. В каждом наверно будет по стрелку. Сунешься в атаку — ударят очереди, полетят гранаты. Каждый метр пространства будет иссечен пулями и осколками. Неудивительно, что предшественники тут застряли.

Но завтра, сказал комроты Лысаков, штурм будет капитальный, с привлечением всех средств.

Начнут полевые артиллеристы. Пробьют все витрины на первом этаже. Потом слева пойдет на прорыв штурмовая группа. Десантники соскочат с брони через сто

метров, ворвутся во двор справа и займут следующее за объектом здание. «Тридцатьчетверки» подадут задом к перекрестку и откроют оружейно-пулеметный огонь. Тут наступает наш черед, сказал ротный. Кидаем шашки, дым затягивает всё внизу. Один взвод идет в атаку, два остальных прикрывают прицельным огнем по верхним этажам. Окна распределить между бойцами и пристрелять заранее, во время артподготовки — на случай, если дым отнесет на нас и будет ни черта не видно. Старший лейтенант показал, как стрелять вслепую, сделав упор из кирпичей, направляющих дуло.

— Какой взвод пойдет в атаку? — спросил Петька Есауленко, изображая невозмутимость.

Они с Рэмом обсудили между собой завтрашний бой. Оба слышали, что в самое пекло всегда гонят новичков и чужаков.

Но старлей ответил:

— Само собой, первый. У него опыта больше.

И стал обсуждать со старшиной Зинчуком, командиром первого, «стариковского» взвода, точное время атаки. Сошлись, что пушкари управятся минут за пятнадцать, танкам на туда-сюда понадобится еще две минуты, потом дать им минуты три похерачить из орудий и тогда уже кидать шашки. Дым поднимется выше человеческого роста за полминуты. Тут свисток — и вперед. Как только первый взвод окажется внутри, Зинчук даст два свистка. Это сигнал для остальных взводов: вперед.

— Внутри, в доме, главное — не отставайте от «стариков», — сказал комроты. — Все время будьте на этаж ниже. Не ближе и не дальше. Держите дистанцию. Их дело — прорваться на следующий уровень. Ваше — его зачистить. Всё выше, и выше, и выше, — пропел Лысаков. — Кому повезет — доберется до крыши. Кому нет — совсем высоко, до неба.

И засмеялся. Он был чудной, Лысаков. Рэм привык видеть старлея хмурым, скупко роняющим слова, а оказалось, что немногословен он был из-за большого горла. Выздоровел — разговорился. А сейчас, перед боем, стал будто другой человек — энергичный, веселый. Даже вон шутит.

Зато у Рэма прихватило живот и всё не отпускало. Не хватало мне еще медвежьей болезни на Медвежьей

улице, волновался он. Но потом занялся подготовкой и ничего, обошлось.

Взводу достались окна второго, третьего и четвертого этажей. Всего двадцать четыре мишени. Рэм увидел в этом хороший знак, потому что у него в подчинении было ровно столько же стрелков. Вдвоем с Саниным они показали каждому цель. Проверили, как бойцы устанавливают автоматы на кирпичную подставку.

Больше заняться было нечем. Только ждать утра.

Санин посоветовал:

— О завтрашнем бое постарайтесь больше не думать. Все приготовления сделаны. Дальше будет просто. По одному свистку огонь. Два свистка — бежим вперед. Главное под ноги смотрите, чтоб не споткнуться. А окажемся внутри, тут уж совсем просто. Бойцы расползутся по этажу — не покомандуешь. Каждый будет за себя.

Очень хорошо, что он так сказал. Рэм чего больше всего боялся? Что растеряется под огнем и не сможет командовать. А если каждый за себя — это легче.

Но как ждать боя и не думать о нем, вот что было непонятно.

— А вы о чем будете думать?

— Честно? — Санин подвигал складками мятого лица. — Мне обязательно нужно завтра отличиться. Чтобы вернуть офицерское звание. И думать я буду о том, какая у меня после этого будет жизнь. А про бой что думать? Там всё на инстинкте. По обстановке.

— Я уверен, что вы завтра будете отлично воевать. И я напишу про это в рапорте, — пообещал Рэм. — Вот увидите, вы снова станете майором. Я охотно повоевал бы с таким командиром.

— Тогда об этом я и подумаю, — засмеялся ефрейтор. — А потом накроюсь шинелью и задряхну. Желаю вам того же. Бой мы не проспим. В шесть ноль-ноль артиллерия нам сыграет побудку.

На сон Рэм не надеялся, но в остальном последовал совету.

Спустился в подвал, чтоб не демаскировать расположение фонариком. По пути подобрал сыроватую, но большую и мягкую диванную подушку, плотную штору. Обустроился с относительным комфортом. Главное,

в каких-нибудь десяти метрах от взвода — только на полпролета подняться.

Сначала почитал тетрадь. Потом вынул конверт. Пару дней назад пришло очередное письмо от отца. Само письмо Рэм перечитывать не стал, там ничего особо интересного не было — береги себя, не геройствуй и т.п. Как обычно. Но долго, улыбаясь, рассматривал Адькин рисунок. Поразительное все-таки у нее устройство. Никогда не знаешь, что она слышит, а чего не слышит, что забудет, а что запомнит. Вот нарисовала космический полет: ракету, стратонавта. Отец пишет: «Спрашиваю, а почему ракета с крыльями? Она же летает, говорит. А что за птички наверху, не сказала». Оказывается, она нормально разговаривает, даже отвечает на вопросы. Что наверху нарисовано, Рэм догадался. Это не птички, это звезды, к которым летит ракета.

Потом разглядывал открытки с видами довоенного Бреслау, тоже взял их с собой. Если завтрашнее наступление удастся и батальон прорвется в центр, надо же будет как-то ориентироваться по городским достопримечательностям.

Напоследок вынул фотографию Татьяны Ленской. Чем чаще смотрел он на этот снимок, тем больше ему казалось, что они встретятся. И может быть, даже скоро. Он узнает ее, подойдет, и скажет: «Здравствуйте, Таня. На свете счастья нет, но есть покой и воля». Она, конечно, поразится, и тихо ответит...

Рэм еще держал в руке фотографию, но веки сомкнулись, и он нисколько не удивился, что губы девушки двигаются.

— Ты в сновиденьях мне являлся, — тихо произнесла она. — Незримый, ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался...

Ее глаза погрустнели, голос стал жалобным.

— Вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна...

Он хотел ей ответить так же красиво, но боялся, что не сумеет и она разочаруется в нем, замолчит. Зря боялся. Татьяна говорила еще долго, и слушать ее было несказанным наслаждением.

Но кто-то мешал, кто-то тряс за плечо. Рэм сердито открыл глаза. Увидел над собой бетонный потолок подвала, склонившегося Санина.

— Командир, без десяти шесть.

— А?

Да, артподготовка. Потом атака.

Сунув в планшет лежавший на груди снимок (слава богу, он был обратной стороной кверху, а то объясняй, кто это), Рэм поднялся. Потер глаза. Умываться было некогда. Да и негде.

— Пройдем вдоль цепи.

— Поспали? А я не смог, — сказал ефрейтор. — Чувствую себя как Наташа Ростова перед балом.

У него раздувались ноздри, глаза блестели, а лицо стало хищно веселое.

— Вы что улыбаетесь? — спросил Рэм.

— Тебе не понять, — ответил Санин на «ты». — Я об этом дне три с половиной года мечтал.

Автомат у него был на груди, из сапога торчала рукоятка ножа. К саперной лопатке Санин относился скептически, говорил, что она для неповоротливых.

Бойцы были наготове. Одни подавлены, другие оживлены, но каждый без ошибки показал, в какое окно должен стрелять.

Всё было в порядке.

Рэм стал смотреть на другую сторону улицы. В сизом утреннем свете можно было прочесть вывеску на магазине. «Kinderspielzeug». «Детские игрушки». Смешно.

В цепи переговаривались шепотом. Вообще было очень тихо, хотя с той и с другой стороны сейчас готовились к бою сотни людей.

Немцы, конечно, знают про атаку. Слышали вечером рев танков. Что они сейчас? Молятся наверно. Но бога нет. Как медленно идет время. Без десяти было вон когда, а прошло только семь минут.

Он снова двинулся вдоль цепи, повторяя то, что уже десять раз было говорено:

— Пристрелка одиночными. Потом короткими очередями. Три-четыре патрона. Пристрелка одиночными. Потом короткими очередями. Три-четыре патрона...

Просто, чтоб бойцы знали: командир здесь, рядом. Оказывается, если думаешь не о себе, а о других, не так страшно.

Теперь, за минуту до начала, большинство людей на Рэма даже не оборачивались. Кажется, им было наплевать, что командир рядом. Ефрейтор Хамидулин сам Рэму успокаивающе подмигнул. Около веснушчатого Еремеева, из бывших пленных, пришлось задержаться — парень лежал с зажмуренными глазами, весь трясся.

— Сейчас ничего такого не будет. Только пристрелка, — сказал ему Рэм, нагнувшись. — Как на полиго...

И не услышал окончания собственной фразы. Где-то совсем близко, почти слившись, ударили два гулких пушечных выстрела.

Началось! Это 76-миллиметровые, бьют по витринам.

Хлопнув Еремеева по спине, Рэм выпрямился и закричал:

— По окнам! Одиночными! Огонь!

Теперь загрохотало повсюду.

— Давай, Еремеев, мать твою!

Пнул бойца ногой, раз человек по-хорошему не понимает. Тот дернулся, вскинул автомат.

Рэм пошел дальше, выглядывая через дыры в разломанной стене.

Две витрины уже зияли пробоинами. Вот и третья укуталась пылью, сором, выкинула фонтан каменной крошки. Молодцы артиллеристы!

И своими Рэм тоже был доволен. Окна второго, третьего и четвертого этажей будто шевелились. Кое-где разлетались остатки чудом уцелевшего стекла.

Петькины стреляли хуже, с удовлетворением отметил Рэм. Правда, им выше целиться.

А немцев ни в одном окошке видно не было. То ли попрыгались, то ли — обожгла надежда — ночью ушли без боя.

Навстречу, пригнувшись, быстро шел Санин. Без автомата.

— Пристрелялся — и хорош. Береги патроны. Пристрелялся — и хорош, — говорил он.

— Здорово мы им, а? — крикнул Рэм.

Ефрейтор распрямылся.

— Поглядим, когда ответят. Крепко немцы дома строят. Этими пукалками не сковырнешь. Штурмовая пошла!

Сквозь пальбу прорвался гул двигателей. Рэм побежал в левый конец — смотреть. На часах было 6:16.

«Тридцатьчетверки» одна за другой вылетели из переулка на перекресток, очевидно, рассчитывая прогнать через него на полной скорости. К башням жались бойцы, паля из автоматов, как показалось Рэму, куда придется. Рты у них были разинуты — должно быть в крике, но шум двигателей, лязг, стрельба всё заглушали.

Головной танк уже пронесся через широкое место — и вдруг превратился в черно-желтый огненный шар. Пошел криво, врезался в стену, башня съехала вбок, с нее посыпались пылающие черные фигуры.

Рэм сам не слышал, что орет в голос.

— Там «фердинанд» в засаде! Бронебойным врезал! — крикнул ему в ухо Санин. И потом, еще громче, непонятно кому: — Назад! Назад!

Две уцелевшие «тридцатьчетверки» остановились. С них прыгали люди, пригнувшись, бежали куда-то вперед, в черный дым. Кто-то гнал их, толкал в спины. Он был не в каске, как остальные, а в кубанке. Жорка! Жив!

Высадив десант раньше, чем планировалось, танки попятились. Из пушек с треском вырывалось пламя, и казалось, что танки отбредиваются.

— По местам! — дернул Рэма ефрейтор. — Сейчас наши пойдут! Видишь, шашки!

Шашек Рэм разглядеть не успел, но на улице, сразу в нескольких местах выросли дымовые конусы и стали быстро расплзаться во все стороны. Скоро улицу заволокло сплошной белой пеленой.

Внизу, на уровне полуподвального этажа, захрустела щебенка, несколько голосов завопили «урал», но не как в кино, а жидко, неуверенно.

— Огонь короткими! Огонь короткими! — кидался Рэм от бойца к бойцу.

Санин тоже занял свое место и четко, будто механизм, бил вверх тройными: да-да-да, да-да-да, да-да-да.

Остальные тоже стреляли, подгонять их не требовалось. Рэм перекинул со спины на локоть свой автомат и сообразил, что сам-то он ни к какому окну не пристрелялся. Встал за Саниным, стал стрелять примерно туда же.

Густой туман озарился вспышкой, потом еще одной, еще, еще. Взрывы сливались один с другим.

— Мины! — простонал Санин и ударил кулаком по кирпичу.

— Не может там быть мин! Командир говорил, саперы каждый сантиметр в бинокль просмотрели!

— Спринг-мину не видно... Хана нам, парень. — Ефрейтор сел, стал менять диск. — Сейчас погонят, а ни десанта, ни прорыва...

И тут же сзади раздался свисток, за ним другой. Атака! Но как же первый взвод?

Дымовая завеса быстро прорежалась, ее сгонял свежий апрельский ветерок, продувавший Медвежью улицу.

Рэм высунулся. Впереди ничто не двигалось. Дом напротив проступил сквозь туман грозной серой громадиной. Никто по нему не стрелял. Молчали и окна.

— Неужели никого не осталось? — пролепетал Рэм.

Теперь он увидел на мостовой какие-то темные кучки, которых там раньше не было.

Снова две залиvistые трели. Голос Лысакова, яростный:

— Клобуков! Есауленко! Оглохли? А ну подымай бойцов в атаку!

Санин выругался.

— Кретин! Надо один взвод в атаку, а второй чтоб прикрывал. Погоди, командир!

Побежал назад, крича:

— Товарищ комроты! Товарищ комроты!

Но Рэм этого не услышал. Он и не заметил, что остался один.

Стоял, щурился на сверкающие пылинки, что витали в рассеивающемся тумане. Вдруг мелькнула картина из детства. Вышка в бассейне, внизу так же бликует вода, очень страшно, но надо во что бы то ни стало прыгнуть. Потому что все смотрят: прыгнет Рэмка или нет.

Он залез на край разрушенной стены. Спрыгнул вниз, больно ударившись подошвами. Чуть не выронил, но успел подхватить автомат.

На улице было пусто. Ни души.

Рэм обернулся и тонким, каким-то противно детским голосом крикнул:

— Ребята! Вперед!

ВИСЕРНЫМ ПОЧЕРКОМ

30 июня 1942

Я готовлю речь, которая станет для Презориума исторической. Читая по-бурлявски, конечно нельзя, это будет выведет шум, но нужно записать все тезисы, чтобы ничего не упустить.

Жалуют с того, что май Презориум вступает уже в четвертый семестр своего существование. Это накоплет бесценный педагогический материал и что характеризовало методически очевидно. Наши дети (нет, лучше для взаимности сказать, которые из детей) развиваются так быстро, что легенды о гениальных воспитанниках учебных заведений мде Эстер уже не кажутся фантастикой. Можно не сомневаться, что через год и четыре месяца, к осени 1943 года, наши выпускники на фоне остальных детей будут казаться венгерскими дами, а ведь это были самые обычные, слушали отобранные пятилетки.

Тутам коротко скажу о каждом реберке. Все это коллегами известно, но в такой момент суммирование достигнутых результатов не помешает.

Нет, еще до того нужно похвалить педагогический коллектив, который сумел с точностью типизировать всех семерок к концу предыдущего семестра. И два слова про каждого шацзукера, персонально. Про Хана - больше, чем про других, потому что он мнотелек и страдает из-за отсутствия подоплека. Скажу, что курс занятий по развитию креативности, который он разработал в трех модификациях - "де головастиков", "сердечников" и "телесников" - совершенно блестящая идея, потому что много творчества в жизни необходимо всякому человеку, даже далекому от художественных занятий. Это, кстати говоря,

30 июня 1942

Я готовлю речь, которая станет для трезориума исторической. Читать по бумажке, конечно, нельзя, это будет выглядеть глупо, но нужно записать все тезисы, чтобы ничего не упустить.

Начать с того, что наш трезориум вступает уже в четвертый семестр своего существования, что накоплен бесценный педагогический материал и что эффективность методики очевидна. Наши дети (нет, лучше для взвешенности сказать «некоторые из детей») развиваются так быстро, что легенды о гениальных воспитанниках учебных заведений леди Эстер уже не кажутся фантастикой. Можно не сомневаться, что через год и четыре месяца, к осени 1943 года, по завершении шестого семестра, наши выпускники на фоне остальных детей будут казаться вундеркиндами. А ведь это были самые обычные, случайно отобранные пятилетки.

Потом коротко скажу о каждом ребенке. Всё это коллегам известно, но в такой момент суммирование достигнутых результатов не помешает.

Нет, еще до того нужно похвалить педагогический коллектив, который сумел с точностью типизировать всех семерых к концу предыдущего семестра. И два слова про каждого шацзухера, персонально. Про Хаима — больше, чем про других, потому что он мнителен и страдает из-за отсутствия подопечных. Скажу, что курс занятий по развитию креативности, который он разработал в трех модификациях — для «головастиков», «сердечников» и «телесников» — совершенно блестящая идея, потому что немного творчества в жизни необходимо всякому человеку, даже далекому от художественных устремлений. Это, кстати говоря, правда.

Мейера поблагодарить за окончание работы над третьим томом «Тестов и упражнений».

Лейбовского — за оборудование спортивной площадки.

Про Дору что-нибудь мимоходом, небрежно. Она лучше работает, когда чувствует себя отстающей. Похвалю позже, с глазу на глаз, когда она явится ко мне уязвленная, с претензиями. Этой женщине для душевного комфорта необходимо напряжение во взаимоотношениях с ближними, перепады от враждебности к примирению, драма. Что ж, обеспечу ей драму.

Про детей. Здесь нужно остановиться на интереснейшем открытии, которое нас самих застало врасплох, хотя оно логично проистекает из самой специфики шацзухерской педагогики.

Во всяком детском сообществе (как впрочем и во взрослом) со временем неизбежно выделяются лидеры. Так оно и должно быть по теории: «эмиттеры» наделены вождистскими качествами по своей природе. В первом семестре это и произошло. У нас образовались целых два лидера, «белый» и «черный». Болек Эльсберг предводительствовал во всяких хороших затеях, Яцек Топаз — в злых и озорных. Но к концу третьего семестра, когда группы поделались на секции, всё стало выглядеть совершенно иначе!

Да, Болек по-прежнему проявляет отличные организаторские способности, когда нужно что-то создать, а Яцек — когда нужно что-то, условно говоря, разрушить. Но оказалось, что у обоих лидерство не постоянное, а ситуативное! И в иных ситуациях лидируют другие дети! Они у нас все лидеры, все без исключения, каждый в своей сфере!

К Ривке Диамант, которая способна любого понять и пожалеть, другие дети тянутся, когда грустно, или нездоровится, или просто хочется поплакать.

К Мареку Шафиру обращаются, если что-то требует разъяснения, а взрослых по какой-то причине спрашивать не хотят или не удовлетворены ответом. Марек — просто губка, впитывающая информацию. Брикман все время усложняет этому мальчику интеллектуальные задачи, и тот неизменно с ними справляется. Недавно я слышал, как этот семилетний человек очень доходчиво

растолковал остальным, почему любая, самая маленькая звездочка на небе больше Луны.

Рута Шмарагд — маленькая стерва с ангельскими повадками. Всегда тиха и безмятежна, даже когда вокруг слезы и склоки, которые она же спровоцировала. Но на Руту никто никогда не обижается, все охотно с ней играют, на каждом балу она принцесса, и другие девочки безропотно признают ее первенство.

Дина Аметист в детском коллективе персона важная. Ее просят о помощи, когда нужно что-то наладить, починить, исправить.

У Изи под руководством Лейбовского очень развились пальцы, так что он может делать из пластилина невероятные для семилетнего ребенка композиции. Просто пластилиновый Бенвенуто Челлини. Недавно научился лепить головы. Теперь к нему очередь желающих обзавестись собственным бюстом.

Таким образом, можно с большой долей вероятности предположить, что в социуме будущего, сплошь состоящем из «обнаруженных сокровищ», сложатся некие принципиально иные отношения между людьми. Никаких фюреров не будет. Верней, всякий будет считаться фюрером в сфере своей компетенции.

Стоп. Так долго говорить об этом в речи не следует, иначе у слушателей притупится внимание, которое понадобится для главного, эпохального извещения.

Я наконец объявляю, зачем велись работы в полуподвале. Скажу, что мы расширяемся. Что мы запускаем второй поток! Возьмем двенадцать новых пятилетков.

Старшая группа будет заниматься на третьем этаже, в комнатах шацзухеров. Для общих занятий будем использовать полуподвал. Старый класс достанется новой группе. Кровати в спальнях поставим теснее и в два яруса. Пани Марго, посвященная в мою тайну, всё измерила и говорит, что поместимся.

Двенадцать новых сокровищ! Дух захватывает.

Я множество раз прикидывал и пересчитывал финансовые возможности. Уверен, что денег хватит. За 19 месяцев мой чемодан усох всего на четверть, а стоимость валюты постоянно увеличивается. В конце 1940 года содержание трезорнума обходилось ежемесячно в тысячу

двести долларов, а сейчас, летом 1942 года, вполне хватает девятисот. Надо будет найти еще четырех хороших педагогов и обучить их ремеслу шацзухера. Проблем с кандидатами не будет. Всякий сочтет работу в трезориуме огромным счастьем.

Итак, денег хватит, а под защитой доктора Телеки и пана Гарбера в эти ужасные времена мы можем чувствовать себя в полной безопасности. Воистину у нас тут блаженный остров среди бурных волн.

Пришлось прерваться. Приходила Дора. Просила снять с нее «домашний арест», хотя еще не прошло тридцати суток после той истории, когда она вернулась в трезориум «под шофе» и это видели дети. Думаю, что поступил тогда правильно, не выгнав ее, а ограничившись взысканием. При всей своей утомительности пани Ковнер — отличный шацзухер по доминанте «С». Можно терпеть и ее взрывки, и непредсказуемую любвеобильность. Не помню, писал ли я, что у нас произошла очередная рокировка. Гириш снова ночует в комнате Доры, а повариха подобрала Хаима, и теперь толстеет он. Отношения между всеми при этом, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасные.

Но настроение мне Дора несколько подпортила. Когда я отказал ей, сказав, что уговор есть уговор и ей незачем отлучаться из трезориума, так как скоро будет много новой интересной работы, вдруг началась истерика со слезами и криками.

— Какая новая работа? — наскокивала на меня Дора. — Вы просто ненормальный! Вы не человек, а логарифмическая линейка! Ради чего всё это, когда нас всех убьют? Вы что, страус? Не знаете, о чем говорят в Гетто? От того, чем мы тут занимаемся, ничего не останется! Вообще ничего! Ноль!

Она не знает, что я всё продумал и предусмотрел. И незачем. Рано.

Лучшая оборона — наступление. Я тоже перешел на крик.

— А откуда вы знаете, о чем говорят в Гетто? Вы же под «домашним арестом»! Я вообще всем запретил выходить за пределы трезориума! Пан Гарбер предупредил, что будут массовые облавы с немедленной депортацией.

Или вы хотите, как Зося, угодить под случайную уличную «прополку» и сгинуть?

Она с достоинством ответила:

— Вам не понять. У следящей за собой женщины есть свои потребности. Мне нужно к моей косметичке, мне нужно сделать прическу. Ногти. Я черт знает на кого похожа. И я не дурочка Зося, чтобы выходить на улицу без денег. У меня всегда при себе пятьсот злотых, я таксу знаю. Откуплюсь... Удалось вам что-нибудь узнать про Зося? — спросила она, чтобы уязвить меня. Как будто я бы не сообщила, если б Телеки что-то выяснил.

Я лишь покачал головой. Те, кого увозят, никогда не возвращаются.

Но я понял, что Дора все равно будет тайком уходить в самоволку, поэтому сказал:

— Если вы попадетесь не еврейской полиции и не польской, а немцам, пятьсот злотых вас не спасут. Тогда скажете начальнику — запомните слово в слово: «Я агент гауптштурмфюрера Телеки. Свяжитесь с ним». Повторите.

Она повторила, но легкомысленно, нараспев. Вечные ее перепады настроений.

Вышла, вернее выплыла из кабинета семенящей пританцовывающей походкой, вертя бедрами и делая замысловатые пассы руками. При этом пела:

Я Мата Хари,
Агентка супер-класс,
В индийском сари
Пляшу для вас.

Должно быть, какой-то куплет времен ее юности. Чертова баба! Вывела меня из равновесия и ушла довольная.

Чтобы вернуть ясность мысли, сижу, слушаю, как снизу доносится волшебный марш из «Щелкунчика». Это играет на пианино Таня.

В прошлом ноябре, когда нужно было срочно подыскать замену для Зоси, я взял на работу эту совсем еще девочку по двум причинам. Первая — субъективная. Таня умненькая, из культурной семьи и, что меня подкупило, русскоязычная. Мне приятно разговаривать

на языке моей молодости. Таня играет на пианино не только детские песенки, как бедняжка Зося, но и классику — как в эту минуту. Кроме того, она рассказывает детям русские сказки, то есть открывает для них какой-то другой, непривычный мир. Разница в возрасте у них не так уж велика. Таня — подросток, поэтому дети воспринимают ее как старшую подругу, им с ней проще и легче, чем со взрослыми. Но аниматорша с ними не сюсюкает, никого не выделяет, и вообще в ней ощутима некая внутренняя жесткость. Воспитанники это чувствуют и ведут себя как шелковые. Даже Яцек не распоясывается, как с Зосей. Это вторая и главная причина. Гарбер, который привел девочку в трезориум, отлично разбирается в людях.

Таня очень закрытая, неулыбчивая, ничего о себе не рассказывает — полная противоположность Зоси. Чтобы стать такой в пятнадцать лет, надо пройти через ад. Тут многие прошли через ад, однако ожоги на всех действуют по-разному. Люди делятся на тех, кто хочет об этом говорить и кто не хочет. Таня из второго разряда, и это прекрасно.

Вот что. Напишу-ка я концовку речи целиком. Чтобы не бекать и не мекать. Чтобы каждое слово было на своем месте. Чтобы коллеги зарядились моей энергией и верой.

«Мы живем в мире не нашедших себя, безнадежно заблудившихся людей. Они панически мечутся, давят и калечат друг друга. Но среди этого безумного кровавого хаоса сияет крошечный круг света, единственное пятнышко разума и надежды. Оно создано нами, дорогие коллеги. Мы сцепили руки, встали в кружок, сдвинулись плечами и делаем великое, благородное дело: возвращаем саженцы на нашей маленькой делянке. Пока это хрупкие и тонкие ростки, но они тянутся вверх с жадностью здоровой, свободной жизни и со временем превратятся в прекрасную рощу, в оазис грядущего человечества! Теперь мы готовы посадить новые деревца, целых двенадцать! Наше маленькое новое человечество станет почти втрое больше!»

Потом я сделаю небольшую паузу, чтобы справиться с волнением, которое захлестывает меня прямо сейчас, и в самом конце скажу самое-самое главное:

**А МЫ С ТОБОЙ ВДВОЕМ
ПРЕДПОЛАГАЕМ ЖИТЬ**



Новый план возник позавчера. Простой, но вроде бы неплохой. Без подземелий и крыс.

В госпитальной столовой Таня случайно подслушала разговор. Санитарка за соседним столом рассказывала, что носит своему мужу-железнодорожнику, призванному в фольксштурм, еду — прямо на передовую. «Руди язвенник, ему надо протертое, иначе он загнетса, безо всяких русских. Я ему морковочки-капустки вареной протру, развлекаю нежирным бульончиком, получается кашка. В термосе не остывает. Мой кушает да нахваливает, — хвасталась подругам немолодая тетка. — Пропал бы, говорит, без тебя. Теперь недалеко носить стало, фронт приблизился, очень удобно. Раньше-то надо было аж в Кляйне-Гандау переться, за аэродром, а теперь дойдешь до станции Пёпельвиц — и уже передовая. Часа за полтора оборачиваюсь».

В тот же день Таня познакомилась с этой Лоттой Шланге. Навести ее на нужную тему было легко. После этого очень естественно прозвучал вопрос: как это — на передовую без пропуска?

Санитарка ответила:

— Все люди. Когда останавливают, говорю: так, мол, и так, несу мужу диетическое питание. Он у меня язвенник. Рудольф Шланге, вторая рота 74-го батальона фольксштурма. Почти всегда пропускают, иногда даже проводят. Пару раз попала на сволочей, развернули обратно. Так я обойду стороночкой — и другим путем. Не оставлять ведь мужа голодным. У него начнет вырабатываться желудочный сок, а это яд. У меня два термоса. Один ему оставляю, чтоб без меня каждые четыре часа кушал, другой забираю домой.

В следующий раз Таня собиралась расспросить про маршрут подробнее. Сразу не стала, чтобы не вызвать подозрений. Но вчера половину санитарок, в том числе

Лотту, отправили на принудительные работы — строить новую взлетную полосу в черте города, потому что аэродром Гандау теперь у русских.

Ничего, решила Таня. Соображу сама.

Налила в термос горохового супа — сойдет за «протертую кашку». Взяла плед, пачку галет. Уходя навсегда из квартиры, где прожила два с половиной года, не оглянулась. Не имела такой привычки.

Судя по рассказам Лотты, батальон ее мужа держал оборону где-то на Франкфуртерштрассе, за железной дорогой. По прямой это было всего полчаса пешком, но уже с Кёнигс-плац начиналась «прифронтовая зона». Пришлось идти закоулками, и до насыпи Таня добиралась больше часа. Через пути незаметно прошмыгнуть было нельзя. Там дозорные стояли в пределах видимости один от другого, а ночь как назло выдалась светлая. Но в этом тоже был свой плюс. Держась домов, Таня шла вдоль цепочки часовых, пока не увидела человека в шляпе. Значит, гражданский, фольксштурмовец. К нему и направилась.

— Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как пройти в 74-й батальон? Мне вторая рота нужна.

Пожилой дядечка с допотопной винтовкой через плечо уставился на ночное видение.

— Дочка, тебя как сюда занесло? Иди отсюда, иди. Здесь фронт. — Улыбнулся. — Ты к парню, что ли?

— Нет у меня парня, — кротко молвила Таня. — Разве не видите — я диакониса. Мне к папе нужно. Рудольф Шланге из второй роты. У него язва, вот покушать несую. Обычно мама ходит, но ее забрали на строительство взлетной полосы. Слышали, наверно?

— Эх, — вздохнул дядя. — За мной бы так домашние ухаживали.

И проблема решилась.

— Значит, так. Идешь по Гренцштрассе до парка, а там спросишь у кого-нибудь. Только гляди, на «цепных псов» не попади. Это фельджандармы, у них такая металлическая горжетка на цепочке. Но жандармы еще ладно. Главное — вон к тем домам не заверни. За Баренштрассе уже русские. Я бы тебя ей-богу проводил, но нельзя — на посту я.

Она поблагодарила ангельским голосом — искренне.

Стало быть, вон к тем домам, за которыми Баренштрассе, ей и нужно.

Подобраться вплотную к передовой, а дальше как учил морской лейтенант: забиться в щель, прикинуться камнем. Каждый день защитники крепости оставляют одну-две линии домов. Прогрохочет бой над головой — можно вылезать. Наверное, придется сидеть в каком-нибудь закутке день, два, а может, и три. Поэтому при себе плед, галеты и гороховый суп. После голодовки в Гетто вполне роскошно.

Осторожненько — где перебежкой, где пригнувшись — Таня вышла к наполовину разрушенной улочке. Эту часть города она неплохо знала. Тут неподалеку находилось кладбище, где хоронили пациентов дома престарелых. Однако улочку Таня определила только по табличке «Кришкештрассе». Отлично. По ней пройти, и будет пересечение с Баренштрассе. Но дальше, наверное, идти нельзя — упрешься в передовую.

И только она это подумала — из подворотни одна за другой стали вылезать темные фигуры, гуськом пошли куда-то вперед.

Таня вжалась в стену. Звякнул металл. Раздался громкий сердитый шепот:

— У кого оружие не обмотано? Ночью далеко слышно! Иван на звук мину кинет!

Солдаты свернули в следующий двор налево. А Тане, значит, путь был направо.

Там чернели развалины дома, за ними торчал прямоугольник уцелевшего здания. Кажется, это уже перекресток. Метров сто до него.

Искать нору нужно было здесь, в развалинах.

Таня медленно шла среди груд кирпича. Перед тем как переставить ногу, ощупывала землю, чтобы не споткнуться и не провалиться в какую-нибудь дыру. Сейчас яркая луна оказалась кстати. Без нее Таня не разглядела бы полузасыпанную сором лесенку. Она вела куда-то вниз. В подвал?

Так и есть. Дверь открылась с трудом, не сразу и не до конца — пережало косяк. Но Таня кое-как протиснулась.

Внутри было черным-черно. Пахло пылью и плесенью.

Посветила вокруг фонариком.

У стены какие-то здоровенные чугунные коробки. Угольные печи для отопления. Пол сухой. Вдоль улицы оконца, на уровне земли. Не подвал — полуподвал. То, что нужно! И укромно, и осмотр есть. Повезло Тане с убежищем, исключительно повезло.

Она принялась обустраиваться, потому что неизвестно, сколько здесь просидишь. Походила с фонариком по длинному помещению. Нашла кладовки, где жильцы хранили всякий хлам. Замки сбила кирпичом. Снаружи время от времени бухали выстрелы, по сравнению с ними производимый Таней шум был ерундой.

Нашла пинг-понговый стол без ножек. Перетащила в угол — чтоб не лежать на холодном. Сверху накидала старой одежды. Драный ковер, правда, пыльный, пригодится для утепления, если перед рассветом похолодает.

В общем, обосновалась с комфортом.

Легла, завернулась в плед. Стала думать о хорошем.

Может быть, уже завтра она будет у своих. Вечный бег от несчастья закончится. Наступят покой и воля. Может быть, даже счастье.

Как сказал пан Директор? «Ты создана для счастья»?

Это она однажды, насмотревшись на его педагогические эксперименты, попросила ее тоже протестировать, определить индивидуальный код. Любопытно стало. Вдруг в ней таится какое-то сокровище, а она знать не знает?

Пан Директор долго гонял ее по своим табличкам-карточкам, делал какие-то пометки, что-то высчитывал. Потом вздохнул, говорит: «Можно было бы в детстве поработать в направлении «Г-ИВа», учитывая склонность к литературе и неплохое чувство слова, но теперь поздно. Ты уже упущенная — пятнадцать лет. В тебе соперничали две доминанты, «Г» и «С», но в какой-то момент под воздействием жизненных факторов твоя психика переориентировалась с рациональности на инстинкты. Я в своих исследованиях еще не дошел до этой сложной

темы — как и по каким алгоритмам индотип в переходном возрасте может трансформироваться, но мне очевидно, что такое может произойти как по внутренним, так и по внешним причинам». И понес всякую заумь. Таня послушала-послушала, перебила: «Получается, из меня ничего путного теперь не выйдет? И что? На помойку меня выкидывать?»

Он замигал на нее через роговые очки.

— Что ты, детка! На помойку никого выкидывать нельзя. Уникального профессионала из тебя теперь не получится, это да. Но присутствуют явные параметры индотипа «С-1Аа».

— Я забыла, что это.

— Ты создана для счастья. Личного счастья.

Таня прыснула. Во-первых, от неожиданности — где она и где счастье. А во-вторых, потому что сказано это было с сочувствием. Он иногда смешной бывал, пан Директор.

— Твой дар самый заурядный на свете, но оттого не менее ценный. Дар любви. Направленной на какого-то одного человека, как очень сильный, концентрированный луч.

— Что это значит?

— Скорее всего где-то на свете есть мужчина, которого ты можешь сделать очень счастливым. В этом и состоит твой талант. Сама с ним тоже будешь очень-очень счастлива. Главная твоя задача — найти этого человека и не ошибиться.

Уже не смеясь, даже не улыбаясь, Таня вцепилась в пана Директора мертвой хваткой: как, как найти и не ошибиться?

— Прислушивайся к себе, — ответил он. — Пойми себя. Чего тебе не хватает? В чем твой голод? Где в твоей душе прорехи, откуда сквозит холодом? Твоя пара тот — кто этот голод насытит и все щели прикроет. Не уверен только, что тебе следует заводить детей. Твой индотип не очень умеет делить любовь на части. Детям от вашей любви достанутся одни крохи, и это для них будет нехорошо.

Таня потом много про это думала. Про голод и про-
рехи души. И, конечно, про Него.

Стала думать и теперь.

А вдруг Он где-то недалеко? Он ведь наверняка воюет
с крысами, не может не воевать. Закрывает глаза, увидела
русскую военную форму — как из маминого журнала
«Нива»: фуражка с кокардой, воротник кителя, пого-
ны, портупья. На фуражке у наших теперь звездочка,
а в остальном все такое же. Лицо под козырьком сна-
чала было словно в тумане, но скоро проступили чер-
ты — такие же, как всегда, но удивительно отчетливые.
Высокий лоб, тонкий нос, печальные глаза. В видениях
Он всегда был печальный и смотрел в сторону.

Никогда Таня еще не видела Его так явственно, но
нисколько не удивилась, потому что уже спала.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих,
как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит
она ему.

А Он вдруг — впервые, впервые — смотрит прямо на
нее и улыбается, неуверенно. Будто сомневается.

«Это я, я! — шепчет Таня. — Привет! Мы будем счаст-
ливы теперь — и навсегда!»

Ей становится невыносимо страшно от обрушив-
шегося на нее счастья. Потому что огромное счастье
проглатывает без остатка, и ничего больше от тебя не
остается. Не станет его — не станет и тебя.

А Он не испугался. Улыбнулся шире, уверенней. Про-
тянул навстречу руки, шагнул. Танина грудь наполни-
лась воздухом. Его было так много, что, показалось, она
сейчас взлетит. Так нельзя, нельзя! Сейчас грудная клет-
ка лопнет. От неуместимости счастья.

И грудь действительно лопнула, с оглушительным тре-
ском. С ночного неба на лицо посыпались звезды. Они
были колючие.

Дернувшись, Таня открыла глаза, смахнула со лба
мелкий мусор, сыпавшийся с потолка. Земля тряслась,
всё грохотало. В сером луче клубилась пыль.

Утро, сказал себе Таня. Артобстрел. Началось!

Она вскочила, бросилась к окошку, из которого просматривалась вся улица. Прямо напротив, между жилыми домами, был двор, куда ночью вошли солдаты. Правее — шестизэтажное угловое здание, выходящее на Баренштрассе. Оно подрагивало, плевалось дымом и фонтанами штукатурки. По дому били из пушек. Таня узнала этот звук: 76-миллиметровые орудия, как в «Мон-Сен-Мишеле».

Так продолжалось долго. Потом всё утихло, но скоро опять стало шумно. Зарычали моторы, залязгали гусеницы. Справа, от перекрестка, показался танк с красной звездой на башне. За ним второй. Потом еще. На броне густо сидели люди, стреляли вверх из автоматов.

— Наши! Наши! — крикнула Таня.

Вдруг передняя машина подпрыгнула, польхнула огнем, затем вся окуталась черным дымом. Когда он рассеялся, на башне людей уже не было, а сама башня покривилась, над ней метались языки пламени.

Второй танк, не сбрасывая скорости, обогнул этот костер. Остановился.

На асфальт спрыгнул кто-то в круглой казачьей шапке. Называется «кубанка», Таня видела на картинках.

— За мной, за мной! — закричал казак, махая рукой. Побежал вперед, во двор. За ним другие солдаты. Все в грязных стеганых куртках, прошитых вертикальными полосами. Стреляли на бегу куда-то вверх. Один упал и остался лежать. Остальные скрылись за воротами.

А танк выпалил из пушки и быстро покатился на заднем ходу в сторону перекрестка. Там всё громыхало, взрывалось, доносились крики. Но шум не приближался, оставался на месте.

Вот он поутих. Теперь главным образом стреляли во дворе напротив, но ничего разглядеть было нельзя — от подбитого танка по мостовой стелилась черная пелена, заволакивала всю улицу.

Атака отбита, поняла Таня и чуть не заплакала от обиды.

Ненадолго стало почти совсем тихо. Но вдали, около перекрестка, тонкий, звонкий голос прокричал что-то неразборчивое, и всё опять загрохотало.

Послышались крики «ура!». Они были ближе, ближе. Таня тоже закричала: «Ура! Ура!»

Из ворот посыпались крысиные солдаты. Кто-то истошно орал: «К насыпи! Отходим к насыпи!»

Исчезли, и тут же, минуты не прошло, по улице побежали русские. Много!

Покатились танки или, может, самоходки — Таня так и не научилась их различать. Одна машина, другая, третья, четвертая. Пальба переместилась влево, а справа, на Баренштрассе стало тихо.

«Всё? Уже всё? Я у наших?» — сказала вслух Таня и не услышала собственного голоса. Оглохла от выстрелов.

По улице она, конечно, не пошла, а двинулась развалинами, в обход.

Высунулась посмотреть.

На перекрестке сновали люди, все в нашей форме. Бояться было нечего.

Таня вышла на тротуар, прижимая ладонь к сердцу. Оно прямо выпрыгивало от счастья. Хотелось заорать: «Я русская! Я своя!»

Но она шла, а никто не обращал внимания.

— Я русская! — сказала Таня военному со звездочками на погонах.

— Я тоже не китаец, — буркнул он, едва взглянув, и закричал кому-то: — Куда катишь, козел? Куда?

Замахал рукой, побежал.

Совсем не так она представляла себе этот момент. Даже растерялась. Тут никому до нее не было дела. Все торопились, чем-то занимались. Никто не задерживался на месте.

Наконец Таня увидела кучку военных, которые никуда не спешили, а стояли неподвижно, глядели куда-то вниз. К ним она и подошла.

Один, немолодой, с длинным костистым лицом, сидел на корточках. Его коротко стриженная голова была непокрыта.

Что это он делает?

Роется в сумке. Вынул оттуда тетрадку в точно таком же замшевом переплете, как у той, что принадлежала пану Директору. Потом пачку каких-то открыток.

— Я русская, — сказала Таня. — Куда мне идти?

Этот по крайней мере от нее не отмахнулся. Поднял голову. Лоб хмурый.

— Остарбайтерша? Голодная? — Махнул куда-то рукой. Он был щербатый, пришепetyвал. — Иди вон туда, в тыл. Сейчас подъедет кухня. Покормят. Извини, милая, не до тебя. У нас, видишь, взводного убило. Еще танк по нему гусеницей проехал. Эх...

И тут она увидела, что бойцы собрались вокруг мертвеца. Он лежал на мостовой ничком, раскинув руки.

Таня поскорее отвернулась, потому что выше плеч вместо головы было нечто плоское, багровое, на что невыносимо было смотреть.

Солдат, который велел ей идти в тыл, поднялся.

— Продукты из сумки заберите, а личные вещи отправляю семье, — сказал он.

И все разошлись, а Таня пошла туда, куда было сказано.

Утро было еще совсем раннее, серое. Вообще всё было серое. Воздух, люди, дома.

Возбуждение схлынуло. Сердце билось ровно. Таня сама себе поражалась. Своему бесчувствию. Ведь всё страшное позади. Она победила, выжила и теперь будет жить долго-долго. Лет пятьдесят, шестьдесят, а то и семьдесят. Но от этой мысли почему-то было не радостно, а тоскливо.

Брось, всё нормально, сказала она себе. Просто ты перепсиховала, и теперь у тебя нервная реакция, ступор. Ничего, со временем оттаешь. Вся жизнь впереди.

**Акунин-Чхартишвили
ТРЕЗОРИУМ**



Верстка
Валерий Кечкин

Оформление обложки
Игорь Сакуров
Тимофей Струков

Обработка иллюстраций
Тимофей Струков

Выпускающий редактор
Вероника Рямова

Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
Серия 77 № 006722212 от 12.10.2004 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: (495) 691-12-17, 697-12-35
Наш сайт: www.zakharov.ru
E-mail: info@zakharov.ru
[Facebook.com/IzdatelstvoZakharov](https://www.facebook.com/IzdatelstvoZakharov)

Подписано в печать 15.08.2019. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Усл.п.л. 18,48.
Тираж 10 000 экз. Заказ №8026.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в АО «Первая Образцовая типография»
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
email_prhouse@mv.ru <http://uldp.ru>

Читайте в серии
«Семейный альбом»





КАФЕ ИВОСНА

214

моб. екатеринбург. рф

10040203



620-40



БАКАРОВ



9 785815 915688